



БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Оноре де Бальзак

БЛЕСК
И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК

ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ
ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Оноре де Бальзак

**Блеск и нищета куртизанок.
Евгения Гранде. Лилия долины**

«Азбука-Аттикус»

1838, 1833, 1836

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

де Бальзак О.

Блеск и нищета куртизанок. Евгения Гранде. Лилия долины / О. де Бальзак — «Азбука-Аттикус», 1838, 1833, 1836 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22115-4

Знаменитый французский писатель, один из основоположников реализма в литературе, Оноре де Бальзак упорно искал формулу своего времени, формулу человеческого бытия. В поисках универсального ключа к людской вселенной он создал целый мир – «Человеческую комедию», уникальный цикл, объединяющий несколько десятков романов и новелл и множество персонажей. «Мое произведение, – писал Бальзак, – должно вобрать в себя все типы людей, все общественные положения, оно должно воплотить все социальные сдвиги, так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский, ни чьи-либо взгляды... не остались забытыми». Романы, включенные в настоящее издание, представляют разные части этого цикла: «Блеск и нищета куртизанок» – «Сцены парижской жизни», «Евгения Гранде» – «Сцены провинциальной жизни», «Лилия долины» – «Сцены деревенской жизни». Светские красавицы и падшие женщины, ростовщики и юные честолюбцы, аристократы, банкиры, полицейские и городская беднота – все они становятся героями Бальзака, для которого душевные качества людей не зависят от социального положения. Непревзойденный романист, Бальзак умел сочетать увлекательный сюжет и тонкий психологический анализ, картины общественных нравов и пронзительную историю конкретного человека.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-22115-4

© де Бальзак О., 1838, 1833, 1836

© Азбука-Аттикус, 1838, 1833, 1836

Содержание

Блеск и нищета куртизанок	7
Часть первая. Как любят эти девушки	8
Часть вторая. Во что любовь обходится старикам	88
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Оноре де Бальзак
Блеск и нищета куртизанок.
Евгения Гранде. Лилия долины

© О. В. Моисеенко (наследник), перевод, 2022

© Е. М. Шишмарева (наследник), перевод, 2022

© Н. Г. Яковлева (наследник), перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

Блеск и нищета куртизанок

Его светлости

князю Альфонсо Серафино ди Порция.

*Позвольте мне поставить Ваше имя в начале произведения истинно парижского, обдуманного в Вашем доме в последние дни. Разве не естественно преподнести Вам цветы красноречия, возвращенные в Вашем саду и орошенные слезами сожалений, давших мне познать тоску по родине, которую утишали Вы в те часы, когда я бродил в boschetti и вязы напоминали мне Елисейские Поля? Быть может, этим я искуплю свою вину в том, что, глядя на Dioto, я мечтал о Париже, что на чистых и красивых плитах Porta Renza я вздыхал о наших грязных улицах. Когда я подготовлю к выходу в свет книги, достойные посвящения миланским дамам, я буду счастлив упомянуть в них имена, столь любезные сердцу ваших старинных итальянских новеллистов, избранные мною среди имен любимых нами женщин, которым и попрошу напомнить
об искренне преданном Вам
де Бальзаке.
Июль 1838 г.*

Часть первая. Как любят эти девушки

В 1824 году, на последнем бале в Опере, многие маски восхищались красотой молодого человека, который прогуливался по коридорам и фойе, то ускоряя, то замедляя шаг, как обычно прохаживается мужчина в ожидании женщины, по какой-то причине опоздавшей на свидание. В тайну подобной походки, то степенной, то торопливой, посвящены только старые женщины да некоторые присяжные бездельники. В толпе, где столько условленных встреч, редко кто наблюдает друг за другом: слишком пламенны страсти, самая Праздность слишком занята. Юный денди, поглощенный тревожным ожиданием, не замечал своего успеха: насмешливо-восторженные возгласы некоторых масок, неподдельное восхищение, едкие *lazzis*¹, нежнейшие слова – ничто его не трогало, он ничего не видел, ничему не внимал. Хотя по праву красоты он принадлежал к тому особому разряду мужчин, которые посещают балы в Опере ради приключений и ожидают их, как ожидали при жизни Фраскати счастливой ставки в рулетке, все же казалось, что он по-мещански был уверен в счастливом исходе нынешнего вечера; он являлся, видимо, героем одной из тех мистерий с тремя лицедеями, в которых заключается весь смысл костюмированного бала в Опере и которые представляют интерес лишь для того, кто в них участвует; ибо молодым женщинам, приезжающим сюда только затем, чтобы потом сказать: «Я там была», провинциалам, неискушенным юношам, а также иностранцам Опера в дни балов должна казаться каким-то чертогом усталости и скуки. Для них эта черная толпа, медлительная и суетливая одновременно, что движется туда и обратно, извивается, кружится, снова начинает свой путь, поднимается, спускается по лестницам, напоминая собою муравейник, столь же непостижима, как Биржа для крестьянина из Нижней Бретани, не подозревающего о существовании Книги государственных долгов. В Париже, за редкими исключениями, мужчины не надевают маскарадных костюмов: мужчина в домино кажется смешным. В этой боязни смешного проявляется дух нации. Люди, желающие скрыть свое счастье, могут пойти на бал в Оперу, но не появиться там, а тот, кто вынужден взойти туда под маской, может тотчас же оттуда удалиться. Занимательнейшее зрелище представляет собою то столпотворение, которое с момента открытия бала образуется у входа в Оперу из-за встречного потока людей, спешащих ускользнуть от тех, кто туда входит. Итак, мужчины в масках – это ревнивые мужья, выслеживающие своих жен, или мужья-волокиты, спасающиеся от преследования жен; положение тех и других равно достойно осмеяния. Между тем за юным денди, не замечаемый им, следовал, перекатываясь, как бочонок, толстый и коренастый человек в маске разбойника. Завсегдатаи Оперы угадывали в этом домино какого-нибудь чиновника или биржевого маклера, банкира или нотариуса, короче сказать, какого-нибудь буржуа, заподозрившего свою благоверную. И в самом деле, в высшем свете никто не гонится за унижительными доказательствами. Уже несколько масок, смеясь, указывали друг другу на этого зловещего субъекта, кое-кто окликнул его, какие-то юнцы над ним подшучивали; всем своим видом и осанкой этот человек выказывал явное пренебрежение к пустым остроумам: он шел вслед юноше, как идет кабан, когда его преследуют, не замечая ни лая собак, ни свиста пуль вокруг себя. Пусть с первого взгляда забава и тревога облачены в один и тот же наряд – знаменитый черный венецианский плащ – и пусть на маскараде в Опере все условно, однако ж там встречаются, узнают друг друга и взаимно друг за другом наблюдают люди различных слоев парижского общества. Есть приметы, столь точные для посвященных, что эта Черная книга вожелдений читается как занимательный роман. Завсегдатаи не могли счесть этого человека за счастливого любовника, потому что он непременно носил бы какой-нибудь особый знак, красный, белый или зеленый, указывающий на заранее условленное свидание. Не шло ли тут дело о мести? Кое-кто из праздношата-

¹ Шутки-импровизации в итальянской комедии масок (*ит.*).

ющихся, заметив маску, что следовала столь неотступно за этим баловнем счастья, снова вглядываясь в красивое лицо, на котором наслаждение оставило свой дивный отпечаток. Молодой человек возбуждал интерес: чем дальше, тем больше он подстрекал любопытство. Все в нем говорило о привычках светской жизни. Впрочем, согласно роковому закону нашей эпохи, мало что отличает как в физическом, так и в нравственном отношении изысканнейшего и благовоспитаннейшего сына какого-нибудь герцога или пэра от прекрасного юноши, которого совсем недавно в самом центре Парижа душили железные руки нищеты. Под красотой и юностью могли таиться глубочайшие бездны, как и у многих молодых людей, которые желают играть роль в Париже, не обладая средствами, соответствующими их притязаниям, и все ставят на карту, чтобы сорвать банк, каждодневно принося себя в жертву Случаю, наиболее чтимому божеству этого царственного города. Его одежда, движения были безукоризненны, он ступал по классическому паркету фойе как завсегдатай Оперы. Кто не примечал, что здесь, как и во всех сферах парижской жизни, принята особая манера держаться, по которой можно узнать, кто вы такой, что вы делаете, откуда прибыли и зачем?

– Как хорош этот молодой человек! Здесь позволительно оглянуться, чтобы на него посмотреть, – сказала маска, в которой завсегдатаям балов легко было признать даму из общества.

– Неужели вы его не помните? – отвечал мужчина, с которым она шла под руку. – Госпожа дю Шатле, однако ж, вам его представила.

– Что вы? Неужели это тот самый аптекарский сынок, в которого она влюбилась? Тот, что стал журналистом, любовник Корали?

– Я думал, он пал чересчур низко, чтобы когда-нибудь встать на ноги, и не понимаю, как он мог опять появиться в парижском свете, – сказал граф Сикст дю Шатле.

– Он похож на принца, – сказала маска, – и едва ли этим манерам его обучила актриса, с которой он жил; моя кузина, которая вывела его в свет, не сумела придать ему лоска; я очень желала бы познакомиться с возлюбленной этого Саржина, расскажите мне что-нибудь из его жизни, я хочу его заинтриговать.

За этой парой, которая, перешептываясь, наблюдала за юношей, пристально следила широкоплечая маска.

– Дорогой господин Шардон², – сказал префект Шаранты, взяв денди под руку, – позвольте вам представить даму, пожелавшую возобновить знакомство...

– Дорогой граф Шатле, – отвечал молодой человек, – когда-то эта дама открыла мне, насколько смешно имя, которым вы меня называете. Указом короля мне возвращена фамилия моих предков со стороны матери, Рюампре. Хотя газеты и оповестили об этом событии, все же оно касается лица столь ничтожного, что я, не краснея, напоминаю о нем моим друзьям, моим недругам и людям, ко мне равнодушным; в вашей воле отнести себя к тем или к другим, но я уверен, что вы не осудите поступка, подсказанного мне советами вашей жены, когда она была всего лишь госпожой де Баржетон. – (Учтивая колкость, вызвавшая улыбку маркизы, бросила в дрожь префекта Шаранты.) – Скажите ей, – продолжал Люсьен, – что мой герб: *огненно-пламенной чэрвлени щит, а в середине щита, по верх той же чэрвлени, на зеленом поле, взъяренный бык из серебра.*

– Взъяренный... из-за серебра?.. – повторил Шатле.

– Госпожа маркиза объяснит вам, если вы того не знаете, почему этот древний гербовый щит стоит больше, чем камергерский ключ и золотые пчелы Империи, изображенные на вашем гербе, к великому огорчению госпожи Шатле, *урожденной Негрелис д'Эспар...* – сказал с живостью Люсьен.

² Шардон (Chardon) – чертополох (фр.).

– Раз вы меня узнали, я не могу уже интриговать вас, но не умею выразить, как сильно вы сами меня заинтриговали, – сказала ему шепотом маркиза д’Эспар, крайне удивленная дерзостью и самоуверенностью человека, которым она когда-то пренебрегла.

– Позвольте же мне, сударыня, пребывая по-прежнему в этой таинственной полутени, сохранить единственную возможность присутствовать в ваших мыслях, – сказал он, улыбнувшись как человек, который не желает рисковать достигнутым успехом.

Маркиза невольным жестом выдала свое недовольство, почувствовав, что Люсьен, как говорят англичане, срезал ее своей прямоотой.

– Поздравляю вас с переменой вашего положения, – сказал граф дю Шатле Люсьену.

– Готов принять ваше поздравление с тою же приязнью, с какою вы мне его приносите, – отвечал Люсьен, с отменной учтивостью откланиваясь маркизе.

– Фат! – тихо сказал граф маркизе д’Эспар. – Ему все же удалось приобрести предков.

– Фатовство молодых людей, когда оно задевает нас, говорит почти всегда о большой удаче, меж тем как у людей вашего возраста оно говорит о неудачной жизни. И я желала бы знать, которая из наших приятельниц взяла эту райскую птицу под свое покровительство, тогда, возможно, мне удалось бы сегодня вечером позабавиться. Анонимная записка, которую я получила, несомненно, злая шалость какой-нибудь соперницы, ведь там речь идет об этом юноше; он дерзил по чьему-то указанию, последите за ним. Я пойду под руку с герцогом де Наварреном, вам будет нетрудно меня найти.

В ту минуту, когда госпожа д’Эспар уже подходила к своему родственнику, таинственная маска встала между нею и герцогом и сказала ей на ухо: «Люсьен вас любит, он автор записки, префект его ярый враг, мог ли он при нем объясниться?»

Незнакомец удалился, оставив госпожу д’Эспар во власти двойного недоумения. Маркиза не знала в свете никого, кто мог бы взять на себя роль этой маски; опасаясь западни, она села поодаль, в укромном уголке. Граф Сикст дю Шатле, фамилию которого Люсьен с показной небрежностью, скрывавшей издавна взлелеянную месть, лишил льстившей его тщеславию частицы *дю*, последовал, держась на расстоянии, за блистательным денди. Вскоре он повстречал молодого человека, с которым счел возможным говорить откровенно.

– Ну что ж, Растиньяк, вы видели Люсьена? Он неузнаваем.

– Будь я хорош, как он, я был бы еще богаче, – ответил молодой щеголь легкомысленным, но лукавым тоном, в котором сквозила тонкая насмешка.

– Нет, – сказала ему на ухо тучная маска, отвечая на насмешку тысячью насмешек, скрытых в интонации, с которой было произнесено это односложное слово.

Растиньяк отнюдь не принадлежал к породе людей, сносящих оскорбление, но тут он замер, как бы пораженный молнией, и, чувствуя свое бессилие перед железной рукой, упавшей на его плечо, позволил отвести себя в нишу окна.

– Послушайте, вы, петушок из птичника мамы Воке, у которого не хватило отваги подцепить миллионы папаши Тайфера, когда самое трудное было уже сделано! Знайте: если вы не станете, ради вашей личной безопасности, обращаться с Люсьеном как с любимым братом, вы в наших руках, а мы не в вашей власти. Молчание и покорность, иначе я вступлю в игру, и ваши козыри будут биты. Люсьен де Рюампре состоит под покровительством Церкви, самой могущественной силы наших дней. Выбирайте между жизнью и смертью. Итак, ваш ответ!

На одно мгновение у Растиньяка, точно у человека, задремавшего в лесу и проснувшегося бок о бок с голодной львицей, помутилось сознание. Ему стало страшно, но никто этого не видел; в таких случаях самые отважные люди поддаются чувству страха.

– Он один может знать... и осмелиться... – пробормотал он.

Маска сжала ему руку, желая помешать окончить фразу.

– Действуйте, как если бы то был *он*, – сказал неизвестный.

Тогда Растиньяк поступил подобно миллионеру, взятому на мушку разбойником с большой дороги: он сдался.

– Дорогой граф, – сказал он, опять подойдя к Шатле, – если вы дорожите вашим положением, обращайтесь с Люсьеном де Рюампре как с человеком, которому предстоит подняться гораздо выше вас.

Маска неприметным жестом выразила удовлетворение и опять двинулась вслед за Люсьеном.

– Дорогой мой, вы слишком поспешно переменили мнение на его счет, – отвечал префект, выразив законное удивление.

– Не более поспешно, чем те лица, которые, принадлежа к центру, отдают голос правым, – отвечал Растиньяк этому префекту-депутату, который с недавней поры перестал голосовать за министерство.

– Разве ныне существует мнение? Существует лишь выгода, – заметил де Люпо, слушавший их. – О ком идет речь?

– О господине де Рюампре. Растиньяк желает преподнести его мне как важную персону, – сказал депутат генеральному секретарю.

– Милый граф, – отвечал ему де Люпо чрезвычайно серьезно, – господин де Рюампре весьма достойный молодой человек, состоящий под высоким покровительством, и я почел бы за счастье возобновить с ним знакомство.

– Вот сейчас он попадет в ловушку, которую ему расставили наши повесы! – воскликнул Растиньяк.

Три собеседника обернулись в ту сторону, где собралось несколько остроумцев, людей более или менее знаменитых и несколько щеголей. Господа эти обменивались наблюдениями, шутками, сплетнями, желая потешиться или ожидая потехи. В этой группе, столь причудливо подобранной, находились люди, с которыми Люсьена когда-то связывали сложные отношения показной благосклонности и тайного недоброжелательства.

– А! Люсьен, дитя мое, ангел мой, вот мы и оперились, приукрасились! Откуда мы? Стало быть, при помощи даров, исходящих из будуара Флорины, мы снова на щите? Браво, мой мальчик! – обратился к нему Блонде, и, оставив Фино, он бесцеремонно обнял Люсьена и прижал его к своей груди.

Андош Фино был издателем журнала, в котором Люсьен работал почти даром и который Блонде обогащал своим сотрудничеством, мудростью советов и глубиной взглядов. Фино и Блонде олицетворяли собою Бертрана и Ратона, с тою лишь разницей, что лафонтеновский кот разоблачил наконец обманщиков, а Блонде, зная, что он одурачен, по-прежнему служил Фино. Этот блистательный наемник пера и в самом деле долгое время вынужден был сносить рабство. Фино таил грубую напористость под обличьем увальня, под махровой глупостью наглеца, чуть приправленной остроумием, как хлеб чернорабочего чесноком. Он умел приберечь то, что подбирал на поприще рассеянной жизни, которую ведут люди пера и политические дельцы: мысли и золото. Блонде, на свое несчастье, отдавал свои силы в услужение порокам и праздности. Вечно подстерегаемый нуждою, он принадлежал к злосчастной породе людей, которые способны на все ради пользы ближнего и шагу не сделают ради своей собственной, – к породе Аладдинов, отдавших свою лампу в займы. Эти бесподобные советчики обнаруживают пронизательный и ясный ум, когда дело не касается их личных интересов. У них работает голова, а не руки. Отсюда беспорядочность их жизни, отсюда и те упреки, которыми их осыпают люди ограниченные. Блонде делился кошельком с товарищем, которого накануне оскорбил; он обедал, пил, спал с тем, кого завтра мог погубить. Его забавные парадоксы служили всему оправданием. Он все в мире воспринимал как забаву и не желал, чтобы его самого принимали всерьез. Юный, удачливый, всеми любимый, чуть ли не знаменитый, он не заботился, подобно Фино, о том, чтобы накопить состояние, необходимое для человека в зрелом возрасте. Если

бы Люсьен в эту минуту срезал Блонде, как срезал госпожу д'Эспар и Шатле, быть может, он проявил бы величайшее мужество. Только что его тщеславие восторжествовало: он предстал богатым, счастливым и высокомерным перед двумя особами, которые пренебрегли когда-то бедным и жалким юношей; но мог ли поэт, уподобясь искушенному дипломату, резко порвать с двумя так называемыми друзьями, приголубившими его в пору невзгод, приютившими в бедственные дни? Фино, Блонде и он сам вместе катились по наклонной плоскости, проводя время в кутежах, пожиравших только деньги их работодателей. И вот, уподобясь солдату, который не умеет найти достойного применения своему мужеству, Люсьен поступил, как поступают многие парижане: он снова пожертвовал своим достоинством, ответив на рукопожатие Фино и не отклонив любезностей Блонде. Кто ранее был причастен к журналистике или еще по сию пору к ней причастен, тот вынужден в силу жестокой необходимости раскланиваться с теми, кого он презирает, улыбаться злейшему недругу, мириться с любыми низостями, пачкать себе руки, желая воздать обидчикам их же монетой. Привыкают равнодушно смотреть, как творится зло; сначала его приемлют, затем и сами творят его. Со временем душа, непрерывно оскверняемая сделками с совестью, мельчает, пружины благородных мыслей ржавеют, петельные крючья пошлости разбалтываются и начинают вращаться сами собою. Альцесты становятся Филинтами, воля расслабляется, таланты растлеваются, вера в прекрасное творчество угасает. Тот, кто мечтал о книгах, которыми он мог бы гордиться, растрчивает силы на ничтожные статейки, и рано или поздно совесть упрекнет его за них, как за постыдный проступок. Готовишься, подобно Лусто, подобно Верну, стать великим писателем, а оказываешься жалким писакой. Стало быть, выше всяческих похвал стоят люди, характер которых на высоте их таланта, – д'Артезы, умеющие шагать твердой поступью между рифами литературной жизни. Люсьен не мог противостоять вкрадчивости Блонде, который по самому складу своего ума оказывал на него неодолимое, растлевающее влияние, сохраняя превосходство развратителя над учеником, а к тому же он занимал отличное положение в свете благодаря своей связи с графиней де Монкорне.

– Вы получили наследство от какого-нибудь дядюшки? – насмешливо спросил его Фино.

– Я беру пример с вас: стригу глупцов, – в тон ему отвечал Люсьен.

– Не обзавелся ли случайно господин де Рюампре каким-нибудь журналом или газетой? – продолжал Андош Фино с наглой самоуверенностью, свойственной эксплуататору в обращении с эксплуатируемым.

– Я приобрел нечто лучшее, – сказал Люсьен, тщеславие которого, уязвленное подчеркнутым самодовольством главного редактора, напоминало ему о новом его положении.

– Что же вы приобрели, дорогой мой?..

– Я приобрел партию.

– Существует партия Люсьена? – усмехнулся Верну.

– Видишь, Фино, этот юнец обошел тебя, я тебе это предсказывал. Люсьен талантлив, а ты его не берег, помыкал им. Пеняй на себя, дуралей! – воскликнул Блонде.

Хитрый как лиса, Блонде почувал, что немало тайн скрыто в интонациях, движениях, осанке Люсьена; он оболыщал его, в то же время своими льстивыми словами крепче натягивая удила. Он желал знать причину возвращения Люсьена в Париж, его намерения, его средства к существованию.

– На колени перед величием, которого тебе никогда не достигнуть, хоть ты и Фино! – продолжал он. – Примем же этого господина, и тотчас же, в компанию сильных мира сего, которым принадлежит будущее: он наш! Он остроумен и прекрасен, кому же еще, как не ему, достигнуть цели твоими же *quibuscumque viis*³. Вот он, в славных миланских доспехах, при нем могучий полуобнаженный меч и рыцарское знамя! Черт возьми! Люсьен, откуда ты выкрал

³ Любыми путями (*лат.*).

этот чудесный жилет? Только любовь способна отыскивать подобные ткани. У нас есть дом? В настоящее время мне нужны адреса моих друзей, мне негде ночевать. Фино выгнал меня сегодня под пошлым предлогом любовной удачи.

– Мой дорогой, я применяю на практике аксиому, следуя которой можно с уверенностью прожить спокойно: *fuge, late, tace*⁴. Я вас покидаю, – отвечал Люсьен.

– Но я тебя не покину, покуда ты со мною не расчелся. Вспомни-ка один священный долг: обещанный нам скромный ужин! – сказал Блонде, очень любивший вкусно поесть и требовавший, чтобы его угощали, когда у него не было денег.

– Какой ужин? – спросил Люсьен, не скрыв нетерпеливого движения.

– Не помнишь? Вот в чем я вижу признак процветания друга: он утратил память.

– Люсьен знает, что он у нас в долгу; за его совесть я готов поручиться, – заметил Фино, поддерживая шутку Блонде.

– Растиньяк, – сказал Блонде, взяв под руку молодого щеголя в ту минуту, когда тот проходил по фойе, направляясь к колонне, подле которой стояли его так называемые друзья, – речь идет об ужине: вы составите нам компанию... Если только этот господин, – продолжал он серьезным тоном, указывая на Люсьена, – не станет упорно отрицать долг чести... С него станется!..

– Я ручаюсь, что господин де Рюбампре на это не способен, – сказал Растиньяк, менее всего подозревавший о мистификации.

– Вот и Бисиу! – воскликнул Блонде. – Он тоже к нам примкнет: без него нам ничто не мило. Без него и шампанское склеивает язык, и все кажется пресным, даже перец эпиграммы.

– Друзья мои, – начал Бисиу, – я вижу, что вы объединились вокруг чуда нынешнего дня. Наш милый Люсьен воскрешает «Метаморфозы» Овидия. Подобно тому как боги, ради обольщения женщин, превращались в какие-то необыкновенные овощи и во всякую всячину, они превратили Шардона в дворянина, чтобы обольстить... кого? Карла Десятого! Люсьен, голубчик мой, – сказал он, взяв его за пуговицу фрака, – журналист, метящий в вельможи, заслуживает изрядной шумихи. Я бы на их месте, – добавил неумолимый насмешник, указывая на Фино и Верну, – тиснул о тебе статейку в своей газете; ты принес бы им за десять столбцов остроумия сотню франков.

– Бисиу, – сказал Блонде, – мы чтим Амфитриона целых двадцать четыре часа перед началом пиршества и двенадцать часов после пиршества: наш знаменитый друг дает нам ужин.

– Как? Что? – возразил Бисиу. – Но разве не самое главное спасти от забвения великое имя, подарить бездарной аристократии талантливого человека? Люсьен, ты в почете у прессы, лучшим украшением коей ты был, и мы тебя поддержим. Фино, передовую статью! Блонде, коварную тираду на четвертой странице твоей газеты! Объявим о выходе в свет прекраснейшей книги нашей эпохи «Лучник Карла Девятого»! Будем умолять Дориа срочно издать «Мargarитки», божественные сонеты французского Петрарки! Поднимем нашего друга на щит из гербовой бумаги, что создает и рушит репутации!

– Если ты хочешь поужинать, – сказал Люсьен, обращаясь к Блонде, ибо он желал избавиться от этой шайки, грозившей увеличиться, – мне кажется, тебе нет нужды прибегать к помощи гиперболы и параболы в разговоре со старым другом, точно он какой-нибудь простак. Завтра вечером у Луантье, – быстро добавил он и поспешил навстречу женщине, шедшей в их сторону.

– О-о-о! – насмешливо протянул Бисиу, меняя тон при каждом восклицании и словно узнавая маску, к которой устремился Люсьен. – Сие заслуживает подтверждения.

⁴ Беги, таись, молчи (*лат.*).

И он пошел вслед красивой паре, обогнал ее, оглядел пронизательным оком и воротился к большому удовлетворению всех этих завистников, любопытствующих узнать, откуда протекает перемена в судьбе юноши.

– Друзья мои, предмет счастливой страсти его светлости господина де Рюампре вам хорошо знаком, – сказал им Бисиу. – Это бывшая «крыса» де Люпо.

Одним из видов разврата, ныне забытым, но распространенным в начале нашего века, было чрезмерное пристрастие к так называемым крысам. «Крысой» – это прозвище ныне устарело – называли девочку десяти-одиннадцати лет, статистку какого-нибудь театра, чаще всего Оперы, которую развратники готовили для порока и бесчестия. «Крыса» была своего рода сатанинским пажом, мальчишкой женского пола, ей прощались любые выходки. Для «крысы» не было ничего запретного, ее следовало остерегаться, как опасного животного; но она, как некогда Скапен, Сганарель и Фронтен в старинной комедии, вносила в жизнь искорку веселья. «Крыса» обходилась чрезвычайно дорого и не служила ни к чести, ни к выгоде, ни к счастью; мода на «крыс» настолько забыта, что теперь мало кто знал бы об этой интимной подробности светской жизни в эпоху, предшествующую Реставрации, если бы некоторые писатели не возродили «крысу» в качестве новой темы.

– Как, Люсьен, уморив Корали, похитил у нас Торпиль? – воскликнул Блонде.

Услышав это имя, атлет в черном домино невольно сделал движение, хотя и сдержанное, но подмеченное Растиньяком.

– Этого быть не может! – отвечал Фино. – У Торпиль нет ни гроша, ей нечего ему дать; мне сказал Натан, что она заняла тысячу франков у Флорины.

– Ах! Господа, господа!.. – сказал Растиньяк, пытаясь защитить Люсьена от гнусных обвинений.

– Полноте! – вскричал Верну. – Так ли уж шепетилен бывший *содержанец* Корали?

– О! Эта тысяча франков, – сказал Бисиу, – доказывает мне, что наш друг Люсьен живет с Торпиль...

– Какая невозместимая утрата постигла цвет литературы, науки, искусства и политики! – сказал Блонде. – Торпиль – единственная непотребная девка с прекрасными данными для настоящей куртизанки; она не испорчена образованием, она не умеет ни читать, ни писать; она поняла бы нас. Мы одарили бы нашу эпоху одной из тех великолепных фигур в духе Аспазии, без коих нет великого века. Посмотрите, как Дюбарри подходит к восемнадцатому веку, Нинон де Ланкло – к семнадцатому, Марион Делорм – к шестнадцатому, Империя – к пятнадцатому, Флора – к Римской республике, которую она сделала своей наследницей, – этим наследством был оплачен государственный долг республики! Чем был бы Гораций без Лидии, Тибулл без Делии, Катулл без Лесбии, Проперций без Цинтии, Деметрий без Ламии – которые и поныне создают им славу!

– Блонде, трактующий в фойе Оперы о Деметрий, – сюжет во вкусе «Debat», – сказал Бисиу на ухо своему соседу.

– Не будь этих владычиц, что случилось бы с империей Цезарей? – продолжал Блонде. – Лаиса и Родопис – это Греция и Египет. Все они, впрочем, воплощенная поэзия веков, в которые они жили. Этой поэзией, которой пренебрег Наполеон – ибо вдова его великой армии не более как казарменная шутка, – революция не пренебрегла: у нее была госпожа Тальен! Сейчас во Франции, где нет отбоя от претендентов на престол, трон свободен! Мы могли бы создать королеву. Я наградил бы Торпиль какой-нибудь теткой, ибо ее мать, что слишком достоверно, умерла на поле бесчестия, дю Тийе оплатил бы особняк, Лусто – карету, Растиньяк – слуг, де Люпо – повара, Фино – шляпы (Фино не мог скрыть невольного движения, получив в упор эту колкость), Верну создал бы ей рекламу, Бисиу придумывал бы для нее острооты! Аристократия наезжала бы к нашей Нинон повеселиться, мы созывали бы к ней артистов под угрозой смертоносных статей. Нинон Вторая славилась бы великолепной дерзостью, ошеломляющей роско-

шью. У нее были бы свои убеждения. У нее читали бы запрещенные драматические шедевры, их сочиняли бы нарочно, если бы понадобилось. Она не была бы либеральна – куртизанки по природе монархистки. Ах, какая утрата! Она была рождена, чтобы заключить в объятия целый век, а милуется с каким-то юнцом! Люсьен обратит ее в охотничью собаку!

– Ни одна из властительниц, упомянутых тобою, не шаталась по улицам, а эта красивая «крыса» вывалилась в грязи, – заметил Фино.

– Подобно лилии в перегное, – подхватил Верну. – Она в нем выросла, она в нем расцвела. Отсюда ее превосходство. Не надо ли все испытать, чтобы обрести способность смеяться и радоваться по поводу всего?

– Он прав, – сказал Лусто, до той поры хранивший молчание. – Торпиль умеет смеяться и смешить. Это искусство, присущее великим писателям и великим актерам, дается лишь тем, кто изведал все социальные глубины. В восемнадцать лет эта девушка познала вершины богатства, бездны нищеты, людей всех сословий. Она как будто владеет волшебной палочкой, с ее помощью она разнуздывает животные инстинкты, столь насильственно подавленные у мужчины, который все еще не остыл сердцем, хотя и занимается политикой, наукой, литературой или искусством. В Париже нет женщины, которая осмелилась бы, подобно ей, сказать Животному: «Изыди!» И Животное покидает свое логово и предается излишествам. Торпиль насыщает вас по горло, она побуждает вас пить, курить. Словом, эта женщина – соль, воспетая Рабле; брошенная в вещество, она оживляет его, возносит до волшебных областей Искусства. Одежда ее являет небывалое великолепие, ее пальцы, когда это нужно, роняют драгоценные камни, как уста – улыбки, она умеет каждое явление видеть в свете создавшихся обстоятельств; ее речь искрится острыми словцами, она владеет искусством звукоподражания и создает слова самые красочные и ярко окрашивающие все; она...

– Ты теряешь пять франков за фельетон, – перебил его Бисиу. – Торпиль несравненно лучше. Все вы были более или менее ее любовниками, но никто из вас не может сказать, что она была его любовницей; она всегда вольна обладать вами, но вы ею – никогда. Вы вламываетесь к ней, вы умоляете ее...

– О! Она великодушнее удачливого предводителя разбойничьей шайки и преданнее самого лучшего школьного товарища, – воскликнул Blonde, – ей можно доверить кошелек и тайну! Но вот за что я избрал бы ее королевой: она, подобно Бурбонам, равнодушна к павшему фавориту.

– Она, как и ее мать, чрезвычайно дорога, – сказал де Люпо. – Прекрасная Голландка могла бы расправиться с состоянием толедского архиепископа, она пожрала двух нотариусов...

– И кормила Максима де Трая, когда он был пажом, – прибавил Бисиу.

– Торпиль чрезвычайно дорога, так же как Рафаэль, как Карем, как Тальони, как Лоуренс, как Буль, как были дороги все гениальные художники... – заметил Blonde.

– Но никогда Эстер по своей внешности не походила на порядочную женщину, – сказал Растиньяк, указав на маску, которую Люсьен вел под руку. – Бьюсь об заклад, что это госпожа де Серизи.

– В том нет сомнения, – поддержал его Шатле, – и удача господина де Рюампре объяснима.

– Ах! Церковь умеет выбирать своих левитов! Какой из него выйдет очаровательный секретарь посольства! – воскликнул де Люпо.

– Тем более, – продолжал Растиньяк, – что Люсьен талантлив. Эти господа имели тому не одно доказательство, – добавил он, глядя на Blonde, Фино и Лусто.

– Да, наш юнец далеко пойдет, – сказал Лусто, раздраемый завистью, – тем более что у него есть то, что мы называем независимостью мысли...

– Твое творение, – сказал Верну.

– Так вот, – заключил Бисиу, глядя на де Люпо, – я взываю к воспоминаниям господина генерального секретаря и докладчика Государственного совета; маска – не кто иная, как Торпиль, держу пари на ужин...

– Принимаю пари, – сказал Шатле, желавший узнать истину.

– Послушайте, де Люпо, – сказал Фино, – попытайтесь признать по ушам вашу бывшую «крысу».

– Нет нужды оскорблять маску, – снова заговорил Бисиу, – Торпиль и Люсьен, возвращаясь в фойе, пройдут мимо нас, и я берусь доказать вам, что это она.

– Стало быть, наш друг Люсьен опять всплыл на поверхность, – сказал Натан, присоединившийся к ним, – а я думал, что он воротился в ангулемские края, чтобы скоротать там свои дни. Не открыл ли он какого-нибудь секретного средства против кредиторов?

– Он сделал то, чего ты так скоро не сделаешь, – отвечал Растиньяк, – он заплатил все долги.

Тучная маска кивнула головой в знак одобрения.

– Когда молодой человек в его возрасте остепеняется, он в какой-то степени обкрадывает себя, утрачивает задор, превращается в рантье, – заметил Натан.

– О! Этот останется вельможей, он никогда не утратит возвышенности мысли. Вот что обеспечит ему превосходство над многими так называемыми возвышенными людьми, – отвечал Растиньяк.

В эту минуту все они – журналисты, денди, бездельники – изучали, как барышники изучают лошадь, обворожительный предмет их пари. Эти судьи, умудренные долгим опытом парижского беспутства, и каждый в своем роде человек недюжинного ума, в равной мере развращенные, в равной мере развратители, посвятившие себя удовлетворению необузданного честолюбия, приученные все предполагать, все угадывать, следили горящими глазами за женщиной в маске, – за женщиной, узнать которую могли только они. Только они одни, да еще несколько завсегдатаев балов в Опере могли заметить под длинным черным саваном домино, под капюшоном, под ниспадающим воротником, которые до неузнаваемости меняют облик женщины, округлость форм, особенности осанки и поступи, гибкость стана, посадку головы – приметы, наименее уловимые обычным глазом и бесспорные для них. Они могли наблюдать, несмотря на бесформенное одеяние, самое волнующее из зрелищ: женщину, одушевленную истинной любовью. Была ли то Торпиль, герцогиня де Мофриньез или госпожа де Серизи, низшая или высшая ступень социальной лестницы, это создание являлось дивным творением, воплощенной любовной грезой. Юные старцы, как и старые юнцы, поддавшись очарованию, позавидовали высокому дару Люсьена превращать женщину в богиню. Маска держала себя так, словно она была наедине с Люсьеном: для этой женщины не существовало ни десяти тысячной толпы, ни душного, насыщенного пылью воздуха. Нет! Она пребывала под божественным сводом Любви, как Мадонна Рафаэля – под сенью своего золотого венца. Она не чувствовала толкотни, пламень ее взора проникал сквозь отверстия маски и сливался со взором Люсьена, и, казалось, по ней пробегал трепет при каждом движении ее друга. Где источник того огня, что окружает сиянием влюбленную женщину, отмечая ее среди всех? Где источник той легкости сильфиды, казалось опровергающий законы тяготения? Быть может, то воспаряющая ввысь душа? Быть может, то счастье, обретающее зримые черты? Девическая наивность, детская прелесть проступали сквозь домино. Эти два существа, пусть они шли только рядом, напоминали изваяние Флоры и Зефира, слившихся в объятии по воле искуснейшего скульптора, но то было нечто большее, нежели скульптура – высшее из искусств; Люсьен и его прелестное домино напоминали ангелов в окружении цветов и птиц, как их запечатлела кисть Джованни Беллини под изображениями Девы-Богоматери; Люсьен и эта женщина принадлежали миру Воображения, которое выше Искусства, как причина выше следствия.

Когда эта женщина, забывшая обо всем, проходила неподалеку от группы молодежи, Бисиу ее окликнул: «Эстер!» Несчастливая живо обернулась на оклик, узнала коварного человека и опустила голову, – она была похожа на умирающую, которая выпускает последний вздох. По зале разнесся громкий смех, и молодые люди рассеялись в толпе, как стая вспугнутых полевых мышей, бегущих от обочины дороги в свои норки. Один лишь Растиньяк отошел на такое расстояние, чтобы не дать повода думать, будто он бежит от испепеляющих взоров Люсьена; он мог полюбоваться горем двух существ, пусть скрытым, но равно глубоким: сперва – бедная Торпиль, как бы сраженная ударом молнии, затем – непостижимая маска, единственная фигура из всей группы, не двинувшаяся с места. Эстер в тот миг, когда ее ноги подкосились, успела что-то шепнуть на ухо Люсьену, и Люсьен, поддерживая ее, скрылся с нею в толпе. Растиньяк проводил взглядом красивую пару и глубоко задумался.

– Откуда у нее прозвище Торпиль?⁵ – спросил мрачный голос, потрясший все его существо, ибо на сей раз он не был изменен.

– Значит, *он* опять бежал... – сказал Растиньяк в сторону.

– Молчи, или я тебя задушю, – отвечала маска уже другим голосом. – Я доволен тобой, ты сдержал слово, стало быть, наша помощь к твоим услугам. Будь отныне нем как могила; но прежде ответь на мой вопрос.

– Ну что ж! Эта девушка так пленительна, что могла бы покорить императора Наполеона, даже кого-нибудь еще более стойкого: тебя хотя бы! – отвечал Растиньяк, отходя прочь.

– Постой! – сказала маска. – Я докажу тебе, что ты меня нигде и никогда не видел.

Человек снял маску. Растиньяк одно мгновение колебался, он не находил в нем ничего общего с тем страшным существом, которое когда-то знал в пансионе Воке.

– Дьявол помог вам преобразить все, кроме глаз, их забыть нельзя, – сказал он ему.

Железная рука сжала его руку, повелевая хранить вечное молчание.

В три часа утра де Люпо и Фино застали изящного Растиньяка на том же месте, где его оставила страшная маска. Прислонившись к колонне, Растиньяк исповедовался самому себе: он был и духовником и кающимся, и обвинителем и обвиняемым. Они увели его завтракать; домой он вернулся совершенно пьяный, но безмолвный.

Улица Ланглад, так же как и соседние с ней улицы, позорит Пале-Рояль и улицу Риволи. На этой части одного из самых блистательных парижских кварталов – наследии холмов, образовавшихся из свалок старого Парижа, где некогда стояли мельницы, – еще долгое время будет лежать постыдное пятно. Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистолюбивые промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, улицы Нев-де-Пти-Шан и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса Промышленности, Моды и Искусства, то, попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск в небо, человек, не знакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющиеся от газовых фонарей. Время от времени тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не проникающий в темные тупики. Здесь мало прохожих, и они идут торопливой походкой. Лавки заперты, а те, что отперты, внушают опасение: это или грязный, полутемный кабачок, или бельевая лавка, где продают и одеколон. Пронизывающая сырость окутывает ваши плечи своим влажным плащом. Лишь изредка проедет карета. Здесь попадаются мрачные места, и среди них в особенности улица Ланглад, а также выход из проезда Сен-Гильом и некоторые повороты других улиц. Муниципальный совет ничего не сделал, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий, ибо проституция с давней поры обосновала здесь свою главную квартиру. Возможно, большое удобство для парижского высшего общества в том, что эти улицы не утрачивают своего гнусного облика. Но

⁵ *Торпиль* (Torpille) – электрический скат (*фр.*).

когда проходишь здесь днем, нельзя вообразить, во что превращаются эти улицы ночью: там блуждают причудливые существа из неправдоподобного мира, полуобнаженные белые фигуры вырисовываются на стенах домов, мрак оживлен. Между стенами и прохожими крадутся разряженные манекены, одушевленные и лепечущие. Из приотворенных дверей слышатся взрывы смеха. До ушей доносятся слова, которые Рабле почитал замороженными, между тем они тают. Им подпевают камни мостовой. То не беспорядочный шум, он что-то означает: если звук сиплый, стало быть – голос; если же он напоминает пение, в нем исчезает все человеческое, он подобен вою. Часто раздаются свистки. Чудится, что даже каблуки башмаков постукивают насмешливо и издевательски. Все в целом вызывает головокружение. Атмосферные условия там необычны: зимой жарко, летом холодно. Но какова бы ни была погода, это удивительное место являет собою вечно одно и то же зрелище: фантастический мир берлинца Гофмана. И самый трезвый человек не отыщет в нем ни малейшей реальности, когда, миновав эти труппы, он выйдет на приличные улицы, где встречаются прохожие, лавки и фонари. Администрация или современная политика, более высокомерные или более стыдливые, нежели королевы и короли прошедших времен, не опасавшиеся дарить своим вниманием куртизанок, уже не осмеливаются открыто заняться этой язвой столиц. Конечно, меры воздействия со временем видоизменяются, и те, которые касаются личности и ее свободы, следует применять со всей осторожностью, но, может быть, надлежало бы проявить широту и смелость в отношении условий чисто материальных, таких как воздух, свет, жилища. Блюститель нравственности, художник и мудрый администратор будут сожалеть о старинных Деревянных галереях Пале-Рояля, где скучивались эти овцы, которые теперь появляются повсюду, где есть гуляющие; и не лучше ли было бы, чтобы гуляющие шли туда, где находятся овцы? Что же случилось? Ныне самые блистательные бульвары, место волшебных прогулок, стали недоступны по вечерам для людей семейных. Полиция, чтобы спасти места общественного гуляния, не сумела воспользоваться теми возможностями, какие в этом отношении представляют собой некоторые пассажи.

Женщина, сраженная возгласом на бале в Опере, жила уже два месяца на улице Ланглад, в доме, с виду весьма невзрачном. Это прилепившееся к стене огромного здания, скверно оштукатуренное, узкое и чрезвычайно высокое строение выходило окнами на улицу и весьма напоминало насест попугая. В каждом его этаже было по квартире из двух комнат. Дом обслуживался узкой лестницей, прижатой к самой стене и получавшей причудливое освещение через оконные пролеты, которыми снаружи обозначался марш лестницы; на каждой площадке стоял бак для нечистот – одна из самых омерзительных особенностей Парижа. Лавка и второй этаж принадлежали в то время жестянщику; домовладелец жил в первом этаже, остальные четыре были заняты гризетками, весьма приличными, заслужившими со стороны домовладельца и привратницы уважение и снисходительность тем более оправданные, что сдавать внаем дом, столь своеобразно построенный и дурно расположенный, было чрезвычайно трудно. Назначение этого квартала объясняется достаточно большим количеством домов, подобных этому, отвергаемых Торговлей и пригодных лишь для тех, кто занимается незаконным, ненадежным или бесчестным промыслом.

В три часа дня привратница, видевшая, как в два часа пополудни какой-то молодой человек привез полуживую мадемуазель Эстер, держала совет с гризеткой, жившей этажом выше; прежде чем сесть в карету и ехать кататься, та поделилась с ней тревогой за Эстер, потому что в ее квартире царил мертвая тишина. Эстер, наверное, еще спала, но этот сон был подозрителен. Привратница, сидя одна в своей каморке, сокрушалась, что не может подняться на четвертый этаж, где помещалась квартира мадемуазель Эстер, и расследовать, что там творится. В то время, когда она уже решила доверить сыну жестянщика охрану своего помещения – подобие ниши, вделанной в углубление стены во втором этаже, – у подъезда остановился фиакр. Человек, закутавшийся с головы до ног в плащ, с явным намерением скрыть свое одеяние или сан, вышел из экипажа и спросил мадемуазель Эстер. Тогда привратница совершенно

успокоилась; тишина и спокойствие в квартире затворницы стали ей совершенно понятны. Когда посетитель поднимался по лестнице, приходившейся как раз над ее каморкой, привратница заметила серебряные пряжки, украшавшие его башмаки; ей показалось также, что она разглядела черную бахрому на поясе сутаны. Она вышла и принялась расспрашивать кучера; его молчание было для привратницы красноречивым ответом. Священник постучал, никто не откликнулся; он услышал негромкие стоны и выломал плечом дверь с ловкостью, видимо ниспосланной ему милосердием, в то время как у всякого другого это можно было бы приписать навыку. Он поспешил во вторую комнату, и там, перед Святой Девой из раскрашенного гипса, увидел бледную Эстер, стоявшую на коленях, вернее, упавшую со сложенными руками. Гризетка умирала. Жаровня с истлевшим углем говорила о событиях этого страшного утра. На полу валялись капюшон и накидка домино. Постель была не тронута. Бедная девушка, раненная в самое сердце, по-видимому, все подготовила по возвращении из Оперы. Фитиль свечи в застывшем стеарине на розетке подсвечника свидетельствовал, насколько Эстер была поглощена последними размышлениями. Платок, мокрый от слез, доказывал искренность отчаяния этой Магдалины, распростертой в классической позе нечестивой куртизанки. Эта полнота раскаяния вызвала у священника улыбку. Эстер, неопытная в искусстве покончить с собой, оставила дверь открытой, не рассчитав, что воздух двух комнат требовал большего количества угля, чтобы стать смертоносным; угар лишь одурманил ее; свежий воздух, хлынувший с лестницы, постепенно вернул ее к сознанию своих горестей. Священник по-прежнему стоял, погруженный в мрачное раздумье, равнодушный к божественной красоте девушки, и наблюдал, как постепенно возвращалось к ней сознание, точно перед ним было какое-нибудь животное. Его взгляд с видимым безразличием переходил от распростертого тела на окружающие предметы. Он рассматривал убранство комнаты с холодным полом, выложенным красными плитками, местами выпавшими, и едва прикрытым убогим, вытертым ковром. Старомодная кровать под красное дерево, с пологом из коленкора, желтого с красными розанами, единственное кресло, два стула, также под красное дерево, крытые тем же коленкором, который пошел и на оконные занавеси; серые обои в цветочках, засаленные и потемневшие от времени; рабочий стол красного дерева; камин, заставленный кухонной утварью самого низкого качества, две начатые вязанки дров; на каменном подоконнике, вперемешку со стеклянными бусами и ножницами, небрежно брошенные драгоценные украшения, грязная подушечка для булавок, белые надушенные перчатки, очаровательная шляпка, оброненная на кувшин с водой, на окне шаль от Терно, затемнявшая свет, нарядное платье, повешенное на гвоздь; жесткая, без подушек, кушетка; отвратительные стоптанные деревянные башмаки и изящные ботинки, полусапожки, которым позавидовала бы королева; простые фарфоровые тарелки с отбитыми краями, хранящие остатки еды, под грудой мельхиоровых приборов, этого столового серебра парижской бедноты; корзинка, наполненная картофелем и грязным бельем, а сверху – свежий газовый чепец; дешевый зеркальный шкаф, открытый и пустой, на полках которого можно было заметить ломбардные квитанции, – таково было поражавшее взор содружество всех этих вещей, мрачных и веселых, убогих и великолепных. Не заставила ли задуматься священника эта необычная картина – эти следы роскоши среди черепков, это хозяйство, столь соответствовавшее беспорядочной жизни девушки, которая лежала на полу в растерзанном белье, точно лошадь, павшая во всей своей сбруе под сломанной оглоблей, запутавшись в вожжах? Признал ли он, по крайней мере, что эта падшая девушка была бескорыстна, если мирилась с такой нищетой, имея возлюбленным молодого богача? Приписывал ли он беспорядочность обстановки беспорядочности жизни? Испытывал ли он жалость, ужас? Шевельнулось ли в его сердце чувство сострадания? Тот, кто увидел бы его омраченное чело, сжатый рот, скрещенные на груди руки, кто подметил бы его суровый взгляд, тот решил бы, что этот человек обуреваем темными, злобными чувствами, противоречивыми побуждениями, зловещими замыслами. Он был несомненно равнодушен к прелестным округлостям груди, почти раздавленной тяжестью поник-

шего тела, к пленительным формам этой *Присевшей Венеры*, которые ясно обрисовывались под черным платьем, ибо умирающая буквально сжалась в клубок; ни беспомощно опущенная головка, открывавшая взору белую шею, нежную и гибкую, ни прекрасные, смело изваянные природой плечи – ничто его не волновало. Он не приподнял Эстер, он, казалось, не слышал душераздирающих вздохов, которые выдавали возвращение к жизни, и только когда девушка разрыдалась и устремила на него отчаявшийся взгляд, он соблаговолил поднять ее с полу и отнести на кровать, причем это было сделано с легкостью, которая обнаруживала в нем недюжинную силу.

– Люсьен! – прошептала она.

– Любовь оживает, стало быть, оживает и женщина, – сказал священник с какой-то горечью.

Жертва парижской развращенности заметила наконец одеяние своего спасителя и, улыбаясь, как дитя, получившее желанную игрушку, сказала ему:

– Теперь я умру, примирившись с Небом!

– Вы можете искупить свои грехи, – сказал священник, омочив ее лоб водой и дав понюхать уксуса из флакона, найденного им в углу.

– Я чувствую, что жизнь возвращается ко мне, а не уходит, – сказала она в ответ на заботы священника, сопровождая свои слова жестом, исполненным признательности и неподдельной искренности.

Пленительная пантомима, к которой ради соблазна прибегли бы и сами Грации, вполне оправдывала прозвище странной девушки.

– Вам стало легче? – спросил священнослужитель, давая ей выпить стакан воды с сахаром.

Этот человек, казалось, был знаком со своеобразным укладом жизни гризеток, он все тут знал. Он был тут как у себя дома. Дар быть всюду, как у себя дома, присущ лишь королям, девкам и ворам.

– Когда вы почувствуете себя вполне хорошо, – продолжал странный священник после короткого молчания, – вы мне откроете причины, которые довели вас до вашего последнего преступления, до попытки самоубийства.

– Моя история очень проста, отец мой, – отвечала она. – Три месяца назад я еще вела распутную жизнь, с которой свыклась с самого рождения. Я была последняя тварь, и самая гнусная; теперь я лишь несчастнейшая из всех несчастных. Позволь мне не рассказывать о моей несчастной матери, убитой...

– Капитаном в непотребном доме, – сказал священник, прерывая кающуюся. – Мне известно ваше происхождение, и я уверен, что если кто-нибудь из представительниц вашего пола может заслужить прощение за свою постыдную жизнь, так это вы, не ведавшая доброго примера.

– Увы! Я не крещена, и никакая религия меня не наставляла.

– Стало быть, все еще поправимо, – продолжал священник, – лишь бы ваша вера, ваше раскаяние были искренни и не таили какой-нибудь мысли.

– Люсьен и Бог в моем сердце, – сказала она с трогательной наивностью.

– Вы лучше бы сказали Бог и Люсьен, – заметил священник, улыбаясь. – Вы напоминаете мне о цели моего посещения. Не скрывайте ничего, что касается этого молодого человека.

– Вы пришли от него? – спросила она с такой любовью, что растрогала бы всякого другого священника. – Ах! Он предчувствовал несчастье.

– Нет, – отвечал он, – причина тревоги не ваша смерть, а ваша жизнь. Ну, расскажите мне о ваших отношениях с Люсьеном.

– Одним словом... – начала она.

Резкий тон священнослужителя повергал бедную девушку в трепет, но все же то была женщина, которую грубость давно уже перестала поражать.

– Люсьен – это Люсьен, – продолжала она. – Прекраснейший из юношей и лучший из всех смертных; но, если вы его знаете, моя любовь должна казаться вам вполне естественной. Я встретила его случайно, три месяца назад, в театре Порт-Сен-Мартен, в один из моих свободных дней, – ведь в заведении госпожи Менарди, где я жила, у каждой из нас был свободный день в неделю. На другое утро, как вы отлично понимаете, я тайком убежала оттуда. Любовь овладела моим сердцем, и все во мне так изменилось, что, вернувшись из театра, я себя не узнала; я сама себе внушала ужас. Все это осталось неизвестным Люсьену. Вместо того чтобы рассказать ему всю правду, я дала ему адрес вот этой квартирки – тогда здесь жила моя приятельница, такая милая, что уступила мне ее. Вот вам мое нерушимое слово...

– Не надо кляtv.

– Разве это клятва, когда дают нерушимое слово? Так вот, с того дня я стала работать как сумасшедшая, в этой самой комнате: я шила сорочки по двадцать восемь су за штуку, только бы жить честным трудом. Целый месяц я питалась одним картофелем, я хотела быть благоразумной и достойной Люсьена, ведь он любит меня и уважает, как самую добродетельную девушку. Я написала заявление в полицию, чтобы меня восстановили в правах, и теперь нахожусь под надзором сроком на два года. Люди так легко вносят вас в позорные списки и так становятся несговорчивы, когда приходится вас оттуда вычеркивать. Я просила Небо помочь мне выполнить мое решение. Мне минет девятнадцать лет в апреле: это возраст, когда еще не все потеряно. Мне кажется, что я родилась всего лишь три месяца назад... Каждое утро я молилась Богу и просила Его устроить так, чтобы никогда Люсьен не узнал о моей прежней жизни. Я купила вот эту Деву, что вы видите; я молилась Ей по-своему; ведь я не знаю никаких молитв; я не умею ни читать, ни писать, я никогда не ходила в церковь; мне случалось видеть Господа Бога только во время процессий, да и то я ходила туда из одного любопытства.

– Как же вы обращаетесь к Пресвятой Деве?

– Я говорю с Ней, как говорю с Люсьеном, – от всей души и так горячо, что у него навертываются слезы.

– А-а! Он плачет?

– От радости, – сказала она с живостью. – Бедняжка! Мы живем душа в душу! Он так мил, так ласков, так нежен и сердцем, и душой, и в обращении!.. Он говорит, что он поэт, а я говорю, что он Бог... Простите, но вы, священники, не понимаете, что такое любовь! Впрочем, никто так не знает мужчин, как знаем их мы, и никто не может достаточно оценить Люсьена. Люсьен, видите ли, такая же редкость, как безгрешная женщина; встретившись с ним, нельзя никого любить, кроме него, вот и все. Но для подобного существа нужна подобная же подруга. Я желала стать достойной любви моего Люсьена. Вот в чем мое несчастье. Вчера в Опере меня узнали молодые люди, а сострадания у них не больше, чем жалости у тигров, – с тигром я еще поладила бы! Покрывало невинности, что я носила, пало; их смех пронзил мой мозг и сердце. Не думайте, что вы спасли меня, я умру от горя.

– Покрывало невинности?.. – переспросил священник. – Стало быть, вы держались с Люсьеном крайне строго?

– О мой отец, как вы, зная его, задаете подобный вопрос! – отвечала она с улыбкой превосходства. – Богу не прекословят.

– Не кошунствуйте, – мягким голосом сказал священнослужитель. – Никому не дано быть подобным Богу; преувеличение противно истинной любви, вы не любите вашего кумира настоящей чистой любовью. Если бы вас поистине коснулось перерождение, которым вы хвалитесь, вы обрели бы добродетели, что служат достоянием юности, вы познали бы наслаждение целомудрия, прелесть непорочности – два ореола юной девушки! Нет, вы не любите!

Испуганный жест Эстер, замеченный священником, не поколебал бесстрастия этого духовника.

– Да, вы любите его ради себя, а не ради него самого, ради преходящих утех, что вас пленяют, а не ради любви во имя любви; поскольку вы им овладели греховным путем, вы, стало быть, не испытали священного трепета, внушаемого существом, отмеченным божественной печатью, достойным поклонения; подумали ли вы, что вы его позорите вашим порочным прошлым, что вы готовы развратить это дитя чудовищными наслаждениями, созданными вам прозвище, прославленное бесчестьем? Вы поступили опрометчиво в отношении себя самой и в отношении вашей мимолетной страсти...

– Мимолетной! – повторила она, подняв голову.

– Как же иначе назвать любовь, если то любовь преходящая, которая в вечной жизни не соединяет нас во Христе с тем, кого мы любим?

– Ах, я хочу стать католичкой! – вскричала она; и звук ее голоса, глухой и страстный, заслужил бы ей прощение Спасителя.

– Возможно ли, чтобы девушка, не удостоенная церковного крещения и не приобщившаяся науке, не обученная читать, писать, молиться, не ступившая шагу без того, чтобы камни мостовой не вопияли о ее грехах, отмеченная лишь непрочным даром красоты, которую завтра, быть может, похитит болезнь, – возможно ли, чтобы это презренное, падшее создание, ведающее о своей испорченности (будь вы в неведении и не любите вы так пылко, вы скорей заслужили бы прощение), эта будущая жертва самоубийства и преисподней могла стать женой Люсьена де Рюампре?

Каждое слово было ударом кинжала, оно ранило в самое сердце. Рыдания, нараставшие с каждой фразой, обильные слезы отчаявшейся девушки свидетельствовали о том, как ярко озарилось светом ее нетронутое, как у дикаря, сознание, ее пробудившаяся наконец душа, все ее существо, на которое разврат наложил грязный слой льда, тающий под солнцем веры.

– Зачем я не умерла! – вот была единственная высказанная ею мысль среди того водоворота мыслей, что, кружась в ее мозгу, словно опустошали его.

– Дочь моя, – сказал страшный судия, – существует любовь, в которой не открываются перед людьми, но ее признание с ликующей улыбкой принимают ангелы.

– Что же это за любовь?

– Любовь безнадежная, любовь вдохновенная, любовь жертвенная, облагораживающая все наши действия, все наши помыслы. Да, подобной любви покровительствуют ангелы, она ведет к познанию Бога! Совершенствоваться непрестанно, дабы стать достойной того, кого любишь, приносить ему тысячу тайных жертв, обожать издали, отдавать свою кровь капля за каплей, пренебречь самолюбием, не знать ни гордости, ни гнева, таить все, вплоть до жестокой ревности, которую любовь возжигает в вашем сердце, поступаться ради него, пусть в ущерб себе, всем, чего бы он ни пожелал, любить все, что он любит, прилепиться к нему мыслью, чтобы следовать за ним без его ведома, – подобную любовь простила бы религия, ибо она не оскорбляла бы ни законов человеческих, ни законов Божеских и вывела бы вас на иной путь, нежели путь вашей мерзостной похоти.

Выслушав этот страшный приговор, выраженный одним словом (и каким словом! и с какой силой оно было сказано!), Эстер почувствовала вполне законное недоверие. Слово было подобно удару грома, предвещавшего надвигающуюся грозу. Она взглянула на священника, и у нее сжалось сердце от страха, который овладевает даже самыми отважными людьми перед лицом нежданной и неотвратимой беды. Никто по выражению его лица не мог бы прочесть, что творилось тогда в этом человеке, но и наиболее смелые скорее ощутили бы трепет, нежели надежду, увидев эти глаза, когда-то блестящие и желтые, как глаза тигра, а теперь от самоистязаний и лишений подернутые пеленою, подобной дымке, что обволакивает небосклон в разгаре лета, – земля тепла и светозарна, но сквозь туман она представляется сумрачной и

мглистой, она почти не видна. Величественность, подлинно испанская, глубокие морщины, казавшиеся еще более безобразными от следов страшной оспы и напоминавшие рытвины на дорогах, избороздили его оливковое лицо, обожженное солнцем. Суровость этого лица еще более подчеркивалась обрамлявшим его гладким париком священника, который не печется более о своей особе, с редкими, искрасна-черными на свету, волосами. Торс атлета, руки старого солдата, широкие, сильные плечи приличествовали бы кариатидам средневековых зодчих, сохранившимся в некоторых итальянских дворцах, – отдаленное сходство с ними можно найти в кариатидах на здании театра Порт-Сен-Мартен. Люди наименее прозорливые решили бы, что пламенные страсти или необычайные злоключения бросили этого человека в лоно Церкви; несомненно, лишь неслыханные удары судьбы могли его изменить, если только подобная натура была способна измениться. Женщины, ведущие образ жизни, столь решительно отвергнутый Эстер, доходят до полного безразличия к внешности человека. Они напоминают современного литературного критика, который в известном отношении может быть с ними сопоставлен, ибо он также доходит до полного безразличия к канонам искусства; он прочел столько произведений, столько их прошло через его руки, он так привык к исписанным страницам, он пережил столько развязок, он видел столько драм, написал столько статей, не высказав того, что думал, он так часто предавал интересы искусства в угоду дружбе и недружелюбию, что чувствует отвращение ко всему и тем не менее продолжает судить. Только чудом подобный писатель может создать достойное произведение; только чудом чистая и возвышенная любовь может расцвести в сердце куртизанки. Тон и манеры священника, казалось сошедшего с полотна Сурбарана, представились столь враждебными бедной девушке, для которой внешность не имела значения, что она почувствовала себя не предметом заботы, а скорее необходимым участником какого-то замысла. Не умея отличить притворную ласковость из расчета от истинного милосердия, ибо надо быть настороже, чтобы распознать фальшивую монету, данную другом, она почувствовала себя в когтях хищной, страшной птицы, долго кружившей над ней, прежде чем на нее наброситься, и в ужасе, встревоженным голосом сказала:

– Я думала, что священники должны нас утешать, а вы меня убиваете!

При этом простодушном возгласе священник сделал невольное движение и умолк; он собирался с мыслями, прежде чем ответить. В продолжение минуты два существа, столь странно соединенные судьбою, украдкой изучали друг друга. Священник понял девушку, меж тем как девушка не могла понять священника. Он, видимо, отказался от какого-то намерения, угрожавшего бедной Эстер, и остался при первоначальном решении.

– Мы врачеватели душ, – сказал он мягким голосом, – и мы знаем, какие нужны средства от их болезней.

– Надобно многое прощать несчастным, – сказала Эстер.

Она усомнилась в правоте своих подозрений, соскользнула с постели, распростерлась у ног этого человека, поцеловала с глубоким смирением его сутану и подняла к нему глаза, полные слез.

– Я думала, что достигла многого, – сказала она.

– Послушайте, дитя мое! Ваша пагубная слава повергла в печаль близких Люсьена: они опасаются, и не без некоторых оснований, как бы вы не вовлекли его в рассеянную жизнь, в бездну безрассудств.

– Правда, это я увлекла Люсьена с собою на бал, чтобы немножко поинтриговать его.

– Вы достаточно хороши, чтобы он пожелал торжествовать свою победу перед лицом света и с гордостью выставлять вас напоказ, как парадный выезд! Если бы он тратил только деньги! Но он тратит время, силы; он утратит вкус к прекрасным возможностям, которые ему желают создать. Вместо того чтобы со временем стать посланником, богачом, предметом восхищения, знаменитостью, он окажется, подобно стольким распутникам, утопившим свои дарования в мерзости парижского разврата, возлюбленным падшей женщины. Что касается вас, то,

поднявшись временно в высшие сферы, вы рано или поздно обратитесь к прежней жизни, ибо в вас нет той стойкости, которая дается хорошим воспитанием и помогает противостоять пороку в интересах будущего. Вы так же не порвали бы с вашими товарками, как не порвали с людьми, опозорившими вас этой ночью в Опере. Истинные друзья Люсьена, встревоженные любовью, которую вы ему внушили, последовали за ним и все выведали. Придя в ужас, они направили меня к вам, чтобы узнать ваши намерения и затем решить вашу участь; но если они достаточно сильны, чтобы убрать препятствие с пути молодого человека, они и милосердны. Знайте, дочь моя: женщина, любимая Люсьеном, вправе рассчитывать на их уважение, – так истинному христианину дорогá и грязь, если на нее случайно упадет божественный луч. Я пришел, чтобы исполнить свой долг посредника в благом деле; но, ежели бы вы оказались совершенно испорченной, искушенной в коварстве, бесстыдной, развращенной до мозга костей, глухой к голосу раскаяния, я бы не защищал вас от их гнева. Я слышал, как вы, со всем пылом искреннего раскаяния, желали получить восстановление в правах гражданских и политических – это дело трудное, и полиция права, чиня к тому препятствия в интересах самого же общества; но вот оно, это разрешение, – сказал священник, вынимая из-за пояса бумагу казенного образца. – Вас видели вчера, документ помечен нынешним днем; судите сами, как могущественны люди, принимающие участие в Люсьене.

При виде этой бумаги судорожная дрожь, спутница нечаянного счастья, овладела простодушной Эстер, и на ее устах застыла улыбка, напоминавшая улыбку безумной. Священник умолк и взглянул на нее, желая убедиться, вынесет ли столько впечатлений юное создание, лишенное той страшной силы, которую люди порочные черпают в самой порочности, и вновь обретшее свою природную хрупкость и нежность. Куртизанка, лгунья разыграла бы комедию; но, обратившись к былой чистоте и искренности, Эстер могла бы умереть, – так прозревший после операции слепец может вновь потерять зрение от чересчур яркого света. Перед священником открылись в ту минуту глубины человеческой натуры, но он пребывал в устрашающем, непоколебимом спокойствии: то был холод снежных Альп, соприкасающихся с небом, бесстрастных и угрюмых, с гранитными склонами, и все же благостных. Эти девушки – существа в высшей степени непостоянные, они переходят беспричинно от самой тупой недоверчивости к неограниченному доверию. В этом отношении они ниже животного. Неистовые во всем, в радости, в печали, в вере и в неверии, почти все они были бы обречены на безумие, если бы не высокая смертность, которая опустошала их ряды, и если бы не счастливые случайности, возносившие иных над той грязью, в которой они живут. Достаточно было видеть исступленный восторг Торпиль, упавшей к ногам священника, чтобы измерить всю глубину убожества этой жизни и понять, до какого безумия можно дойти, не потеряв при этом рассудка. Бедная девушка смотрела на спасительный лист бумаги с выражением, которое забыл увековечить Данте и которое превосходило все измышления его Ада. Но вместе с слезами пришло успокоение. Эстер поднялась, охватила руками шею этого человека, склонила голову на его грудь и, рыдая, поцеловала грубую ткань, прикрывавшую стальное сердце, как бы желая в него проникнуть. Она обняла этого человека, покрыла поцелуями его руки; в благоговейном порыве благодарности она пустила в ход весь арсенал своих вкрадчивых ласк, она осыпала его самыми трогательными именами, прерывая тысячу и тысячу раз свой нежный лепет словами: «Отдайте мне ее!» – произносимыми с самой различной интонацией; она опутала его своими молящими взорами с такой быстротой, что завладела им без сопротивления. Священник понял, что эта девушка заслужила свое прозвище; он испытал, как трудно устоять перед этим очаровательным созданием, он вдруг разгадал любовь Люсьена и то, что должно было в ней пленить поэта. Подобная страсть таит, между тысячью приманок, острый крючок, пронзающий глубже всего возвышенную душу художника. Подобные страсти, необъяснимые для толпы, превосходно объяснимы жаждой прекрасного идеала, отличающей того, кто творит. Очистить от скверны подобное существо – не значит ли уподобиться ангелам, которым

поручено обращать в веру отступников? Не значит ли это творить? Как приманчиво привести в согласие красоту нравственную с красотой физической! Какое гордое удовлетворение испытывает человек, когда ему это удастся! Как прекрасен труд, единственное орудие которого любовь! Такое сочетание, впрочем прославленное примером Аристотеля, Сократа, Платона, Алкивиада, Цетегуса, Помпея и столь чудовищное в глазах обывателя, порождается чувством, которое вдохновило Людовика XIV построить Версаль, которое бросает людей во всякие разорительные предприятия; оно заставляет их превращать миазмы болот в ароматы парков, омытых проточными водами, поднимать озеро на вершину холма, как то сделал принц де Конти в Нуантеле, либо созидать швейцарские пейзажи в Кассане, подобно откупщику Бержере. Словом, это Искусство, вторгающееся в область Нравственности.

Священник, устыдившийся того, что поддался ее чарам, резко оттолкнул Эстер; она села, тоже устыдившись, ибо, хладнокровно положив бумагу за пояс, он сказал: «Вы все та же куртизанка!» Эстер, как ребенок, у которого на уме одно желание, не отрываясь смотрела на пояс, хранивший вожделенный документ.

– Дитя мое, – продолжал священник, помолчав, – ваша мать была еврейкой, вы не крещены, но вас не водили и в синагогу; вы находитесь в преддверии Церкви, как и младенцы...

– Младенцы! – повторила она с умилением.

– Так же как в списках полиции вы лишь номер, вне общественного бытия, – бесстрастно продолжал священник. – Если любовь, случайно вас коснувшаяся, заставила вас три месяца назад поверить, что вы заново родились, то вы с того дня должны и вправду чувствовать себя младенцем. Стало быть, вы нуждаетесь в опеке, как если бы были ребенком, вы должны совершенно перемениться, и я ручаюсь, что сделаю вас неузнаваемой. Прежде всего забудьте Люсьена.

Слова эти разбили сердце бедной девушки: она подняла глаза на священника и сделала движение, означавшее отказ; она лишилась дара слова, вновь обнаружив палача в спасителе.

– По крайней мере, откажитесь от встречи с ним, – продолжал он. – Я помещу вас в монастырский пансион, где юные девушки лучших семейств получают воспитание; там вы станете католичкой, там вас наставят на путь христианского долга, просветят в духе религии. Вы выйдете оттуда превосходной молодой девицей, целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, если...

Он поднял палец и помолчал.

– Если, – продолжал он, – вы чувствуете в себе силы расстаться здесь с Торпиль.

– Ах! – воскликнула бедная девушка, ибо каждое слово было для нее подобно музыкальной ноте, под звуки которой медленно приоткрывались врата рая. – Ах! Если бы я могла пролить здесь всю мою кровь и влить в себя новую!..

– Выслушайте меня.

Она замолчала.

– Ваша будущность зависит от того, насколько глубоко вам удастся забыть прошлое. Подумайте о серьезности ваших обязательств: одно слово, одно движение, изобличающее Торпиль, убивает жену Люсьена; возглас, вырвавшийся во сне, невольная мысль, нескромный взгляд, нетерпеливый жест, воспоминание о распутстве, любой промах, какой-нибудь кивок головой, выдающий то, что вы знаете, или то, что познали, к вашему несчастью...

– Продолжайте, продолжайте, отец мой! – воскликнула девушка с исступлением подвижницы. – Ходить в раскаленных докрасна железных башмаках и улыбаться, носить корсет, подбитый шипами, и хранить грацию танцовщицы, есть хлеб, посыпанный пеплом, пить польнь – все будет сладостно, легко!

Она опять упала на колени, она целовала обувь священника и обливала ее слезами, она обнимала его ноги и прижималась к ним, лепеча бессмысленные слова сквозь рыдания, исторгнутые радостью. Белокурые волосы поразительной красоты рассыпались ковром у ног этого

посланника небес, который представился ей помрачневшим и еще более суровым, когда, поднявшись, она взглянула на него.

– Чем я вас оскорбила? – спросила она в испуге. – Я слышала, как рассказывали о женщине, подобной мне, умастившей благовониями ноги Иисуса Христа! Увы! Добродетель обратила меня в нищую, и, кроме слез, мне нечего вам предложить.

– Разве вы не слышали моих слов? – сказал он жестко. – Я говорю вам: надо так измениться физически и нравственно, чтобы никто из тех, кто вас знал, встретившись с вами, по вашему выходе из того пансиона, куда я вас помещу, не осмелился бы окликнуть вас: «Эстер!» – и тем принудить вас обернуться. Вчера ваша любовь не помогла вам настолько глубоко схоронить в себе непотребную женщину, чтобы она не выдала себя, и вот она снова выдает себя в этом поклонении, подобающем лишь Богу.

– Не он ли послал вас ко мне? – сказала она.

– Если Люсьен вас увидит прежде, чем окончится ваше воспитание, все потеряно, – заметил он, – подумайте об этом хорошенько.

– Кто его утешит? – сказала она.

– В чем вы его утешали? – спросил священник, голос которого впервые в продолжение этой сцены дрогнул.

– Не знаю, он часто приходил огорченный.

– Огорченный? – промолвил священник. – Чем? Он вам когда-нибудь об этом говорил?

– Никогда, – отвечала она.

– Он был огорчен тем, что любил такую шлюху, как вы! – вскричал он.

– Это, верно, так и было, – продолжала она с глубоким смирением. – Увы! Я самая презренная из женщин, и моим оправданием в его глазах была лишь моя беззаветная любовь к нему.

– Эта любовь должна дать вам мужество слепо мне повиноваться. Если бы я сегодня же поместил вас в пансион, где вас будут обучать, каждый скажет Люсьену, что нынче, в воскресенье, вас увез какой-то священник, и он мог бы напасть на след. Через неделю, если я не буду сюда являться, привратница не узнает меня. Итак, ровно через неделю, тоже вечером, в семь часов, вы украдкой выходите из дому и садитесь в фиакр, который будет вас ожидать в конце улицы Фрондер. Всю эту неделю избегайте встречи с Люсьеном; пользуйтесь любым предложением и не принимайте его, а если он все же придет, подымитесь к приятельнице; я узнаю, если вы с ним встретитесь, и тогда все кончено, вы меня больше не увидите. За эту неделю вам необходимо сделать приличное приданое и отрешиться от навыков проститутки, – прибавил он, положив кошелек на камин. – В вашем облике, в вашей одежде есть нечто столь знакомое парижанам, что всякий скажет, кто вы такая. Не случалось ли вам встречать на улицах, на бульварах скромную и добродетельную молодую девушку, идущую рядом со своей матерью?

– О да! К моему несчастью. Для нас видеть мать с дочерью самая тяжкая пытка; пробуждаются угрызения совести, укрытые в тайниках сердца, они пожирают нас!.. Я слишком хорошо знаю, чего мне недостает.

– Стало быть, вы знаете, что от вас потребуется в будущее воскресенье? – сказал священник, вставая.

– О! – воскликнула она. – Научите меня, прежде чем уйти, настоящей молитве, чтобы я могла молиться Богу.

Трогательно было видеть священника и эту девушку, повторяющую за ним по-французски Ave Maria и Pater noster.

– Как это прекрасно! – сказала Эстер, сразу же без ошибки повторившая эти великолепные и общеизвестные выражения католической веры.

– Как ваше имя? – спросила она священника, когда тот прощался.

– Карлос Эррера, я испанец, изгнанник из моей страны.

Эстер взяла его руку и поцеловала. То была уже не куртизанка, то был падший и расклеванный ангел.

В начале марта месяца этого года пансионерки заведения, знаменитого аристократическим и религиозным воспитанием, заметили в понедельник утром, что их общество обогатилось новопривывшей, которая красотой, бесспорно, затмевала не только всех подруг, но и те отдельные совершенства, которые можно было найти в каждой из них. Во Франции чрезвычайно трудно, чтобы не сказать невозможно, встретить все тридцать совершенств, необходимых для законченной женской красоты и прославленных персидскими стихами, которые высечены, как говорят, на стенах сераля. Во Франции безупречная красота встречается редко, зато как восхитительны отдельные черты! Что касается величавого единства этих черт, которое скульптура пытается передать и передала в немногих избранных изваяниях, как Диана и Калипига, – это достояние Греции и Малой Азии. Эстер вышла из колыбели рода человеческого, родины красоты: ее мать была еврейка. Хотя евреи от смешения с другими народами теряют свои типические черты, все же среди их многочисленных племен можно встретить в своем роде самородки, сберегшие высокий первообраз азиатской красоты. Если они не отталкивающе безобразны, они являют великолепные особенности армянских лиц. Эстер завоевала бы первенство в серале: она обладала всеми тридцатью совершенствами, гармонично слитыми воедино. Ее своеобразная жизнь, не нарушая законченности форм, свежести оболочки, сообщила ей какую-то особую женственность; то была не гладкая, упругая кожа незрелых плодов и не теплые тона зрелости, то было цветение. Продолжай она свою распутную жизнь, ей угрожала бы дородность. Избыток здоровья, совершенное развитие физических качеств существа, в котором чувственность заменяет разум, несомненно, должен представлять значительный интерес в глазах физиологов. По редкой, чтобы не сказать небывалой для столь юной девушки, случайности руки ее, несравненного благородства, были мягки, прозрачны и белы, как руки женщины после вторых родов. У нее были такие же ноги и волосы, как у герцогини Беррийской, столь ими славившейся; волосы, непокорные руке парикмахера, такие густые и такие длинные, что, падая на землю, они ложились кольцами, ибо Эстер была среднего роста, позволяющего обращать женщину как бы в игрушку, поднимать ее, класть, опять брать и носить на руках, не чувствуя усталости. Кожа, тонкая, как китайская бумага, и теплого цвета амбры, оживленная голубыми жилками, была атласная, но не сухая, нежная, но не влажная. Эстер, до крайности впечатлительная, но внешне сдержанная, сразу привлекала внимание одной особенностью, запечатленной мастерской кистью Рафаэля в его творениях, ибо Рафаэль был художником, наиболее изучившим и лучше других передавшим еврейскую красоту. Эта дивная особенность лица создавалась четкостью рисунка надбровной дуги, напоминавшей арку, под сводом которой жили глаза, как бы независимые от своей оправы. Когда молодость расцветивает чистыми и прозрачными красками эту великолепную арку, увенчанную крылатыми бровями, когда солнечный луч, скользнув под ее окружие, ложится там розовой тенью, тогда это – источник сокровищ нежности, утоляющей любовника, источник красоты, доводящей до отчаяния живописца. В высшем напряжении создает природа и эти светонесущие излучины, где приютилась золотистая тень, и эту ткань, плотную, как нерв, и чувствительную, как сама нежная мембрана.

Глаз покоится, подобно волшебному яйцу, в гнезде из шелковых травинки. Но со временем, когда страсти опалят эти столь утонченные черты, когда горести избородят морщинами нежную ткань, тогда это чудо преисполнится мрачной печали. Происхождение Эстер сказывалось в восточном разрезе глаз с тяжелыми веками; при ярком освещении серый, аспидный цвет этих глаз переходил в синеву воронова крыла. Только поразительная нежность ее взгляда смягчала их блеск. Лишь детям пустынь дано чаровать всех своим взглядом, ибо женщина всегда кого-нибудь чарует. Глаза их, несомненно, хранят в себе что-то от бесконечности, которую они созерцали. Не снабдила ли предусмотрительная природа их сетчатую оболочку каким-то отражающим покровом, чтобы они могли выдержать миражи песков, потоки солнечных

лучей и пламенную лазурь эфира? Или они, подобно другим существам человеческим, заимствуют нечто от той среды, в которой развиваются, и приобретенные там свойства проносят сквозь века! Вопрос сам по себе, может быть, заключает в себе великое разрешение расовой проблемы; инстинкты – это живая реальность, в основе их лежит подчинение необходимости. Животные разновидности суть следствие упражнения этих инстинктов. Чтобы убедиться в истине, которой доискиваются с давних пор, достаточно применить к людскому стаду опыт наблюдения над стадами испанских и английских овец; в равнинах, на лугах, изобилующих травами, они пасутся, прижавшись одна к другой, и разбегаются в горах, где скудная растительность. Оторвите этих овец от их родины, перенесите их в Швейцарию или во Францию: горная овца и на сочных лугах равнин будет пастись в одиночку; овцы равнин будут пастись, прижавшись одна к другой, даже в Альпах. Многие поколения с трудом преобразуют приобретенные и унаследованные инстинкты. Спустя сто лет горный дух вновь пробуждается в строптивом ягненке, как через восемнадцать столетий после изгнания Восток заблистал в глазах и облике Эстер. Взгляд ее отнюдь не таил опасного очарования, он излучал нежное тепло, он умилял, а не поражал, и самая твердая воля растворялась в его пламени. Эстер победила ненависть, изумив парижских распутников; но глаза и нежность ее сладостной кожи создали ей ужасное прозвище, которое едва не свело ее в могилу. Все в ней было в гармонии с ее обликом пери знойных пустынь. У нее был высокий лоб благородной формы. Нос был изящный, тонкий, как у арабов, с овальными, чуть приподнятыми, четко очерченными ноздрями. Рот – алый и свежий, как роза, не тронутая увяданием, – оргии не оставили на нем никакого следа. Подбородок, словно изваянный влюбленным скульптором, блистал молочной белизною. Одно лишь, чему она не могла помочь, выдавало опустившуюся куртизанку: испорченные ногти, – ибо требовалось много времени, чтобы вернуть им изысканную форму, настолько они были обезображены самой грубой домашней работой. Юные пансионерки сначала завидовали этому чуду красоты, затем пленились им. Не минуло и недели, как они привязались к наивной Эстер, проявив участие к тайным горестям восемнадцатилетней девушки, не умевшей ни читать, ни писать, для которой любая наука, любое учение были внове и которой предстояло составить гордость архиепископа, обратившего еврейку в католическую веру, а монастырю дать повод для торжества ее крещения. Они простили ей ее красоту, сочтя себя выше ее по воспитанию. Эстер вскоре усвоила манеру обращения, мягкость интонаций, осанку и движения этих благовоспитанных девиц – словом, она обрела свою истинную природу. Преображение было столь полное, что при первом же посещении монастыря Эррера изумился, хотя его ничто в мире, казалось, не должно было изумлять, и воспитательницы поздравили его с такой воспитанницей.

Никогда еще на своем учительском поприще эти женщины не встречали такой милой естественности, такого христианского смирения, такой неподдельной скромности, такого горячего желания учиться. Если девушка перенесла страдания, равные страданиям бедной пансионерки, и ожидает награды, подобной той, что испанец предлагал Эстер, трудно представить, чтобы она не совершила чудес, достойных первых времен существования Церкви и повторенных иезуитами в Парагвае.

– Вот назидательный пример, – сказала настоятельница, целуя ее в лоб.

Этим словом, в высшей степени католическим, было все сказано.

Во время перемен Эстер осторожно расспрашивала подруг о самых простых светских вещах, столь же для нее новых, как первые впечатления для ребенка. Когда она узнала, что в день своего крещения и первого причастия она будет одета во все белое, что у нее будет повязка из белого атласа, белые ленты, белые башмаки, белые перчатки, что у нее будут белые банты в волосах, она залилась слезами в кругу удивленных подруг. То было полной противоположностью сцене с Иевфаем на горе Хорив. Куртизанка страшилась разоблачений, и эта странная тоска, полная ужаса, омрачала радость предвкушения таинства. Между нравами, от которых она отказалась, и нравами, к которым она приобщилась, расстояние было, конечно, не мень-

шее, нежели между первобытной дикостью и цивилизацией, и своей грацией, наивностью и глубиной она напоминала прелестную героиню американских пуритан. Кроме того, она, сама того не ведая, таила в сердце любовь, подтачивавшую ее силы, любовь женщины, все познавшей, обуруваемой желанием более властным, нежели желание девственницы, ничего не издававшей, хотя чувства и той и другой имеют один и тот же источник и ведут к одному и тому же концу. В первые месяцы новизна затворнической жизни, удовольствие, доставляемое учением, занятия рукоделием, религиозные обряды, усердное выполнение обета, нежная привязанность подруг, наконец, упражнение способностей пробудившегося ума, – все, даже старания совладать со своей памятью, помогло ей подавить воспоминания, ибо ей нужно было от многого отучиться и многому обучиться заново. Существует несколько видов памяти: у тела своя память, у сердца – своя, и тоска по родине, например, есть болезнь памяти физической. В исходе третьего месяца неистовая сила этой девственной души, на распахнутых крыльях стремящейся в рай, была не то чтобы укрощена, но как бы заторможена тайным чувством сопротивления, причины которому не знала и сама Эстер. Подобно шотландским овцам, она желала пастись в одиночестве, она не могла победить инстинкты, разнузданные развратом. Не грязные ли улицы Парижа, от которых она отеклась, призывали ее к себе? Не разомкнутые ли цепи страшных навыков волочились за нею, держась на позабытых креплениях, и мучили ее, как, по словам врачей, мучают старых солдат раны давно ампутированных конечностей? Не пороки ли, с их излишествами, так пропитали ее до самого мозга костей, что никакая святая вода не могла изгнать притаившегося в ней дьявола? Быть может, та, кому Господь Бог мог простить слияние любви человеческой и любви Божественной, должна была встретиться с тем, ради кого совершались эти ангельские усилия? Ведь одна любовь привела ее к другой. Быть может, в ней совершалось перемещение жизненной энергии, порождающее неизбежные страдания? Все недостоверно и полно мрака в той области, которую наука не пожелала изучить, сочтя подобную тему чересчур безнравственной и чересчур предосудительной, как будто врач, писатель, священник и политик не выше подозрений! Однако ж врач, столкнувшись со смертью, обрел ведь мужество и начал исследования, оставшиеся еще не законченными. Возможно, мрачное состояние духа, угнетавшее Эстер и нарушавшее ее счастливую жизнь, проистекало от всех этих причин, и она страдала, ничего не ведая о них, как страдают больные, не искушенные в медицине и хирургии. Примечательный случай! Обильная и здоровая пища, сменившая пищу скудную и возбуждающую, не насыщала Эстер. Целомудренная и размеренная жизнь, чередование неутомительной работы и часов досуга вместо рассеянной жизни, полной удовольствий, столь же пагубных, как и огорчения, сокрушала юную пансионерку. Отдых самый живительный, спокойные ночи, пришедшие на смену жесточайшей усталости и страшному возбуждению, породили лихорадку, признаки которой ускользали от внимания монахини, врачующей пансионерок. Короче сказать, благополучие и счастье, заступившие место горестей и невзгод, спокойствие взамен вечной тревоги были столь же пагубны для Эстер, как ее бывшие злоключения были бы пагубны для ее юных подруг. Зачатая в распутстве, она в нем и выросла. Ее адская родина все еще держала девушку в своей власти вопреки верховным приказаниям ее несокрушимой воли. То, что она ненавидела, было для нее жизнью, то, что она любила, ее убивало. В ней жила вера столь пламенная, что ее благочестие радовало душу.

Она полюбила молиться. Она открыла сердце свету истинной религии, она воспринимала ее безо всякого усилия над собой, безо всяких колебаний. Священник, наставлявший ее, был от нее в восхищении, но ее тело постоянно восставало против души. Из илистого пруда выловили карпов и пустили в мраморный бассейн с чистой, прозрачной водой ради прихоти господи де Ментенон, кормившей их крошками с королевского стола. Карпы зачали. Животным свойственна преданность, но никогда человек не передаст им проказу лести. Один придворный указал на этот немой протест в Версале: «Они как я, – заметила эта некоронованная королева, – тоскуют по родному болоту». В этих словах вся история Эстер. Порою бедная девушка

убегала в великолепный монастырский парк и там металась от дерева к дереву, в отчаянии устремляясь в темную чашу в поисках – чего? Она сама того не знала, но она поддавалась дьявольскому соблазну, она кокетничала с деревьями; она расточала им слова, которые давно уже не произносила вслух. Вечерами она не раз скользила, подобно ужу, вдоль бесконечной монастырской ограды, без шали, с обнаженными плечами. Нередко в капелле она стояла всю мессу, вперив взгляд в распятие, и все восхищались ею: из глаз ее лились слезы, но плакала она от бешенства; она желала бы созерцать священные лики, а ей грезились пламенные ночи, когда она управляла пиршеством, как Габенек управляет в Консерватории симфонией Бетховена, – ночи озорные и сладострастные, с разнузданными движениями и безудержным смехом, неистовые, сумасшедшие, скотские. Внешне она была девственницей, прикованной к земле лишь своим женским обликом, внутри же бесновалась своевластная Мессалина. Никто, кроме нее самой, не был посвящен в тайну этой борьбы сатаны с ангелом; случилось, настоятельница журила ее за чересчур кокетливое по монастырскому уставу убранство головы, и она с очаровательной поспешностью готова была бы срезать и волосы, если бы наставница того пожелала. Тоска по родине у этой девушки, предпочитавшей погибнуть, нежели воротиться в свою грешную отчизну, была полна трогательной прелести. Она побледнела, осунулась, исхудала. Настоятельница сократила часы обучения и вызвала к себе эту удивительную девушку, желая ее расспросить. Эстер была счастлива, ей нравилось проводить время в кругу подруг; в ней нельзя было заметить ни малейшего ослабления деятельности каких-либо жизненно важных центров, но ее жизнеспособность была существенно ослаблена. Она ни о чем не сожалела, она ничего не желала. Настоятельница была удивлена ответами пансионерки, она видела, что девушка чахнет, и, не находя причины, терялась в догадках. Был призван врач, как только состояние юной воспитанницы показалось серьезным, но врач этот не знал о прежней жизни Эстер и не мог о ней подозревать; он нашел ее вполне здоровой, так как не обнаружил никакой болезни. Девушка давала ответы, опровергавшие все его предположения. Оставался один способ разрешить сомнения ученого, встревоженного страшной мыслью: Эстер упорно отказывалась подвергнуться осмотру врача. Настоятельница ввиду трудности положения вызвала аббата Эррера. Испанец явился, понял отчаянное положение Эстер и наедине коротко побеседовал с врачом. После этой дружеской беседы ученый объявил духовнику, что единственным средством спасения было бы путешествие в Италию. Аббат не пожелал на это согласиться, прежде чем Эстер не будет крещена и не примет первое причастие.

– Сколько понадобится еще времени? – спросил врач.

– Месяц, – отвечала настоятельница.

– Она умрет, – возразил врач.

– Да, но осененная благостью и спасающая душу, – сказал аббат.

Вопрос религии господствует в Испании над вопросами политическими, гражданскими и житейскими; врач ничего не ответил испанцу и обернулся к настоятельнице, но страшный аббат взял его за руку.

– Ни слова, сударь! – сказал он.

Врач, несмотря на то что он был человек религиозный и монархист, окинул Эстер взглядом, полным сердечного участия. Девушка была хороша, как поникшая на стебле лилия.

– Да будет над ней милость Божья! – воскликнул он, уходя.

В тот же день после совещания покровитель Эстер повез ее в «Роше-де-Канкаль», ибо желание спасти девушку внушало священнику самые необычайные поступки; он испробовал две формы изысканности: изысканный обед, способный напомнить бедной девушке ее кутежи, и Оперу, представившую ей несколько картин из светской жизни. Потребовалось все его подавляющее влияние, чтобы юная праведница решилась на подобное кощунство. Эррера так отлично перерядился в военного, что Эстер с трудом его узнала; он позаботился набросить на свою спутницу вуаль и усадил ее вглубь ложи, чтобы она была укрыта от нескромных взглядов.

Это средство, безвредное для добродетели, столь прочно завоеванной, вскоре утратило свое действие. Воспитанница испытывала отвращение к обедам покровителя, религиозный ужас перед театром и опять впала в задумчивость. «Она умирает от любви к Люсьену», – сказал себе Эррера, желавший проникнуть в недра этой души и выведать, что еще можно от нее потребовать. И вот настал момент, когда бедная девушка могла опереться лишь на свои нравственные силы, ибо тело готово было уступить. Священник рассчитал наступление этой минуты с ужающей прозорливостью опытного человека, родственной прежнему искусству палачей пытаться свою жертву. Он застал свою питомицу в саду, на скамье, возле беседки, под ласковым апрельским солнцем; казалось, ей было холодно и она тут отогревалась; от наблюдательных подруг не укрылась ее бледность увядающего растения, глаза умирающей газели, вся ее задумчивая поза. Эстер поднялась навстречу испанцу, и ее движения говорили, как мало было в ней жизни и, скажем прямо, как мало желания жить. Бедная дочь богемы, вольная раненая ласточка, она еще раз пробудила жалость в Карлосе Эррера. Мрачный посланец, который, видимо, творил волю Господа Бога, являясь лишь Его карающей десницей, встретил больную улыбкой, в которой крылось столько же горечи, сколько и нежности, столько же мстительности, сколько и милосердия. Эстер, приученная за время своей почти монашеской жизни к созерцанию и самоуглублению, вновь испытала чувство недоверия при виде своего покровителя; но, как и в первый раз, она была тотчас же успокоена его речами:

– Ну что ж, милое дитя мое, отчего вы ни словом не обмолвитесь о Люсьене?

– Я вам обещала, – отвечала она, вздрогнув всем телом, – я вам поклялась не произносить этого имени.

– Однако ж вы постоянно о нем думаете.

– В этом моя единственная вина, сударь. Я всегда думаю о нем, и, когда вы вошли, я тайне твердила его имя.

– Вас убивает разлука?

В ответ Эстер поникла головой, как больная, которая уже чувствует дыхание могилы.

– Встретиться... – начал он.

– Значит жить, – отвечала она.

– Вы стремитесь к нему только душой?

– Ах, сударь, любовь едина, ее не разъединить.

– Дочь проклятого племени! Я все сделал, чтобы тебя спасти, а теперь возвращаю тебя твоей судьбе: ты его увидишь.

– Отчего вы клянете мое счастье? Разве я не могу любить Люсьена и жить в добродетели, которую я люблю так же сильно, как и его? Разве я не готова умереть здесь ради нее, как я была готова умереть ради него? Разве я не угасаю из-за этой двойной одержимости, из-за добродетели, сделавшей меня достойной его, и из-за него, отдавшего меня в руки добродетели? Скажите, разве я не угасаю, готовая умереть, не встретившись с ним, но готовая жить после встречи с ним? Бог мне судья.

Вновь ожили ее краски, бледность приняла золотистый оттенок. Эстер еще раз обрела былое очарование.

– Вы встретитесь с Люсьеном на следующий же день после того, как вас омоют воды крещения. И если вы, посвятив ему жизнь, сочтете себя способной жить добродетельно, вы больше с ним не расстанетесь.

Священник вынужден был поднять Эстер, у нее подогнулись колени. Бедная девушка упала, словно земля ушла у нее из-под ног, аббат усадил ее на скамью, и, когда к ней вернулся дар речи, она вымолвила:

– Отчего нынче?

– Не желаете ли вы лишиться монсеньора торжества по поводу вашего крещения и обращения в веру? Вы слишком близки к Люсьену, чтобы быть близкой к Богу!

– Да, я ни о чем более не думала!

– Вы не созданы для религии, – сказал священник с выражением глубокой иронии.

– Бог милостив, – возразила она. – Он читает в моем сердце.

Эррера, побежденный пленительной наивностью голоса, взгляда, движений и поведения Эстер, впервые поцеловал ее в лоб.

– Распутники дали тебе меткое прозвище: ты соблазнила бы даже Бога Отца. Еще несколько дней – так надо! – и вы оба свободны.

– Оба свободны! – повторила она восторженно.

Эта сцена, наблюдавшаяся издали, удивила воспитанниц и воспитательниц, решивших по изменившемуся виду Эстер, что они присутствовали при каком-то волшебстве. Преображенное создание было полно жизни. Эстер вновь предстала в своей истинной любовной сущности, милая, кокетливая, волнуемая, жизнерадостная; наконец она воскресла!

Эррера жил на улице Кассет, близ церкви Сен-Сюльпис, к приходу которой он принадлежал. Церковь строгого и сухого стиля подходила испанцу, его религия была сродни уставу ордена доминиканцев. Добровольная жертва коварной политики Фердинанда VII, он вредил делу конституции, твердо зная, что его преданность двору может быть вознаграждена только лишь при восстановлении *Rey netto*⁶. И Карлос Эррера телом и душой предался *samarilla*⁷ в момент, когда о свержении кортесов не было и речи. В глазах света подобное поведение было признаком возвышенной души. Поход герцога Ангулемского состоялся, и король Фердинанд сидел на престоле, а Карлос Эррера не спешил в Мадрид предъявить счет за свои услуги. Защищенный от любопытства умением молчать, обязательным для дипломата, он объяснял свое пребывание в Париже горячей привязанностью к Люсьену де Рюампре, и молодой человек уже был обязан ему указом короля о перемене своего имени. Впрочем, Эррера вел замкнутый, традиционный образ жизни священников, облеченных особыми полномочиями. Он посещал службы в церкви Сен-Сюльпис, отлучался из дому лишь по необходимости, всегда вечером и в карете. День заполнялся испанской сиестой – отдыхом между завтраком и обедом, именно в то время, когда Париж шумен и поглощен делами. Курение также играло свою роль в распорядке дня, поглощая столько же времени, сколько и испанского табаку. Праздность столь же хорошая маска, как и важность, которая сродни праздности. Эррера жил во втором этаже одного крыла дома, Люсьен занимал другое крыло. Оба помещения были обособлены и вместе с тем связаны обширными приемными покоем, старинная пышность которых равно приличествовала и степенному служителю культа, и юному поэту. Двор этого дома был мрачен. Вековые разросшиеся деревья наполняли тенью весь сад. Тишина и скромность присущи жилищам, облюбованным духовными особами. Помещение Эррера можно описать в трех словах: то была келья. Комнаты Люсьена, блистающие роскошью и изысканным комфортом, соединяли в себе все, чего требует праздная жизнь денди, поэта, писателя, честолюбца, распутника, человека высокомерного и вместе тщеславного, беспорядочного, но жаждущего порядка, – одного из тех неполноценных талантов, которые одарены известной способностью желать и задумывать, что, быть может, одно и то же, но не способны что-либо осуществить. Сочетание Люсьена и Эррера создавало законченного политического деятеля. В этом, несомненно, крылась тайна подобной связи. Старцы, у которых жизненная энергия переместилась в область корыстолюбия, нередко чувствуют потребность в красивой марионетке, в молодом и страстном актере для выполнения своих замыслов. Ришелье чересчур поздно стал искать прекрасное существо, белолицее и с пышными усами, чтобы бросить его на забаву женщинам. Не понятый юными ветрениками, он был вынужден изгнать мать своего властителя и повергнуть в ужас королеву, попытавшись прежде обольстить и ту и другую, хотя не имел никаких данных, чтобы пленять королев.

⁶ Неограниченная монархия (*лат.*). Формула испанского абсолютизма.

⁷ Придворная клика, окружавшая Фердинанда VII и действовавшая путем интриг и доносов (*исп.*).

Что станешь делать? В жизни честолюбца неизбежно столкновение с женщинами, и именно в ту минуту, когда менее всего можно ожидать подобной встречи. Как бы ни был могуществен крупный политический деятель, ему нужна женщина, чтобы ее противопоставить женщине, – так голландцы алмаз шлифуют алмазом. Рим во времена своего могущества подчинялся этой необходимости. Заметьте также, насколько Мазарини, итальянский кардинал, могущественнее Ришелье, французского кардинала! Ришелье встречает сопротивление знати и пускает в дело топор; он умирает в зените власти, изнуренный поединком, в котором его соратником был один лишь капуцин. Мазарини отвергнут буржуазией и дворянством, объединившимися, вооруженными, порою победоносными и обратившими в бегство королевскую семью; но слуга Анны Австрийской никому не отрубит голову, он сумеет покорить Францию и оказать влияние на Людовика XIV, который, завершив дело Ришелье, удушит дворянство золоченым шнуром в великом Версальском серале. Умерла госпожа де Помпадур – погиб Шуазель. Извлек ли Эррера урок из этих знаменитых примеров? Воздал ли он себе должное ранее, нежели то сделал Ришелье? Не избрал ли он в лице Люсьена своего Сен-Мара, но Сен-Мара верного? Никто не мог бы ответить на эти вопросы, никто не мог познать меру честолюбия испанца, как нельзя было предугадать, какой конец его ждет. Подобные вопросы, задававшиеся всеми, кому удавалось обнаружить эту связь, столь долго скрываемую, клонились к тому, чтобы разгадать страшную тайну, в которую Люсьен был посвящен лишь несколько дней назад. Карлос был вдвойне честолюбцем – вот о чем говорило его поведение людям, знавшим его и считавшим Люсьена его незаконным сыном. Не прошло и полутора лет с того вечера, как Люсьен появился в Опере, слишком рано вступив в свет, куда аббат желал ввести его, лишь хорошо подготовив и вооружив против этого света, а у него стояли уже в конюшне три чистокровные лошади, карета для вечерних выездов, кабриолет и тильбюри для утренних. Он обедал в городе. Ожидания Эррера сбылись: его ученик отдался всецело удовольствиям рассеянной жизни, но ведь в расчеты священника входило отвлечь юношу от безрассудной любви, таившейся в его сердце. Однако Люсьен успел уже истратить около сорока тысяч франков, и все же после каждого нового безумства его все неудержимее влекло к Торпиль; он упорно искал ее и не находил, она становилась для него тем же, чем дичь для охотника. Мог ли Эррера понять природу любви поэта? Стоит этому чувству, воспламенив сердце и овладев всем существом такого взрослого младенца, коснуться его сознания, и поэт так же высоко возносится над человечеством силою своей любви, как высоко он вознесен над ним могуществом своего воображения. Отмеченный по прихоти духовной своей природы редкой способностью передавать действительность образами, в которых запечатлеваются и чувство и мысль, он дарует любви крылья своего духа: он чувствует и изображает, он действует и размышляет, он мыслью множит ощущения; в своих мечтах о будущем и в воспоминаниях о прошлом он втайне переживает блаженство настоящего; он вносит в него утонченные наслаждения духа, возвышающие его над всеми художниками. Страсть поэта становится тогда величавой поэмой, в которой сила человеческих чувств выходит за пределы возможного. Не ставит ли поэт свою возлюбленную превыше того положения, которым довольствуется женщина? Как благородный Ламанчский рыцарь, он преображает крестьянку в принцессу. Он владеет волшебной палочкой, и все, к чему он ни прикоснется ею, превращается для него в нечто чудесное, и он возвышает сладострастие, перенося его в область идеального. Оттого-то подобная любовь становится образцом страсти: она чрезмерна во всем – в надеждах, в отчаянии, в гневе, в печали, в радости; она царит, она несется вскачь, она пресмыкается, она не схожа ни с одним из бурных чувств, испытываемых заурядными людьми; перед нею мещанская любовь что ручеек в долине перед бурным потоком в Альпах. Эти прекрасные художники так редко бывают поняты, что обычно расточают себя в обманчивых надеждах; они увядают в поисках идеальных возлюбленных, они почти всегда погибают, как гибнут под ногами прохожих красивые насекомые, щедро изукрашенные по самой поэтической из причуд природы для пиршества любви, но так и не познавшие любовной страсти. Но

есть и иная опасность! Когда им случится встретить тип красоты, родственный им по духу, но нередко скрывающий под своей оболочкой какую-нибудь мешанку, они поступают, как прекрасное насекомое, они поступают, как Рафаэль: они умирают у ног *Форнарины*. Люсьен был близок к этому. Его поэтическая натура, чрезмерная во всем, как в добре, так и в зле, открыла ангела в девушке, скорее коснувшейся разврата, нежели развращенной: она всегда являлась перед ним лучезарной, окрыленной, невинной и загадочной, какой она стала ради него, угадывая, что именно такой он ее хочет видеть.

В конце мая месяца 1825 года Люсьен утратил всю свою живость: он не выходил из дому, обедал с Эррера, впал в задумчивость, работал, читал собрание дипломатических договоров, сидел по-турецки на диване и три-четыре раза в день курил кальян. Его грум каждодневно прочищал и протирал духами трубки изящного прибора и гораздо реже чистил лошадей и украшал сбрую розами для выезда в Булонский лес. В тот день, когда испанец заметил на побледневшем челе Люсьена следы недуга, вызванного безумствами неудовлетворенной любви, он пожелал постигнуть до конца сердце того человека, на котором он основал благополучие своей жизни.

Однажды вечером Люсьен, откинувшись в кресле, безучастно созерцал закат солнца сквозь деревья в саду и завесу благоуханного дыма, подымавшегося после каждой его затяжки, равномерной и медлительной, как у всякого погруженного в раздумье курильщика; вдруг чей-то глубокий вздох нарушил его задумчивость. Он обернулся и увидел аббата, который стоял, скрестив на груди руки.

– Ты здесь! – воскликнул поэт.

– И давно, – отвечал священник. – Моя мысль следила за полетом твоей...

Люсьен понял.

– Я никогда не воображал себя железной натурой. Я не ты. Жизнь для меня то рай, то ад попеременно; но, если случайно она перестает быть тем и другим, она наводит на меня скуку, я скучаю...

– Как можно скучать, когда у тебя столько радужных надежд...

– Если не веришь в эти надежды или если они чересчур туманны, то...

– Полно ребячиться!.. – прервал его священник. – Гораздо достойнее и тебя и меня открыть мне свое сердце. Между тем есть нечто, чего никогда не должно было быть: тайна! Давность тайны – год и четыре месяца. Ты любишь женщину.

– Положим...

– Непотребную девку по прозвищу Торпиль...

– А если и так?

– Дитя мое, я позволил тебе обзавестись любовницей, но это женщина, представленная ко двору, молодая, прекрасная, влиятельная, более того – графиня. Я избрал для тебя госпожу д'Эспар, чтобы обратить ее, не совестясь, в орудие твоего успеха; ведь она никогда бы не растлила твоего сердца, она не посягала бы на его свободу... Полюбить блудницу самого низкого пошиба, если не обладаешь властью, подобно королям, пожаловать ее титулом, – огромная ошибка.

– Разве я первый пожертвовал честолюбием, чтобы вступить на путь безумной любви?

– Хорошо, – сказал священник, подняв *bochetti*⁸, оброненный Люсьеном, и подавая ему. – Я понял колкость. Но разве нельзя соединить честолюбие и любовь? Дитя, в лице старого Эррера перед тобой мать, преданность которой безгранична...

– Знаю, старина, – сказал Люсьен, беря его руку и пожимая ее.

– Ты пожелал игрушек, роскоши – ты их получил. Ты желаешь блистать – я направляю тебя по пути власти; я лобызаю достаточно грязные руки, чтобы возвысить тебя, и ты возвысишься. Подожди еще немного, и ты не будешь знать недостатка ни в чем, что прельщает муж-

⁸ Чубук (*ит.*).

чин и женщин. Женственный в своих прихотях, ты мужествен умом: я все в тебе понял, я все тебе прощаю. Скажи лишь слово, и все твои мимолетные страсти будут удовлетворены. Я возвеличил твою жизнь, окружив ее ореолом политики и власти, излюбленными кумирами большинства людей. Ты будешь настолько же велик, насколько ты ничтожен сейчас; но не следует разбивать шибало, которым мы чеканим монету. Я разрешаю тебе все, кроме ошибок, пагубных для твоего будущего. Когда я открываю перед тобою салоны Сен-Жерменского предместья, я запрещаю тебе валяться в канавах. Люсьен, ради твоих интересов я буду тверд как железо, я все от тебя вытерплю ради тебя! Поэтому я исправил твой промах в жизненной игре тонким ходом искусного игрока... – (Люсьен гневным движением вскинул голову.) – Я похитил Торпиль!..

– Ты?! – вскричал Люсьен.

В припадке бешенства поэт вскочил, швырнул золотой, усыпанный драгоценными камнями bochettiно в лицо священнику и толкнул его так сильно, что атлет опрокинулся навзничь.

– Да, я! – поднявшись на ноги, ответил испанец, по-прежнему сохраняя страшную серьезность.

Черный парик свалился. Голый, как у скелета, череп словно обнажил подлинное лицо этого человека – оно было ужасно. Люсьен сидел в креслах, опустив руки, удрученный, вперив в аббата бессмысленный взгляд.

– Я увез ее, – продолжал священник.

– Что ты сделал с ней? Ты увез ее на другой день после маскарада...

– Да, на другой день после того, как увидел, что существо, принадлежащее тебе, оскорбили бездельники, которым я не подал бы руки...

– Бездельники! – перебил его Люсьен. – Лучше скажи: чудовища, перед которыми те, кого казнят на гильотине, – ангелы. Знаешь ли ты, что сделала бедная Торпиль для трех из них? Один два месяца был ее любовником: она жила в нищете и подбирала крохи на улице – у него не было ни гроша, он дошел до того состояния, в котором находился я, когда ты меня встретил у реки. И вот наш малый вставал ночью, подходил к шкафу, куда эта девушка ставила остатки своего обеда, и съедал их; кончилось тем, что она обнаружила его проделки; почувствовав стыд за него, она решила оставлять побольше пищи и была счастлива. Эту историю она рассказала только мне, в фиакре, возвращаясь из Оперы. Второй совершил кражу, но, прежде чем кража была обнаружена, он успел положить деньги на прежнее место; деньги для него достала она, а он так и забыл вернуть их. Третий? Судьбу третьего она устроила, разыграв комедию с блеском, достойным таланта Фигаро: она представилась его женой и стала любовницей влиятельного человека, считавшего ее самой простодушной мещанкой. Одному – жизнь, другому – честь, а третьему – положение, что всего важнее сейчас! И вот как она была ими вознаграждена.

– Хочешь, они умрут? – спросил Эррера, прослезившись.

– Перестань! Всегда одно и то же! Ты верен себе...

– Нет, узнай все, вспыльчивый поэт, – сказал священник. – Торпиль более не существует...

Люсьен, вскочив с кресла, так неожиданно бросился к Эррера, пытаясь схватить его за горло, что всякий другой упал бы, но рука испанца удержала поэта.

– Выслушай, – сказал он холодно. – Я сделал ее женщиной целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, религиозной – словом, порядочной женщиной; она на пути просвещения. Она может, она должна стать под влиянием твоей любви какою-нибудь Нинон, Марион Делорм, Дюбарри, как сказал тот журналист в Опере. Ты либо открыто признаешь ее своей возлюбленной, либо укроешься в тени своего творения, что будет благоразумнее! То и другое принесет тебе пользу и славу, наслаждения и успех; но если ты столь же хороший политик, как и поэт, Эстер останется для тебя только любовницей, ведь может случиться, что она выручит нас когда-нибудь из беды – она ценится на вес золота. Пей, но не опьяняйся! Что стало бы

с тобой, если бы я не руководил твоей страстью? Ты погряз бы вместе с Торпиль в скверне нищеты, откуда я тебя вытащил. Вот, прочти, – сказал Эррера так просто, как Тальма в «Манлии», которого он никогда не видел.

Листок бумаги упал на колени поэта и вывел его из того восторженного состояния, в которое его поверг необычайный ответ; он взял листок и прочел первое письмо, написанное мадемуазель Эстер:

«ГОСПОДИНУ АББАТУ КАРЛОСУ ЭРРЕРА.

Дорогой покровитель, не сочтете ли Вы, что чувство благодарности у меня сильнее чувства любви, если я, желая выразить свою признательность, впервые излагаю свои мысли на бумаге, в письме к Вам, вместо того чтобы посвятить его изливаниям любви, быть может уже забытой Люсьеном? Но Вам, священнослужителю, я скажу то, чего не осмелилась бы сказать ему, на мое счастье еще привязанному к земле. Вчерашний обряд исполнил меня благодати, и я снова веряю свою судьбу в Ваши руки. Если мне и суждено умереть вдали от моего возлюбленного, я умру очищенной, как Магдалина, и моя душа, быть может, станет соперницей его ангела-хранителя. Забуду ли я когда-нибудь вчерашнее торжество? Можно ли отречься от славного престола, на который я вознесена? Вчера я смыла с себя весь мой позор в водах крещения и вкусила святого тела Господня; теперь я одна из Его дарохранительниц. В ту минуту я услышала хор ангелов, я не была более женщиной, я рождалась к светлой жизни среди земных приветственных кликов, мирского восхищения, духовных песнопений, в облаке фимиама, в праздничных одеждах, как дева, встречающая небесного жениха. Почувствовав себя достойной Люсьена, на что я никогда не надеялась, я отреклась от греховной любви и не желаю иного пути, как путь добродетели. Если тело мое слабее души, пусть оно погибнет. Решайте мою судьбу и, если я умру, скажите Люсьену, что я умерла для него, возродившись для Бога.

Воскресенье, вечером».

Люсьен поднял на аббата глаза, затуманенные слезами.

– Ты знаешь квартиру толстухи Каролины Бельфей, что на улице Тетбу? – снова заговорил испанец. – Этой девице, когда ее покинул судейский и она очутилась в крайней нужде, грозил арест; я приказал купить всю ее обстановку, она выехала оттуда с одними тряпками. Эстер, ангел, мечтавший вознестись на небо, снизошла туда и тебя ожидает.

В эту минуту со двора до слуха Люсьена донесся нетерпеливый топот горячившихся лошадей; у него не достало слов выразить восхищение той преданностью, которую он один мог оценить, и, бросившись в объятия оскорбленного им человека, искупив все одним лишь взглядом, безмолвным изливанием чувств, сбежал по ступеням лестницы, шепнул адрес Эстер на ухо груму, и лошади помчались, точно страсть их владельца воодушевляла их бег.

На другой день человек, которого по одежде можно было счесть за переряженного жандарма, прохаживался по улице Тетбу, против одного из домов, казалось ожидая, что кто-то оттуда выйдет; походка этого человека выдавала его волнение. В Париже вы часто можете встретить подобных любителей прогулок: это жандармы, отслеживающие беглеца из Национальной гвардии; сыщики, подготовляющие чей-нибудь арест; заимодавцы, измышляющие козни против должника, который заперся у себя в четырех стенах; любовники или ревнивые и подозрительные мужья; друзья, шпионящие по просьбе друга; но редко вы встретите лицо, на котором так ясно читались бы столь дикие и жестокие мысли, как на лице этого мрачного атлета, сосредоточенно и беспокойно, точно медведь в клетке, ходившего взад и вперед под окнами мадемуазель Эстер. В полдень открылось окно, и рука служанки распахнула ставни с мягкой обивкой. Через несколько минут к окну подошла подышать воздухом Эстер в домашнем платье, она опиралась на Люсьена; каждый, взглянув на них, подумал бы, что перед ним

подлинная английская статуэтка. Эстер мгновенно узнала испанского священника по его глазам василиска, и в ужасе бедная девушка вскрикнула, точно пронзенная пулей.

– Вот он, страшный священник, – сказала она, указывая на него Люсьену.

– Этот? – спросил Люсьен, улыбнувшись. – Он такой же священник, как ты...

– Но кто же он? – сказала она, трепеща.

– О, это старый мошенник, который верует в одного лишь дьявола, – ответил Люсьен.

Луч света, упавший на тайну лжесвященника, мог навеки погубить Люсьена, если бы на месте Эстер было существо менее преданное. Едва любовники отошли от окна спальни и направились в столовую, где их ожидал завтрак, перед ними предстал Карлос Эррера.

– Зачем ты пришел сюда? – резко сказал ему Люсьен.

– Благословить вас, – отвечал этот дерзкий человек, остановив юную чету и принудив ее задержаться в маленькой гостиной. – Послушайте, мои душеньки! Веселитесь, будьте счастливы, я рад. Счастье во что бы то ни стало – вот моя заповедь. Но ты, – сказал он Эстер, – ты, которую я поднял из грязи, ты, душу и тело которой я отмыл дочиста, надеюсь, не станешь поперек дороги Люсьену?.. Что касается до тебя, дружок, – помолчал минуту, продолжал он, глядя на Люсьена, – ты теперь уже не настолько поэт, чтобы пренебречь всем ради какой-нибудь Корали. Мы пишем прозу. Какая будущность у любовника Эстер? Никакой. Может ли Эстер стать госпожой де Рюампре? Нет. Стало быть, моя милая, – сказал он, опуская свою руку на руку Эстер, содрогнувшейся, точно от прикосновения змеи, – свет не должен знать о существовании Эстер; свет в особенности не должен знать, что какая-то мадемуазель Эстер любит Люсьена и что Люсьен ею увлечен... Этот дом будет вашей тюрьмой, малютка. Если вы пожелаете выйти на воздух и ваше здоровье того потребует, вам придется выезжать ночью, в часы, когда вас никто не встретит, ибо ваша красота, ваша молодость, благовоспитанность, приобретенная вами в монастыре, были бы слишком скоро замечены в Париже. День, когда в свете кто-либо узнает, что Люсьен ваш любовник или что вы его любовница, будет кануном последнего дня вашей жизни, – сказал он зловещим голосом, сопровождая свои слова еще более зловещим взглядом. – Мы добились для этого юнца указа, который позволяет ему носить имя и герб его предков по женской линии. Но это еще не все! Титул маркиза нам пока не возвращен; чтобы его получить, он должен жениться на девице знатного рода, только тогда король окажет нам эту милость. Такой брак введет Люсьена в придворный мир. Младенец, из которого я сумел сделать мужчину, станет сначала секретарем посольства; позже он будет посланником при каком-нибудь дворе в Германии и, с помощью Божьей или моей (что вернее), со временем займет свое место на скамье пэров...

– Или на скамье... – сказал Люсьен, прерывая этого человека.

– Замолчи! – вскричал Карлос, прикрыв широкой ладонью рот Люсьена. – Подобную тайну доверить женщине!.. – шепнул он ему на ухо.

– Эстер – женщина? – воскликнул автор «Маргариток».

– Снова сонеты! – сказал испанец. – Вернее, пустоцветы... Все эти ангелы опять превращаются в женщин рано или поздно, а у любой женщины выпадают минуты, когда она становится похожа на обезьяну и ребенка одновременно! А оба эти существа могут вас убить смеха ради. Эстер, сокровище мое, – обратился он к испуганной пансионерке, – я вам нашел горничную, создание, преданное мне, как дочь. Поварихой у вас будет мулатка, это дает хороший тон дому. С Европой и Азией вы на тысячу франков в месяц, включая все расходы, будете жить, как королева... театральных подмостков. Европа была портнихой, модисткой и статисткой. Азия служила у лорда, любителя покушать. В лице этих двух особ вы как бы обретае две фей.

Рядом с этим существом, виновным по меньшей мере в кощунстве и обмане, Люсьен казался младенцем, и сердце женщины, освященной его любовью, сжалось от ужаса. Она молча увлекла Люсьена в спальню и спросила:

– Он дьявол?

– Страшнее дьявола... для меня! – добавил он с горячностью. – Но если ты меня любишь, веди себя так, будто ты предана этому человеку, и повинуйся ему под страхом смерти...

– Смерти? – сказала она, еще сильнее испугавшись.

– Смерти, – повторил Люсьен. – Увы, моя козочка, никакая смерть не может сравниться с тем, что меня ожидает, если...

Эстер побледнела, услышав эти слова. Она едва не лишилась чувств.

– Ну, где же вы! – крикнул им лжесвященник. – Все еще обрываете лепестки маргариток?

Эстер и Люсьен снова вернулись в комнату, и бедная девушка, не смея взглянуть на таинственного человека, сказала:

– Вам будут повиноваться, как повинуются Богу, сударь.

– Отлично! – отвечал он. – Вы можете некоторое время наслаждаться счастьем, а туалеты вам понадобятся только домашние и ночные, что очень экономно.

Любовники направились было в столовую, но покровитель Люсьена жестом вернул прелестную чету; они остановились перед ним.

– Я только что говорил о ваших слугах, дитя мое, – сказал он Эстер, – я должен вам их представить.

Испанец позвонил два раза. Появились две женщины, которых он называл Европой и Азией, и сразу стала понятна причина их прозвищ.

Азия, по-видимому уроженка острова Явы, устрасала взор плоским, как доска лицом медного цвета, присущего малайцам, со вдавленным, словно от сильного удара, носом. Необычная форма нижней челюсти придавала этому лицу сходство с мордой обезьян крупной породы. Лоб, хотя и низкий, свидетельствовал о сообразительности, которую развила привычка хитрить. Блестящие маленькие глаза, бесстрастные, как глаза тигра, смотрели в сторону. Азия точно страшилась ужаснуть окружающих. Синеватые губы приоткрывали ряд ослепительно-белых, но неровных зубов. Все черты этой животной физиономии выражали низменность ее натуры. Ее волосы, лоснящиеся и жирные, как и кожа лица, окаймляли по обе стороны черными полосками головную повязку из дорогого шелка. Уши, необыкновенно красивые, были украшены двумя крупными черными жемчужинами. Низенькая, коренастая, Азия напоминала причудливых существ, изображаемых китайцами на своих ширмах, или, точнее, индусских идолов, прообраз которых, казалось бы не существующий в природе, все же удалось встретить путешественникам. При виде этого чудовища, обряженного в белый передник поверх шерстяного платья, Эстер вздрогнула.

– Азия! – сказал испанец, и на его зов женщина покорно подняла голову, как собака, когда ее окликает хозяин. – Вот ваша госпожа.

И он показал пальцем на Эстер, одетую в утреннее платье. Азия посмотрела на юную фею почти со скорбью, но тут же ее огненный взгляд, притушенный короткими густыми ресницами, искрой пожара перекинулся на Люсьена; облаченный в великолепный с распахнутыми полами халат, сорочку из тонкого полотна и красные панталоны, в турецкой феске на голове, из-под которой выбивались крупные кольца белокурых волос, он был божественно хорош. Итальянский гений может сочинить легенду об Отелло, гений англичанина может вывести его на сцену, но только природа может в одном-единственном взгляде воплотить ревность с блеском и совершенством, не доступным ни Англии, ни Италии. Этот взгляд, уловленный Эстер, заставил ее схватить испанца за руку и вцепиться в нее ногтями, подобно кошке, повисшей над бездной. Испанец сказал азиатскому чудовищу несколько слов на неизвестном языке, тогда это существо опустилось на колени, подползло к ногам Эстер и поцеловало их.

– Она не просто кухарка, а повариха, которая самого Карема свела бы с ума от зависти, – сказал испанец Эстер. – Азия в этом деле большая мастерица. Она приготовит простое блюдо из фасоли так, что вы усомнитесь, уж не ангелы ли снизошли с небес, чтобы приправить его райскими травами. Она будет каждое утро ходить на рынок и торговаться, как дьявол, – а она

и есть дьявол, – лишь бы не переплатить. Любопытным наскучит ее скрытность. Вероятно, вас будут принимать за особу, прибывшую из Индии, и Азия отлично поможет вам придать этой басне правдоподобие, ибо она из тех парижанок, которые по своему вкусу выбирают место рождения. Но я думаю, вам незачем слыть иностранкой... Европа, что ты скажешь?

Европа представляла собой совершенную противоположность Азии: то был тип субретки столь милостивой, что Монроз не пожелал бы для себя лучшей партнерши на сцене. Стройная, с виду ветреная, с мордочкой ласки, с острым носиком, Европа являла взору утомленное парижским развратом лицо, бледное от питания картофелем девичье лицо с вялой, в прожилках, кожей, тонкое и упрямое. Ножка вперед, руки в карманах передника, она, даже храня неподвижность, казалось, не стояла на месте, столько было в ней живости. Гризетка и статистка одновременно, она, несмотря на молодость, перебрала, видимо, немало профессий. Вполне возможно, что развращенная, как все *маделонетки*, взятые вместе, она, обокрав родных, познакомилась со скамьей подсудимых в исправительной полиции. Азия внушала великий ужас, но вся ее сущность раскрывалась в одну минуту: она была прямой наследницей Локусты, меж тем как Европа пробуждала тревогу, все возрастающую по мере ее услужливости; распущенности ее, казалось, не было предела; она, как говорят в народе, прошла огонь и воду и медные трубы.

– Мадам могут быть родом из Валенсьена, я оттуда, – сказала Европа суховато. – Не соблаговолит ли мсье сообщить, как он желал бы именовать мадам? – спросила она Люсьена с самым педантичным видом.

– Госпожа Ван Богсек, – отвечал испанец, тут же переставив буквы в фамилии Эстер. – Мадам – еврейка, родом из Голландии, вдова негоцианта, страдает болезнью печени, вывезенной с Явы... Состояние небольшое, чтобы не возбуждать любопытства.

– Живет на шесть тысяч франков ренты, и мы будем жаловаться на ее скупость, – сказала Европа.

– Отлично, – сказал испанец, кивнув. – Проклятые шутихи! – продолжал он страшным голосом, перехватив взгляд, которым обменялись Азия и Европа и который ему не понравился. – Помните, что я вам сказал! Вы прислуживаете королеве, вы обязаны оказывать ей уважение, подобающее королеве, вы будете ей преданы, как мне. Ни привратник, ни соседи, ни жильцы, короче говоря, никто на свете не должен знать, что здесь происходит. Вы обязаны пресечь всякое любопытство, если оно будет проявлено. А ваша госпожа, – прибавил он, опуская широкую волосатую руку на руку Эстер, – не должна позволить себе ни малейшей неосмотрительности, вы ее остережете в случае надобности, но... всегда соблюдая почтительность. Вы, Европа, будете сноситься с внешним миром, заботясь о нарядах вашей госпожи, причем старайтесь быть поэкономнее. Короче, никто, даже самый безобидный человек, не смеет переступить порог этой квартиры. Вы обе обязаны целиком обслуживать дом. Красавица моя! – сказал он, обращаясь к Эстер. – Когда вы пожелаете выехать вечером в карете, вы об этом скажете Европе; она знает, где искать ваших слуг, ибо у вас будет выездной лакей, тоже в моем вкусе, как эти рабыни.

Эстер и Люсьен не находили слов, они молча слушали испанца и смотрели на этих двух диковинных особ, которым тот отдавал приказания. Какая тайна обязывала этих женщин к тому подчинению, к той преданности, что была написана на их лицах – у одной столь злобном и своенравном, у другой столь безгранично жестоком? Он угадал мысли Эстер и Люсьена, казалось оцепеневших, подобно Полю и Виргинии, вдруг увидевшим двух ядовитых змей, и добродушно шепнул им:

– Вы можете положиться на них, как на меня; ни единой тайны от них, это им польстит. Азия, подавай к столу, моя милая, – сказал он поварихе. – А ты, душенька, поставь еще прибор, – приказал он Европе. – Во всяком случае, папаша заслужил, чтобы детки угостили его завтраком.

Как только дверь за женщинами захлопнулась, испанец, прислушавшись к суетливой бегодне Европы, сказал Люсьену и молодой девушке, сжимая свой мощный кулак:

– Я их держу крепко!

Эти слова и жест заставили бы каждого содрогнуться.

– Где ты их нашел? – воскликнул Люсьен.

– Э-э, черт возьми! Я не искал их у подножия тронов, – отвечал этот человек. – Европа выбралась из грязи и боится вновь туда окунуться... Если они не будут достаточно услужливы, пригрозите *господином аббатом*, и вы увидите, что они задрожат, точно мыши при слове «кошка». Я ведь укротитель диких зверей, – добавил он, улыбаясь.

– А мне кажется, что вы демон! – воскликнула Эстер, грациозно прижимаясь к Люсьену.

– Дитя мое, я пытался вас посвятить Небу; но раскаявшаяся блудница, даже найдись такая, только вводит в обман Церковь: попав в рай, она опять станет куртизанкой... Вы выиграла, заставив забыть о себе и усвоив манеры порядочной женщины; теперь вы обучены всему, чему не могли бы обучиться в вашей гнусной среде... Вы ничем мне не обязаны, – сказал он, заметив прелестное выражение признательности на лице Эстер, – я все это сделал ради него!.. – И он указал на Люсьена. – Вы девка и останетесь девкой, умрете девкой, потому что, несмотря на заманчивые теории животноводства, нельзя в этом мире быть не кем иным, кроме как самим собою. Знаток по части шишек прав! У вас шишка любви.

Испанец, как видно, был фаталистом, подобно Наполеону, Магомету и многим великим политикам. Удивительная вещь! Почти все люди действия склонны к фатализму, так большинство мыслителей склонны верить в Провидение!

– Я не знаю, что я такое, – отвечала Эстер с ангельской кротостью, – но я люблю Люсьена и умру, обожая его.

– Ступайте завтракать, – грубо сказал испанец, – и молитесь Богу, чтобы Люсьен не слишком скоро женился... тогда вы его больше не увидите.

– Его женитьба была бы моей смертью, – сказала она. Она уступила дорогу лжесвященнику, чтобы украдкой шепнуть Люсьену: – Неужели ты хочешь отдать меня во власть человека, который приставил ко мне этих двух гиен?

Люсьен повернул голову. Бедная девушка затаила печаль и казалась веселой; но она была крайне угнетена. Понадобилось более года неусыпных и самоотверженных забот, чтобы она свыклась наконец с двумя чудовищами, которых Карлос Эррера называл *сторожевыми псами*.

До времени своего возвращения в Париж Люсьен вел себя так осмотрительно, что должен был возбудить зависть всех прежних друзей, чего он и добился; между тем единственной его мстостью служили его успехи, бесившие их, а также его безукоризненная внешность и умение держать людей на расстоянии. Поэт, столь общительный, столь непосредственный, стал холоден и замкнут. Де Марсе, служивший образцом для подражания парижской молодежи, и тот не был так сдержан в речах и поступках. Что же касается ума, журналист дал в свое время тому доказательство. Де Марсе, которому многие противопоставляли Люсьена и с готовностью отдавали предпочтение поэту, проявил мелочность характера, озлобившись на него. Люсьен, оказавшийся в большой милости у людей, власть имущих, настолько отрешился от мечтаний о литературной славе, что ничуть не был тронут ни успехом своего романа, переизданного под его настоящим названием «Лучник Карла IX», ни шумом вокруг сонетов, вышедших под заглавием «Маргаритки» и распроданных Дориа в одну неделю. «Посмертный успех!» – смеясь, отвечал он поздравлявшей его мадемуазель де Туш. Страшный испанец направлял свое творение железной рукой на тот путь, который для терпеливого политика завершается победными фанфарами и трофеями. Люсьен снял холостую квартиру Боденора на набережной Малакэ, чтобы быть поближе к улице Тетбу, а его наставник поместился в трех комнатах в четвертом этаже того же дома. Люсьен довольствовался теперь одной верховой лошастью и одной выездной, лакеем и конюхом. Когда он не обедал в городе, он обедал у Эстер. Карлос Эррера так

зорко наблюдал за слугами на набережной Малакэ, что у Люсьена уходило на жизнь меньше десяти тысяч франков в год. Для Эстер десяти тысяч франков было достаточно благодаря неизменной и непостижимой преданности Европы и Азии. Люсьен принимал, впрочем, чрезвычайные меры предосторожности, посещая улицу Тетбу. Он приезжал туда в экипаже с опущенными занавесками, и карета всегда въезжала во двор. Поэтому страсть его к Эстер и существование дома на улице Тетбу, тщательно скрываемого от света, ничуть не повредили ни одному из его начинаний, ни одной из его связей; ни разу не вырвалось у него неосторожного слова на эту щекотливую тему. Ошибки подобного рода, совершенные им при Корали, в пору его первого появления в Париже, послужили ему опытом. Кроме того, жизнь его отличалась той упорядоченностью хорошего тона, которая позволяет скрывать немало тайн: он проводил в свете все вечера до часу ночи; дома его можно было застать от десяти часов утра до часу полудни; затем он выезжал в Булонский лес и делал визиты до пяти часов дня. Он редко ходил пешком, таким образом избегая своих старых знакомых. Когда его приветствовал кто-нибудь из журналистов или из его прежних друзей, он отвечал поклоном достаточно вежливым, чтобы не вызвать обиды, но говорившим о большом высокомерии, которое не допускало французской непринужденности в обращении. Таким образом, он живо избавился от лиц, которых более не желал знать. Давняя вражда препятствовала ему сделать визит госпоже д'Эспар, которая не однажды выражала желание видеть его у себя; однако, если ему случалось встретиться с нею у герцогини де Мофриньез или у мадемуазель де Туш, у графини де Монкорне или в каком-либо другом месте, он держался с нею чрезвычайно учтиво. Равную ненависть питала к нему и госпожа д'Эспар, тем самым поддерживая в Люсьене неизменную настороженность, ибо в дальнейшем мы увидим, как он разжег эту ненависть, позволив себе однажды отомстить ей, что стоило ему, к слову сказать, строгого выговора Карлоса Эррера. «Ты еще недостаточно силен, чтобы мстить, кому тебе вздумается, – сказал ему испанец. – Когда идешь под палящим солнцем, не останавливайся на пути, чтобы сорвать пусть даже самый красивый цветок...» Перед Люсьеном открывалось слишком блестящее будущее, превосходство его было слишком явным, чтобы молодые люди, встревоженные или уязвленные его возвращением в Париж и его непостижимой удачей, не обрадовались возможности при случае сыграть с ним злую шутку. Люсьен знал, что у него много врагов, но и козни друзей не были для него тайной. К тому же аббат заботливо предостерегал своего приемного сына от предательства света, от безрассудств, столь роковых в юности. Люсьен был обязан рассказывать и каждый вечер рассказывал аббату о самых пустых событиях дня. Благодаря советам своего наставника он обезоруживал наиболее изощренное любопытство – любопытство света. Скрытый под маской английской серьезности, защищенный редутами, которые воздвигает осторожность дипломатов, он никому не предоставлял права или случая ознакомиться со своими делами.

Наконец его юное и прекрасное лицо приучилось хранить в светских гостиных то бесстрастное выражение, которое отличает лица принцесс на официальных приемах. И вот, в середине 1829 года заговорили о его женитьбе на старшей дочери герцогини де Гранлье, которой тогда нужно было пристроить четырех дочерей. Никто не сомневался в том, что король ради этого брака окажет милость Люсьену, вернув ему титул маркиза. Этот брак должен был решить политическую карьеру Люсьена, которого, видимо, прочили в посланники при одном из немецких дворов. Три последних года жизнь Люсьена отличалась особенной безупречностью; недаром де Марсе, подметив эту особенность, сказал: «За спиной этого юноши стоит кто-то из сильных мира сего!» Таким образом, Люсьен стал почти значительным лицом. К тому же и страсть к Эстер очень помогала ему разыгрывать роль серьезного человека. Привычка подобного рода предохраняет честолюбцев от многих глупостей; удовлетворенная любовь ослабляет влияние физиологии на нравственность. Что касается счастья, которым наслаждался Люсьен, то оно было воплощением мечты, которой некогда жил поэт, сидя в своей мансарде на хлебе и воде без единого су в кармане. Эстер, идеал влюбленной куртизанки, хотя и напоминала

Люсьену Корали, актрису, с которой у него была связь, длившаяся один год, однако ж она совершенно затмевала ее. Все любящие и преданные женщины грезят об уединении, таинственности, о жизни жемчужины на дне морском; но у большинства это всего лишь милые причуды, тема для болтовни, мечта доказать свою любовь, никогда ими не осуществляемая; между тем Эстер, для которой все еще внове было ее блаженство, внове пламенный взор Люсьена, ощущаемый ею всякий час, всякое мгновение, ни разу за все четыре года не обнаружила любопытства. Все ее помыслы были направлены на то, чтобы не выходить за пределы программы, начертанной рукой рокового испанца. Более того, среди пьянящих наслаждений она не злоупотребляла неограниченной властью, дарованной любимой женщине неутолимыми желаниями любовника, и не искушала Люсьена вопросами об Эррера, который, впрочем, страшил ее по-прежнему; она не осмеливалась думать о нем. Расчетливые благодеяния этого непостижимого человека, которому, несомненно, Эстер была обязана и прелестью и манерами благовоспитанной женщины, и своим духовным перерождением, представлялись бедняжке каким-то задатком, полученным у преисподней. «Я должна буду когда-нибудь расплатиться за все это», – с ужасом говорила она самой себе. Ночью, если была хорошая погода, она выезжала в наемной карете, которая быстро катила по городу, очевидно по приказу аббата, в чудесные леса в окрестностях Парижа – в Булонский, Венсенский, в Роменвиль или Виль д’Авре, чаще с Люсьеном, реже одна с Европой. Она бесстрашно гуляла в лесу, потому что ее сопровождал, когда ей случалось выезжать одной, великан-гайдук, одетый в самую что ни на есть нарядную ливрею и вооруженный ножом; весь его облик и могучая мускулатура изобличали необыкновенного силача. Этот страж был снабжен, по английской моде, тростью, так называемой *боевой дубинкой*, известной мастерам палочного удара, с помощью которой один человек может отразить нападение сразу нескольких противников. За все это время Эстер, выполняя волю аббата, не обмолвилась ни единым словом с гайдуком. Если госпожа желала вернуться домой, Европа окликала гайдука; гайдук свистом подзывал кучера, находившегося всегда на приличном расстоянии. Если Эстер гуляла с Люсьеном, за любовниками следовали Европа и гайдук, держась в ста шагах от них, подобно двум адским пажам из «Тысячи и одной ночи», которых волшебник дарит тем, кому он покровительствует. Парижане, и тем более парижанки, не знают очарования ночных прогулок в лесу. Тишина, лунные блики, одиночество действуют успокоительно, как ванна. Обычно Эстер выезжала в десять часов вечера, гуляла от двенадцати до часу ночи и возвращалась в половине третьего. День ее начинался не ранее одиннадцати часов. Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, незнакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени и соблюдается лишь куртизанками, лоретками или знатными дамами, проводящими свои дни в праздности. Едва Эстер успевала окончить туалет, как являлся Люсьен, и она встречала его свежая, как только что распутившийся цветок. У нее не было другой заботы, как только счастье ее поэта; она была его вещью, иными словами, она предоставляла ему полную свободу. Взор ее никогда не устремлялся за пределы мирка, в котором она царила. Таков был настоятельный совет аббата, ибо в планы прозорливого политика входило, чтобы Люсьен пользовался успехом у женщин. Счастье не имеет истории, и сочинители любой страны так хорошо это знают, что каждое любовное приключение оканчивают словами: «Они были счастливы!» Поэтому нам остается лишь разъяснить, каким образом могло расцвести в центре Парижа это поистине волшебное счастье. То было счастье в своем высшем выражении, поэма, симфония, длившаяся четыре года! Все женщины скажут: «Как долго!» Однако ни Эстер, ни Люсьен не сказали: «Слишком долго». Да и формула «Они были счастливы» находила в их любви более ясное подтверждение, нежели в волшебных сказках, потому что *у них не было детей*. Итак, Люсьен мог волочиться в свете, удовлетворять свои поэтические причуды и, скажем откровенно, выполнять обязательства, налагаемые на него положением. Он медленно продвигался на своем пути и тем временем оказывал тайные услуги некоторым политическим деятелям, принимая участие в их работе. Он умел держать

это в глубокой тайне. Он усердно поддерживал знакомство с госпожой де Серизи и, как говорили в салонах, был с нею в самых коротких отношениях. Госпожа де Серизи отбила Люсьена у герцогини де Мофриньез, но та, если верить молве, уже им не дорожила – вот одно из тех словечек, которыми женщины мстят чужому счастью. Люсьен пребывал, так сказать, в лоне придворного духовенства и был близок с некоторыми дамами, приятельницами парижского архиепископа. Скромный и выдержанный, он терпеливо ожидал своего часа. Таким образом, де Марсе, который к тому времени женился и обрек свою жену на жизнь, сходную с жизнью Эстер, сам того не ведая, высказал истину. Но тайные опасности в положении Люсьена будут достаточно объяснены дальнейшими событиями нашей истории.

Таковы были обстоятельства, когда в одну прекрасную августовскую ночь барон Нусинген возвращался в Париж из имения одного поселившегося во Франции иностранного банкира, у которого он обедал. Имение это находилось в восьми лье от Парижа, в глуши провинции Бри. Кучер барона хвалился, что отвезет и привезет своего господина на его собственных лошадях, поэтому, как только наступила ночь, он позволил себе ехать шагом. Состояние животных, слуг и господина при въезде в Венсенский лес было таково: кучер, угостившийся на славу в буфетной знаменитого самодержца биржи, пьяный в лоск, спал, однако ж, не выпуская из рук вожжей и тем вводя в заблуждение прохожих. Лакей, сидя на запятках кареты, храпел, посвистывая, как волчок, вывезенный из Германии – страны резных деревянных фигурок, крепких рейнских вин и волчков. Барон пытался размышлять, но уже на мосту Гурне сладостная послеобеденная дремота смежила ему глаза. По опущенным вожжам лошади догадались о состоянии кучера, услышали неумолчный бас лакея, доносившийся с вахты в тылу, и, почувствовав себя хозяевами, воспользовались четвертью часа свободы, чтобы насладиться прогулкой по собственной прихоти. Как смывленные рабы, они предоставляли ворами случай ограбить одного из крупнейших капиталистов Франции, ловчайшего из ловкачей, которым конце концов присвоили выразительное прозвище: *Хищники*. Итак, оказавшись хозяевами положения и подстрекаемые любопытством, свойственным, как известно, домашним животным, они остановились на скрещении дорог перед встречными лошадьми, сказав им, конечно, на лошадином языке: «Чьи вы? Что подельваете? Как поживаете?» Когда коляска остановилась, дремавший барон проснулся. Сначала ему показалось, что он все еще в парке своего собрата; вслед за тем его поразило небесное видение, и в такую минуту, когда он не был защищен обычным оружием – расчетом. Луна светила так ярко, что свободно можно было читать даже вечернюю газету. В тишине леса, в призрачном лунном сиянии, барон увидел женщину; она уже садилась в наемную карету, как вдруг ее внимание было привлечено редкой картиной: коляской, погруженной в сон! Все существо барона Нусингена словно озарило внутренним светом, когда он увидел этого ангела. Молодая женщина, заметив, что ею любуются, испуганно опустила вуаль. Гайдук издал хриплый крик и был, по-видимому, прекрасно понят кучером, потому что карета быстро покатила. Все чувства старого банкира взволновались; кровь отлила от ног, ударила в голову, от головы хлынула к сердцу, горло сжалось. Несчастный уже предвидел несварение желудка, чего он боялся пуще смерти, но все же поднялся с сиденья.

– *Пускай гальон! Больван! Тебе только би спать!* – кричал он. – *Сто франк! Поймать мне этот карет.*

При словах «сто франков» кучер проснулся, лакей зашевелился, расслышав, верно, их сквозь сон. Барон повторил приказание, кучер пустил лошадей вскачь и у Тронной заставы нагнал карету, несколько похожую на ту, в которой Нусинген видел божественную незнакомку; но в ней сидели, развалившись, старший приказчик из какого-то роскошного магазина и порядочная женщина с улицы Вивьен. Барон был сражен неудачей.

– *Ви жирни дурак! Шорш (читай – Жорж) нашель би этот женицин,* – выговаривал он слуге, покуда таможенные служащие осматривали карету.

– Эх, господин барон, видно, не гайдук, а сам дьявол сидел на запятках и подсунил мне эту карету вместо той.

– *Тьяволь не существуи*, – сказал барон.

Барону Нусингену было, по его словам, шестьдесят лет; женщины стали для него безразличны, и тем более собственная жена. Он хвалился, что никогда не знал любви, доводящей до безрассудства. Он считал подлинным счастьем, что покончил с увлечениями, и без стеснения утверждал, что самая ангелоподобная из женщин не стоит того, во что она обходится, даже если отдается бескорыстно. Он слыл столь пресыщенным, что удовольствие быть обманутым покупал не дороже чем за две-три тысячи франков в месяц. Из ложи в Опере его холодные глаза бесстрастно изучали кордебалет. Ни один взгляд из этой опасной стаи юных старух и старых дев, избранниц парижских утех, не упал украдкой на этого капиталиста. Любовь животную, любовь показную и эгоистическую, любовь пристойную и тщеславную, любовь изощренную, любовь сдержанную и супружескую, любовь взбалмошную – барон все покупал, все изведal, кроме истинной любви. И эта любовь обрушилась на него, как орел на свою жертву, – так обрушилась она и на Генца, наперсника его светлости князя Меттерниха. Известны все глупости, которые натворил этот старый дипломат ради Фанни Эльслер: репетиции актрисы волновали его несравненно больше, нежели вопросы европейской политики. Женщина, поразившая денежный мешок, именуемый Нусингеном, представилась ему единственной в своем роде. Едва ли возлюбленная Тициана, Мона Лиза Леонардо да Винчи, Форнарина Рафаэля были столь прекрасны, как божественная Эстер, в которой самый опытный взгляд самого наблюдательного парижанина не мог бы подметить ни малейшей черты куртизанки. Недаром барона совершенно ошеломило величие и благородство облика, столь свойственное Эстер, – тем более Эстер любимой, окруженной изысканной роскошью, обожанием. Счастливая любовь – это святое причастие для женщины: она становится горда, как императрица. Барон восемь ночей сряду выезжал в Венсенский лес, затем в Булонский, затем в леса Виль д'Авре, затем в Медонский лес, наконец, во все окрестности Парижа и нигде не встретил Эстер. Одухотворенное еврейское лицо, как он говорил, *типлейски*, неотступно стояло перед его глазами. К концу второй недели он потерял аппетит. Дельфина Нусинген и его дочь Августа, которую баронесса начинала выводить в свет, не сразу заметили перемену, происшедшую в бароне. Мать и дочь видели барона лишь утром за завтраком и вечером во время обеда, если все обедали дома, что случалось только в приемные дни баронессы. Но к концу второго месяца барон, весь во власти чувства, сходного с тоской по родине, пожираемый лихорадочным нетерпением и удивленный бессилием миллионов, настолько исхудал, настолько казался больным, что Дельфина втайне надеялась стать вдовой. Она лицемерно жалела мужа и заставила дочь сидеть дома. Она засыпала мужа вопросами; он отвечал, как отвечают англичане, страдающие сплином, то есть почти не отвечал. По воскресеньям Дельфина Нусинген давала званый обед. Она избрала этот день для приемов, заметив, что в высшем свете в воскресенье никто не посещает театра и этот вечер у всех обычно свободен. От наплыва купечества и мещанства воскресный день в Париже стал настолько суетлив, насколько он чопорен и скучен в Лондоне. И вот баронесса пригласила к обеду знаменитого Деппена, чтобы посоветоваться с ним против желания больного, ибо Нусинген говорил, что чувствует себя превосходно. Келлер, Растиньяк, де Марсе, дю Тийе, все друзья дома дали понять баронессе, что такой человек, как Нусинген, не должен умереть внезапно: его огромные дела обязывали к особой осторожности, и надо было точно знать, как поступить. Эти господа были приглашены к обеду, так же как граф де Гондревиль, тесть Франсуа Келлера, кавалер д'Эспар, де Люпо, доктор Бьяншон, любимый ученик Деппена, Боденор с супругой, граф и графиня де Монкорне, Блонде, мадемуазель де Туш и Конти, наконец, Люсьен де Рюампре, к которому Растиньяк в продолжение пяти лет выказывал живейшую дружбу, но *согласно приказу*, выражаясь казенным языком.

– От него мы легко не отделаемся, – сказал Блонде Растиньяку, увидев входящего в гостиную Люсьена, прекрасного, как никогда, и восхитительно одетого.

– Предпочитаю быть ему другом, ибо он опасен, – сказал Растиньяк.

– Он? – сказал де Марсе. – Опасным, по-моему, могут быть только люди, положение которых ясно, а его положение скорее не атаковано, чем не атакуемо! На какие средства он живет? Откуда вся эта роскошь? У него, я уверен, тысяч шестьдесят долга.

– Он нашел богатого покровителя, испанского священника, чрезвычайно к нему расположенного, – отвечал Растиньяк.

– Он женится на старшей дочери герцогини де Гранлье, – сказала мадемуазель де Туш.

– Да, – сказал кавалер д’Эспар, – но прежде он должен приобрести землю с доходом в тридцать тысяч франков как твердое обеспечение капитала, которое он предьявит своей нареченной. На это ему нужен миллион, а миллионы не валяются под ногами какого бы то ни было испанца.

– Чересчур много! Ведь Клотильда так дурна собою, – сказала баронесса. Госпожа Нусинген усвоила манеру называть девицу де Гранлье уменьшительным именем, словно она сама, урожденная Горио, была принята в этом обществе.

– Ну нет, – возразил дю Тийе, – для нас дочь герцога не бывает дурна собою, особенно если она приносит титул маркиза и дипломатический пост. Но главное препятствие к этому браку – страстная любовь госпожи де Серизи к Люсьену; она, вероятно, очень тратится на него.

– Меня не удивляет более, что Люсьен так озабочен; госпожа де Серизи, конечно, не даст ему миллиона для женитьбы на мадемуазель де Гранлье. Он, верно, не знает, как выйти из положения, – заметил де Марсе.

– Да, но мадемуазель де Гранлье его обожает, – сказала графиня де Монкорне, – и с помощью этой молодой особы, возможно, условия будут облегчены.

– А как быть ему с сестрой и зятем из Ангулема? – спросил кавалер д’Эспар.

– Его сестра богата, – отвечал Растиньяк, – и он теперь именует ее госпожою Сешар де Марсак.

– Если и возникнут трудности, так ведь он красавец, – сказал Бьяншон, поднимаясь, чтобы поздороваться с Люсьеном.

– Здравствуйте, дорогой друг, – сказал Растиньяк, обмениваясь с Люсьеном горячим рукопожатием.

Де Марсе поклонился холодно в ответ на поклон Люсьена. В ожидании обеда Деппен и Бьяншон, подшучивая над бароном Нусингеном, все же его осмотрели и признали, что заболевание вызвано только душевными переживаниями; но никто не мог отгадать истинной причины, настолько казалось невозможным, чтобы этот прожженный биржевой делец влюбился. Когда Бьяншон, не находя иного объяснения дурному самочувствию банкира, кроме любви, намекнул об этом Дельфине Нусинген, она недоверчиво улыбнулась: ей ли было не знать своего мужа! Однако ж после обеда, как только все вышли в сад, ближайшие друзья, узнав со слов Бьяншона, что Нусинген, видимо, влюблен, окружили барона, желая выведать тайну этого необыкновенного события.

– Знаете, барон, вы заметно похудели, – сказал ему де Марсе. – И подозревают, что вы изменили правилам финансиста.

– *Никогда!* – сказал барон.

– Но это так, – возразил де Марсе. – Утверждают, что вы влюблены.

– *Ферно!* – жалобно отвечал Нусинген. – *Вздыхаю об отна неизфестни.*

– Вы влюблены! Вы? Вы рисуетесь! – сказал кавалер д’Эспар.

– *Быть люблен в мой возраст, я знаю карашо, что очень глупо, но что делать? Шабаш!*

– В светскую даму? – спросил Люсьен.

– Но барон может так худеть только от любви безнадежной, – сказал де Марсе. – А у него есть на что купить любую из женщин, которые желают или могут продаться.

– *Я не знаю эта женщины*, – отвечал барон. – *Могу вам это говорить, раз матам Нюсеншан в гостиной. Я не знала, что такой люпоф! Люпоф!.. Я думал, что потому я и худею.*

– Где вы встретили эту юную невинность? – спросил Растиньяк.

– *В карет, в полночь, в лесу Венсен.*

– Приметы? – сказал де Марсе.

– *Жабо белый газ, платье роз, пелерин белый, вуаль белый, лицо чисто пиплейски! Глаза – огонь, цвет кожа восточни...*

– Вам пригрезилось! – сказал, улыбаясь, Люсьен.

– *Ферно! Я спала как сундук, сундук польни...* – И добавил, спохватившись: – *Это случилось в обратни путь из деревня, после обет у мой труг...*

– Она была одна? – спросил дю Тийе, прерывая банкира.

– *Та*, – сказал барон сокрушенно, – *отна; гайдук зати карет и горнична.*

– Глядя на Люсьена, можно подумать, что он ее знает, – вскричал Растиньяк, уловив улыбку любовника Эстер.

– Кто же не знает женщин, способных отправиться в полночь навстречу Нусингену? – сказал Люсьен, увертываясь.

– Стало быть, эта женщина не бывает в свете, – предположил кавалер д'Эспар, – иначе барон узнал бы гайдука.

– *Я не видаль нигде эта женщины*, – отвечал барон, – *и вот уже сорок тней, как я искаль ее с полицией и не нашель.*

– Пусть она лучше стоит вам несколько сотен тысяч франков, нежели жизни, – сказал Деппен. – В вашем возрасте страсть без удовлетворения опасна, вы можете умереть.

– *Та*, – сказал барон Деппену, – *что кушаю, не идет мне впрок, воздух для меня – смерть! Я пошел в лес Венсен, чтобы видеть тот мест, где ее встретиль!.. О позже мой! Я не занимался последний заем, я просиль мой сопрат, чтобы жалель меня. Мильон даю! Желай знать эта женщины. Я выиграю, потому больше не бываю на биржа... Спросить тю Тиле.*

– Да, – отвечал дю Тийе, – у него отвращение к делам, он сам на себя не похож. Это признак смерти!

– *Признак люпоф*, – продолжал Нусинген. – *Для меня это все отню!*

Наивность старика, который уже не походил более на хищника и впервые в жизни познал нечто более святое и более сокровенное, нежели золото, тронула эту компанию пресыщенных людей; одни обменялись улыбками, другие наблюдали за Нусингеном, и в их глазах читалась мысль: «Такой сильный человек и до чего дошел!..» Затем все вернулись в гостиную, обсуждая этот случай. И точно, то был случай, способный произвести сильнейшее впечатление. Госпожа Нусинген, как только Люсьен открыл ей тайну банкира, рассмеялась; но, услышав, что жена смеется над ним, барон взял ее за руку и увел в амбразуру окна.

– *Матам*, – сказал он ей тихо, – *говориль я случайно слово насмешки на вашу страсть? Почему ви насмехайтесь? Карош жена должен помогать мужу спасать положень, а не насмехаться, как ви...*

По описанию старого банкира Люсьен узнал в незнакомке свою Эстер. Вzbешенный тем, что заметили его улыбку, он, как только был подан кофе и завязался общий разговор, скрылся.

– Куда же исчез господин де Рюампре? – спросила баронесса Нусинген.

– Он верен своему девизу: «*Quid me continebit?*» – отвечал Растиньяк.

– Что означает: «Кто может меня удержать?» или «Я неукротим», предоставляю вам выбор, – прибавил де Марсе.

– Люсьен, слушая рассказ барона о незнакомке, невольно улыбнулся; я думаю, что он ее знает, – сказал Орас Бьяншон, не подозревая опасности столь естественного замечания.

«Превосходно!» – сказал про себя банкир. Подобно всем отчаявшимся больным, он прибегал к любым средствам, подававшим хотя бы малейшую надежду, и решил установить наблюдение за Люсьеном, но поручив это не агентам Лушара, самого ловкого из парижских торговых приставов, к которому обратился недели две назад, а другим людям.

Прежде чем поехать к Эстер, Люсьен должен был посетить особняк де Гранлье и пробыть там часа два, превращавшие Клотильду Фредерику де Гранлье в счастливейшую девушку Сен-Жерменского предместья. Осторожность, отличающая поведение этого молодого честолюбца, подсказала ему, что следует немедленно сообщить Карлосу Эррера о том впечатлении, которое произвела его невольная улыбка, когда он, слушая барона Нусингена, в изображении незнакомки узнал портрет Эстер. Любовь барона к Эстер и его намерение направить полицию на поиски неизвестной красавицы были событиями достаточно значительными, чтобы осведомить о них человека, который нашел убежище под покровом сутаны, как некогда преступники обретали его под кровлей храма. С улицы Сен-Лазар, где в то время жил банкир, до улицы Сен-Доминик, где находился особняк де Гранлье, дорога вела Люсьена мимо его дома на набережной Малакэ. Когда Люсьен вошел, его грозный друг дымил своим молитвенником, короче говоря, курил трубку, перед тем как лечь спать. Этот человек, скорее странный, нежели чужестранный, в конце концов отказался от испанских сигарет, находя их недостаточно крепкими.

– Дело принимает серьезный оборот, – заметил испанец, когда Люсьен ему все рассказал. – Барон в поисках девчурки прибегнет к услугам Лушара, а тот, конечно, сообразит, что надо пустить ищеек по твоим следам, и тогда все откроется! Мне едва достанет ночи и утра, чтобы подтасовать карты для партии, которую я хочу сыграть с бароном, ибо прежде всего я должен ему доказать бессилие полиции. Когда наш хищник потеряет всякую надежду найти овечку, я берусь продать ее за столько, во сколько он ее ценит...

– Продать Эстер? – вскричал Люсьен, первый порыв у которого всегда был прекрасен.

– Ты что? Забыл о нашем положении? – вскричал Карлос Эррера.

Люсьен опустил голову.

– Денег нет, – продолжал испанец, – а шестьдесят тысяч франков долга надо платить! Если ты хочешь жениться на Клотильде де Гранлье, ты должен купить землю, чтобы обеспечить эту дурнушку на случай твоей смерти, а на это нужен миллион. Так вот, Эстер – та лакомая дичь, за которой я заставлю гоняться этого хищника, покуда не выжму из него миллион. Это моя забота.

– Эстер никогда не согласится.

– Это моя забота.

– Она умрет.

– Это забота похоронной конторы. А если и так? – вскричал этот дикий человек, обрывая, по своему обыкновению, лирические жалобы Люсьена. – Сколько генералов умерло в расцвете лет за императора Наполеона? – спросил он у Люсьена после короткого молчания. – Женщины всегда найдутся! В тысяча восемьсот двадцать первом году Корали тебе казалась несравненной. И все же встретила Эстер. После этой девицы появится... знаешь кто?.. Неизвестная женщина! Да, прекраснейшая из женщин, и ты станешь искать ее в столице, где зять герцога де Гранлье будет посланником и представителем короля Франции... Ну а тогда, скажи-ка, неразумное дитя, умрет ли от этого Эстер? Наконец, разве не может муж мадемуазель де Гранлье сохранить Эстер? Впрочем, предоставь мне действовать; не на тебе лежит скучная обязанность думать обо всем; это моя забота. Однако ж тебе придется недели две обойтись без Эстер и без поездок на улицу Тетбу. Ну-ка, ухватись за свой якорь спасения, поворкуй да получше разыграй роль; подложи тайком Клотильде пламенное послание, которое ты утром сочинил, и принеси мне от нее еще тепленький ответ! Строчка письма, она вознаграждает себя за свои лишения: это мне подходит! Ты застанешь Эстер немножко опечаленной, но прикажи ей повиноваться. Дело идет о нашей ливрее добродетели, о наших плащах почтенности, о ширме, за

которой великие люди прячут свои гнусности. Дело идет о моем прекрасном я — о тебе, на которого не должна пасть ни малейшая тень. Случай послужил нам скорее, нежели моя мысль: вот уже два месяца, как она работает вхолостую.

Бросая одно за другим эти страшные слова, звучащие как пушечные выстрелы, Карлос Эррера одевался для выхода из дому.

— Ты, как видно, рад! — вскричал Люсьен. — Ты никогда не любил бедную Эстер и страстно ждешь случая отделаться от нее.

— Тебе никогда не надоедало любить ее, не правда ли?.. Ну а мне никогда не надоедало ее ненавидеть. Но разве я не действовал всегда так, точно был искренне привязан к этой девушке? Между тем я держал ее жизнь в своих руках... с помощью Азии! Несколько ядовитых грибочков в рагу, и все было бы кончено... Однако ж мадемуазель Эстер живет!.. Она счастлива!.. Знаешь почему?.. Потому что ты ее любишь! Не прикидывайся ребенком. Вот уже четыре года, как мы ожидаем такого случая. Как он сейчас обернется? За нас или против нас?.. Так вот, надобно обнаружить нечто большее, чем талант, чтобы ошипать птицу, посланную нам судьбой: как и в любой игре, в этой рулетке есть счастливые и несчастные ставки. Знаешь, о чем я думал, когда ты вошел?

— Нет...

— Выдать себя, как в Барселоне, за наследника какой-нибудь старухи-святоши, при помощи Азии...

— Преступление?

— У меня нет другого средства, чтобы упрочить твоё счастье! Кредиторы зашевелились. Что станет с тобой, если ты попадешься в лапы судебного исполнителя и тебя выгонят из дома де Гранлье? Тут-то и настанет час расплаты с дьяволом.

Карлос Эррера изобразил жестом самоубийство человека, бросающегося в воду, и затем остановил на Люсьене пристальный и пронизывающий взгляд, подчиняющий слабые души людям сильной воли. Этот завораживающий взгляд, пресекавший всякое сопротивление, обозначал, что Люсьен и его советчик связаны не только тайной жизни и смерти, но и чувствами, которые настолько же превосходили обычные чувства, насколько этот человек был выше своего презренного положения.

Принужденный жить вне общества, доступ в которое был навсегда закрыт для него законом, истощенный пороком и ожесточенный лютой борьбой, но одаренный огромной душевной силой, не дававшей ему покоя, низкий и благородный, безвестный и знаменитый одновременно, одержимый лихорадочной жаждой жизни, он возродился в изящном теле Люсьена, душой которого он овладел. Он сделал его своим представителем в человеческом обществе, передал ему свою стойкость и железную волю. Люсьен был для него больше, чем сын, больше, чем любимая женщина, больше, чем семья, больше, чем жизнь, — он был его мстителью, и, так как сильные души скорее дорожат чувством, чем существованием, он связал себя с ним нерасторжимыми узами.

Встретив Люсьена в минуту, когда поэт в порыве отчаяния был готов на самоубийство, он предложил ему сатанинский договор в духе тех, что встречаются лишь в романах приключений, однако опасная возможность таких договоров не раз была подтверждена в уголовных судах знаменитыми судебными драмами. Бросив к ногам Люсьена все утехи парижской жизни, уверив юношу, что надежда на блестящую будущность еще не потеряна, он обратил его в свою вещь. Впрочем, никакая жертва не была тяжела для этого загадочного человека, если речь касалась его второго я. Вопреки сильному характеру, он проявлял удивительную слабость к прихотям своего любимца, которому в конце концов доверил и все тайны. Как знать, не послужило ли это духовное сообщничество последним связующим их звеном? В тот день, когда была похищена Торпиль, Люсьен узнал, на каком страшном основании покоится его счастье. Под сутаной испанского священника скрывался Жак Коллен, знаменитый каторжник, который лет

десять назад жил под мещанским именем Вотрена в пансионе Воке, где столовались Растиньяк и Бьяншон. Жак Коллен, по прозвищу *Обмани-Смерть*, сбежавший из Рошфора, как только его туда водворили, последовал примеру пресловутого графа де Сент-Элен, но избежав промахов, допущенных Коньяром в его смелом поступке. Надеть на себя личину честного человека и продолжать жизнь каторжника – такова была задача, оба условия которой были чересчур противоречивы, чтобы не привести к роковой развязке, тем более в Париже, ибо, поселившись в какой-либо семье, преступник удесятерит опасность подобного обмана. К тому же, чтобы отвести от себя всякие подозрения, не следует ли поставить себя выше повседневных житейских интересов? Светский человек подвержен многим случайностям, редко угрожающим тому, кто не соприкасается со светом. Поэтому сутана – самая надежная маскировка, когда дополнением к ней служит примерная, уединенная и мирная жизнь. «Итак, я буду священником», – сказал себе этот гражданский мертвец, упорно желавший возродиться в новом социальном облике и удовлетворить страсти столь же необычные, как он сам. Гражданская война, зажженная в Испании конституцией 1812 года – а именно оттуда явился этот человек действия, – доставила ему возможность тайно убить в засаде настоящего Карлоса Эррера. Побочный сын вельможи, брошенный отцом еще в детстве, не знавший, кто была та женщина, которой он обязан своим рождением, этот священник имел дипломатическое поручение во Францию от короля Фердинанда VII, будучи ему рекомендован неким епископом. Этот епископ, единственный человек, принимавший участие в Карлосе Эррера, умер во время путешествия этой добровольной жертвы Церкви из Кадикса в Мадрид и из Мадрида во Францию. Обрадованный встречей с личностью, столь для него полезной и при столь благоприятных для него условиях, Жак Коллен изранил себе спину, чтобы уничтожить роковое клеймо, и с помощью химических реактивов изменил лицо. Преобразившись таким образом перед трупом священника, прежде чем уничтожить его останки, он сумел придать себе некоторое сходство со своим двойником. Желая завершить это превращение, почти столь же волшебное, как превращение дряхлого дервиша из арабской сказки, который при помощи магических слов мог вселиться в тело юноши, этот каторжник, уже изъяснявшийся по-испански, обучился латыни в той мере, в какой этот язык должен быть известен андалузскому священнику. Казначей трех каторг, Коллен распорядился вкладами, доверенными его признанной, хотя и вынужденной честности: между такого рода пайщиками за недостачу расплачиваются ударом кинжала. К этому основному капиталу он присоединил деньги, данные епископом Карлосу Эррера. Перед тем как покинуть Испанию, он сумел овладеть сокровищами одной барселонской святоши, покаявшейся в совершенном ею убийстве: он отпустил ей грехи, обещав вернуть по принадлежности деньги, добытые преступным путем и послужившие источником ее благополучия. Став священником, на которого возложено тайное поручение, обещавшее ему самое высокое покровительство в Париже, Жак Коллен решил ничем не опорочить присвоенный им сан и отдался случайностям своего нового существования; тогда-то, по пути из Ангулема в Париж, он и встретил Люсьена. Юноша оказался лжесвященнику превосходным орудием для достижения власти; он спас его от самоубийства, сказав: «Предайтесь священнослужителю, как предаются дьяволу, и у вас будут все условия для лучшей участи. Ваша жизнь потечет, как сон, и худшим пробуждением будет смерть, а вы ее искали...» Союз двух существ, которым суждено было слиться воедино, покоился на этой прочной основе, которую, впрочем, Карлос Эррера еще более укрепил, вовлекая Люсьена в сообщничество. Одаренный талантом растления, он развратил совесть Люсьена, то ввергая его в жестокую нужду, то извлекая из нее ценой его молчаливого согласия на совершение дурных или бесчестных дел; однако в глазах света Люсьен всегда оставался незапятнанным, честным, благородным. Люсьен олицетворял собою все, что есть самого изысканного в высшем обществе, в тени которого хотел жить обманщик. «Я – автор, ты – моя драма; если ты провалишься, освистан буду я», – сказал он ему в тот день, когда счел нужным разоблачить перед ним свой кощунственный маскарад. Карлос шел осторожно от признания к признанию, соразмеряя

степень их низости со значением своих удач и нуждами Люсьена. Недаром Обмани-Смерть открыл последнюю тайну тогда лишь, когда привычка к парижским удовольствиям, успех и удовлетворенное тщеславие подчинили ему тело и душу слабовольного поэта. Там, где некогда Растиньяк, искушаемый этим демоном, устоял, Люсьен уступил, потому что он был более искусно впутан в игру, а главное, опьянен счастьем от сознания, что завоевал высокое положение в обществе. Зло, поэтический образ которого именуется Дьяволом, обратило против этого женственного мужчины свои самые неотразимые соблазны и баловало его своей щедростью, вначале требуя взамен лишь немногого. Главным козырем Карлоса Эррера было сохранение пресловутой вечной тайны, обещанное Тартюфом Эльвире. Повторные доказательства полной преданности, в духе той, что питал Сеид к Магомету, довершили ужасное дело порабощения Люсьена Жаком Колленом. К этому времени Эстер и Люсьен не только проглотили все вклады, доверенные безукоризненной честности этого банкира каторги, который ради них подвергался страшной опасности, ибо у него могли спросить отчет в этих суммах, но денди, обманщик и куртизанка еще больше вошли в долги. И в ту минуту, когда Люсьен был так близок к цели, малый камешек, попавшийся под ногу одному из этих трех существ, мог бы обрушить волшебное здание счастья, столь дерзко воздвигнутое. На бале в Опере Растиньяк узнал Вотрена из пансиона Воке, но понял, что нескромность грозит ему смертью; поэтому-то любовник госпожи Нусинген, как и Люсьен, встречаясь взглядами, таили под видимостью дружбы взаимный страх. В минуту опасности Растиньяк, конечно, с величайшим удовольствием доставил бы повозку, чтобы отправить Обмани-Смерть на эшафот. Каждому теперь понятна мрачная радость Карлоса, когда он, узнав о любви барона Нусингена, мгновенно сообразил, какую выгоду человек его закала может извлечь из бедной Эстер.

– Э-ге-ге! – сказал он Люсьену. – Дьявол покровительствует своему служителю.

– Ты куришь, сидя на бочке с порохом.

– *Incedo per ignes*⁹, – отвечал Карлос, улыбаясь. – Таково мое ремесло.

К середине прошлого века род де Гранлье распался на две ветви: одна ветвь – герцогский род, обреченный на угасание, поскольку у нынешнего герцога были лишь дочери; вторая – виконты де Гранлье, которым предстояло унаследовать титул и герб старшей ветви. Герцогская ветвь носит на *чёрвлени поля три золотые секиры, или боевых топора, попереk щита* со знаменитым *Saveo pop timeo*¹⁰ – девизом, в котором вся история этого рода.

Щит герба виконта расчленен, как у Наварренов: на *чёрвлени поля золотая зубчатая перевязь попереk щита, увенчанного рыцарским шлемом, с девизом: «Великие дела, великий род!»* У нынешней виконтессы, вдовствующей с 1813 года, были сын и дочь. Хотя она вернулась из эмиграции почти разоренная, все же благодаря преданности своего поверенного де Дервиля она оказалась владелицей довольно значительного состояния.

Герцог и герцогиня де Гранлье, возвратившиеся во Францию в 1804 году, были осыпаны милостями императора; Наполеон I, при дворе которого они состояли, вернул во владение рода де Гранлье их поместья, числившиеся в палате государственных имуществ, с доходом около десяти тысяч ливров. Из всех вельмож Сен-Жерменского предместья, позволивших Наполеону обольстить себя, только герцог и герцогиня (из старшей ветви Ажуда, состоящей в родстве с Браганцами) не отреклись ни от императора, ни от его благодеяний. Людовик XVIII оценил их верность, тогда как Сен-Жерменское предместье именно ее-то и поставило в вину Гранлье; но, может быть, Людовик XVIII желал этим лишь подразнить своего августейшего брата. Говорили о возможности брака молодого виконта де Гранлье и Мари-Атенаис, младшей дочери герцога, которой тогда исполнилось девять лет. Сабина, предпоследняя дочь, после Июльской революции вышла замуж за барона дю Геник. Жозефина, третья дочь, стала госпожой д'Ажуда-Пинто,

⁹ Шествую среди огня (*лат.*).

¹⁰ Остерегаюсь, но не страшусь! (*лат.*)

когда маркиз потерял первую жену, урожденную де Рошфид. Старшая ушла в монастырь в 1822 году. Вторая дочь, Клотильда-Фредерика, в ту пору в возрасте двадцати семи лет, была серьезно увлечена Люсьеном де Рюампре.

Излишне спрашивать, какими чарами покорял воображение Люсьена особняк герцога де Гранлье, один из лучших особняков на улице Сен-Доминик; всякий раз, когда огромные ворота, покачиваясь на своих петлях, распахивались, чтобы пропустить его кабриолет, он испытывал чувство тщеславного удовлетворения, о котором говорил Мирабо. «Пусть мой отец был простым аптекарем в Умо, я все же здесь принят...» – такова была его мысль.

Стало быть, помимо своего союза с лжесвященником, он пошел бы и на многие другие преступления ради того, чтобы за ним осталось право всходить по ступеням подъезда, чтобы слышать, как о нем докладывают: «Господин Рюампре!» – в большой гостиной в стиле Людовика XIV, отделанной в ту же эпоху, по образцу гостиных Версаля, где собиралось избранное общество, сливки Парижа, так называемый *Малый двор*.

Благородная португалка, которая не любила выходить из дому, большую часть времени проводила в обществе Шолье, Наварренов, Ленонкуров, живших неподалеку от нее. Красавица-баронесса де Макюмер (урожденная Шолье), герцогиня де Мофриньез, госпожа де Кан, мадемуазель де Туш, находившаяся в родстве с Гранлье, которые были родом из Бретани, часто навещали ее, отправляясь на бал или возвращаясь из Оперы. Виконт де Гранлье, герцог де Реторе, маркиз де Шолье, который в будущем должен был стать герцогом де Ленонкур-Шолье, его жена Мадлена де Морсоф, внучка герцога де Ленонкура, маркиз д'Ажуда-Пинто, князь де Бламон-Шоври, маркиз де Босеан, Видам де Памье, Ванденесы, старый князь де Кадиньян и его сын герцог де Мофриньез были завсегдатаями этого величественного салона, где все дышало воздухом двора, где манеры, тон, остроумие соответствовали благородному происхождению хозяев, широко открытый аристократический дом которых заставил в конце концов забыть об их угодничестве перед Наполеоном.

Старая герцогиня д'Юкзель, мать герцогини де Мофриньез, была оракулом этого салона, куда госпожа де Серизи, хотя и урожденная де Ронкероль, никак не могла проникнуть.

Госпожа де Мофриньез, упросив мать покровительствовать Люсьену, предмету своей необузданной страсти за последние два года, открыла перед ним двери дома де Гранлье, и обольстительный поэт удержался там благодаря влиянию придворного духовенства и покровительству парижского архиепископа. Все же он удостоился чести быть представленным герцогине лишь после того, как королевским указом ему были возвращены имя и герб рода де Рюампре. Герцог де Реторе, кавалер д'Эспар и еще некоторые из чувства зависти время от времени настраивали против него герцога де Гранлье, рассказывая анекдоты из прежней жизни Люсьена; но набожная герцогиня, уже окруженная князьями Церквы, и Клотильда де Гранлье поддерживали молодого человека. Впрочем, причины неприязни герцога Люсьен отнес на счет своего приключения с госпожой де Баржетон, ставшей графиней Шатле. Чувствуя настоятельную необходимость войти в столь влиятельную семью и следуя внушениям своего домашнего советчика, который рекомендовал ему обольстить Клотильду, Люсьен выказывал мужество выскочки: он стал появляться там раз пять в неделю, он мило проглатывал колкости завистников, выдерживал презрительные взгляды, остроумно отвечал на злые насмешки. В конце концов его постоянство, его очаровательные манеры, его любезность обезоружили излишнюю щепетильность и ослабили препятствия. По-прежнему сохраняя наилучшие отношения с герцогиней де Мофриньез, пламенные записки которой, писанные ею в разгаре страсти, хранились у Карлоса Эррера, идол госпожи де Серизи, желанный гость мадемуазель де Туш, Люсьен блаженствовал, посещая эти три дома, но он соблюдал величайшую осторожность в своих связях, памятуя о наставлениях своего испанца.

«Нельзя уделять внимание многим домам одновременно, – говорил его домашний советчик. – Кто бывает всюду, тот нигде не встречает живого интереса к своей особе. Знать покрови-

тельствует лишь тому, кто соревнуется с их мебелью, кого они видят каждодневно, кто сумеет стать для них столь же необходимым, как удобный диван».

Люсьен привык рассматривать салон де Гранлье как некое поле битвы, и он приберегал свое остроумие, шутки, светские новости и обходительность салонного любезника для тех вечеров, которые он проводил в этом доме. Вкрадчивый, ласковый, он угождал маленьким слабостям господина де Гранлье, ибо знал от Клотильды, какие рифы надобно обходить. Клотильда, которая прежде завидовала счастью герцогини де Мофриньез, страстно влюбилась в Люсьена.

Люсьен, оценив все преимущества подобного союза, разыгрывал роль влюбленного, как разыграл бы ее в недавнее время Арман, первый любовник Французской комедии. Он писал Клотильде письма, бесспорно представлявшие собою подлинные образцы высокого стиля, и Клотильда отвечала, состязаясь с ним в мастерстве выражать на бумаге свою неистовую любовь, ибо иначе она любить не могла. По воскресеньям Люсьен слушал мессу у Фомы Аквинского; он выдавал себя за ревностного католика и произносил в защиту монархии и религии прочувствованные речи, вызывавшие восхищение. Сверх того, он писал в газетах, представляющих интересы Конгрегации, превосходные статьи, не желая ничего за них получать и скромно подписывая их буквой «Л». Он выпускал политические брошюры, нужные королю Карлу X или придворному духовенству, не требуя ни малейшего вознаграждения. «Король, – говорил он, – так много для меня сделал, что я ему обязан жизнью». Несколько дней уже шла речь о назначении Люсьена личным секретарем премьер-министра, но госпожа д'Эспар подняла такую кампанию против Люсьена, что фактотум Карла X колебался произнести решительное слово. Дело было не только в том, что положение Люсьена казалось недостаточно ясным и, по мере того как поэт возвышался, вопрос: «На какие средства он живет?» – все чаще слетал с уст, требуя ответа, но вдобавок и в том, что любопытство благожелательное, как и любопытство враждебное, переходя от расследования к расследованию, открывало все новые уязвимые места в панцире честолюбца. Клотильда де Гранлье служила ему невольным шпионом у отца и матери. За несколько дней до того она увлекла Люсьена в нишу окна, чтобы наедине побеседовать с ним и, кстати, сообщить, на чем основываются возражения ее семьи против их брака. «Приобретите поместье, оцененное в миллион, и вы получите мою руку, таков был ответ моей матери», – сказала Клотильда. «Потом они спросят тебя, как ты добыл эти деньги», – сказал Карлос Люсьену, когда Люсьен передал ему это якобы последнее слово. «Мой шурин, по-видимому, составил состояние, – заметил Люсьен, – мы будем иметь в его лице ответственного издателя». – «Итак, недостает только миллиона! – вскричал Карлос. – Я подумаю об этом».

Чтобы точнее обрисовать положение Люсьена в особняке де Гранлье, достаточно заметить, что он там ни разу не обедал. Ни Клотильда, ни герцогиня д'Юкзель, ни госпожа де Мофриньез, по-прежнему благоволившая к Люсьену, никто из них не мог добиться от герцога этой милости, такое недоверие питал старый вельможа к человеку, которого он называл «господин де Рюампре». Этот особый оттенок обращения, отмеченный всеми завсегдатаями салона, постоянно ранил самолюбие Люсьена, давая ему понять, что здесь его только терпят. Свет вправе быть требовательным: он так часто бывает обманут! Никакое искусство не в силах упрочить положение человека, который желает быть на виду в Париже, не имея солидного состояния и определенного занятия. Вопрос: «На какие средства он живет?» – приобретал особую силу по мере возвышения Люсьена. Он был вынужден сказать у госпожи де Серизи, при помощи которой он снискал расположение генерального прокурора Гранвиля и одного из министров, графа Октава де Бована, председателя верховного суда: «Я страшно задолжал».

Въезжая во двор особняка, где он надеялся найти узаконенное удовлетворение своему тщеславию, Люсьен, вспоминая слова Обмани-Смерть, говорил себе с горечью: «Чувствую, как все колеблется у меня под ногами!» Он любил Эстер, и он желал назвать мадемуазель де Гранлье своей женой! Удивительное положение! Надо было продать одну, чтобы получить

другую. Только один человек мог совершить подобный торг, не затронув чести Люсьена, и этот человек был лжеиспанец; не надлежало ли им, как одному, так и другому, быть поосторожнее друг с другом? Подобные договоры, в которых каждая из сторон по очереди то властвует, то подчиняется, дважды не заключают.

Люсьен отогнал сомнения, омрачавшие его лицо, и вошел веселый, блистательный в гостиную особняка де Гранлье. Окна были растворены, благоухание сада наполняло комнату, жардиньерка, занимавшая середину гостиной, казалась прелестной цветочной пирамидой. Герцогиня, сидевшая на софе в уголке комнаты, разговаривала с герцогиней де Шолье. Несколько женщин составляли группу, примечательную тем, что каждая из них по-своему старалась выразить притворное горе. В свете чужое несчастье или страдание не вызывает сочувствия, там все лишь одна видимость. Мужчины прохаживались в гостиной или в саду. Клотильда и Жозефина хлопотали возле чайного стола. Видам де Памье, герцог де Гранлье, маркиз д'Ажуда-Пинто, герцог де Мофриньез играли в вист (sic!) в другом конце комнаты. Люсьен, о котором доложили, войдя в гостиную, направился к герцогине, чтобы поздороваться с ней, и сразу же спросил о причине грусти, читавшейся на ее лице.

– Госпожа де Шолье получила горестное известие: ее зять, барон де Макюмер, в прошлом герцог де Сория, умер. Молодой герцог де Сория и его жена, выехавшие в Шантеплер, чтобы ухаживать за братом, написали об этом печальном событии. Луиза в страшном отчаянии.

– Женщина только однажды в жизни бывает любима так, как была любима своим мужем Луиза, – сказала Мадлена де Морсоф.

– Она осталась богатой вдовой, – заметила старая герцогиня д'Юкзель, глядя на Люсьена; но его лицо было непроницаемо.

– Бедная Луиза! – сказала госпожа д'Эспар. – Как я понимаю ее и жалею!

Маркиза д'Эспар приняла задумчивую позу, изображая собой женщину с чувствительной душой. Хотя Сабине де Гранлье было всего десять лет, она понимающе посмотрела на мать, но насмешливый огонек ее глаз был погашен строгим взглядом маркизы. Вот что называется хорошо воспитать детей!

– Если моя дочь и перенесет этот удар, – сказала госпожа де Шолье, выказывая всем своим видом нежную материнскую озабоченность, – я все же не могу быть спокойна за ее будущее. Луиза так романтична.

– Право, я не пойму, – заметила старая герцогиня д'Юкзель, – от кого наши дети унаследовали эту черту?

– Трудно сочетать в наши дни чувство и условности света, – сказал находившийся тут старый кардинал.

Люсьен, которому нечего было сказать, направился к чайному столу обменяться приветствиями с девицами де Гранлье. Когда поэт отошел на несколько шагов, маркиза д'Эспар наклонилась к герцогине де Гранлье и шепнула ей на ухо:

– И вы уверены, что он очень любит вашу милую Клотильду?

Коварство этого вопроса станет очевидным, если несколькими штрихами обрисовать Клотильду. Эта девушка, лет двадцати семи на вид, в эту минуту встала из-за стола, что позволило маркизе д'Эспар насмешливым взглядом окинуть сухую, тонкую фигуру Клотильды, напоминавшую спаржу. Ни одно из вспомогательных средств, вроде излюбленных модистками пышных косынок, не могло послужить к украшению лифа, облекавшего столь плоскую грудь. Впрочем, Клотильда не трудилась скрывать свои недостатки и даже героически подчеркивала их – она была слишком уверена в преимуществах своего имени. Она носила плотно облегающие платья, которые придавали ее фигуре строгость и четкость линий, присущих изваяниям средневековых мастеров, рельефно выступающим из глубоких ниш в старинных соборах. Клотильда была ростом пять футов и четыре дюйма. Если позволено прибегнуть к просторечию, имеющему хотя бы ту заслугу, что оно метко, я сказал бы, что она вся ушла в ноги. Из-за такого

нарушения пропорций ее талия казалась безобразно короткой. Смуглостью кожи, черными жесткими волосами, густыми бровями, глазами пламенными, но уже обведенными коричневой тенью, лицом, которое в профиль напоминало серп месяца, и выпуклым лбом она была похожа на свою мать, одну из красивейших женщин Португалии, но как бывает похожа на оригинал карикатура. Природа любит подобные шутки. Часто в той или иной семье встречаешь девушку удивительной красоты, но те же черты в лице ее брата являют собою законченное уродство, хотя оба похожи друг на друга. Поджатый рот Клотильды хранил привычное презрительное выражение; поэтому ее губы, более чем какая-либо иная черта ее лица, отражали тайные движения сердца, ибо любовь сообщала им прелестное выражение, тем более привлекательное, что ее лицо, слишком смуглое, чтобы краснеть, и черные суровые глаза никогда не выдавали ее чувств. Несмотря на все эти недостатки, несмотря на доскообразную фигуру, у нее был тот величественный вид, та горделивость осанки, короче говоря, то *нечто*, что дается воспитанием и породой, что обличало в ней девушку из хорошего дома и чем, быть может, она была обязана строгости своего наряда. Она так искусно укладывала свои пышные, густые, длинные волосы, что они могли бы украшать красавицу. Ее хорошо поставленный голос звучал чарующе. Она пела восхитительно. Клотильда была из тех женщин, о которых говорят: «У нее чудесные глаза» или «У нее прекрасный характер!» Когда к ней обращались на английский лад: «Ваша светлость», она отвечала: «Называйте меня „Ваша тонкость“».

– Отчего бы не любить мою бедную Клотильду? – отвечала маркизе герцогиня. – Знаете, что она сказала мне вчера? «Если меня любят ради карьеры, я добьюсь, что меня полюбят ради меня самой!» Она умна и честолюбива. Некоторым мужчинам нравятся эти качества. Что касается его, моя дорогая, он прекрасен, как мечта. И если он сможет выкупить бывшие владения де Рюампре, король, из уважения к нам, вернет ему титул маркиза... Наконец, его мать последняя из Рюампре...

– Бедный мальчик, где ему взять миллион? – сказала маркиза.

– Нас это не касается, – продолжала герцогиня. – Но я уверена, что он не способен его украсть... Впрочем, мы не выдали бы Клотильду ни за интригана, ни за бесчестного человека, будь он даже красавец, будь он поэт и молод, как господин де Рюампре.

– Как поздно вы пришли! – сказала Клотильда, улыбаясь Люсьену с бесконечной нежностью.

– Да, я обедал в городе.

– Вы с некоторых пор много бываете в свете, – сказала она, скрывая улыбкой ревность и тревогу.

– В свете?.. – продолжал Люсьен. – О нет! Я всю неделю, по странной случайности, обедал у банкиров. Сегодня у Нусингена, вчера у дю Тийе, позавчера у Келлеров...

Из этого ответа можно убедиться, что Люсьен хорошо усвоил пренебрежительный тон больших господ.

– У вас много врагов, – сказала Клотильда, предлагая ему (и с какой грацией!) чашку чая. – Отцу сказали, что у вас шестьдесят тысяч франков долга и что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сент-Пелажи. Если бы вы знали, чего мне стоят все эти наветы... Как все это угнетает меня! Не буду говорить о моих страданиях (взгляды моего отца меня ранят), но как вы сами должны страдать, если хоть какая-то доля правды...

– Не волнуйтесь из-за всякого вздора. Любите меня, как я люблю вас, и не откажите мне в доверии на несколько месяцев, – отвечал Люсьен, поставив пустую чашку на поднос чеканного серебра.

– Не показывайтесь на глаза моему отцу, он наговорит вам дерзостей, вы не стерпите, и тогда мы погибли... Эта злюка, маркиза д'Эспар, сказала ему, что ваша мать была повивальной бабкой, а сестра гладильщицей...

– Мы терпели крайнюю нужду, – отвечал Люсьен, у которого на глаза навернулись слезы. – Это не клевета, но удачное злословие. Теперь моя сестра – миллионерша, а мать умерла два года назад... Эти сведения берегли на случай, если счастье сулит мне...

– Но чем вы досадили госпоже д'Эспар?

– Я имел неосторожность шутя рассказать у госпожи де Серизи, в присутствии господина де Бована и господина де Гранвиля, историю процесса, затеянного ею против своего мужа, маркиза д'Эспар, которого она желала взять под опеку; об этом по секрету мне рассказал Бьяншон. Мнение господина де Гранвиля, поддержанное Бованом и Серизи, принудило канцлера изменить свое решение. И тот и другой отступили, испугавшись «Судебной газеты», испугавшись скандала, а в постановлении суда, которое положило конец этому страшному делу, маркизе было воздано по заслугам. Если господин де Серизи и нарушил тайну, зато я приобрел покровителей в его лице, в лице генерального прокурора и графа Октава де Бована, которым госпожа де Серизи рассказала, какой опасности они меня подвергли, позволив отгадать источник, откуда черпались их сведения, и тем самым обратив маркизу в моего смертельного врага. К тому же господин маркиз д'Эспар, считая меня виновником благополучного окончания этого гнусного процесса, поступил неосторожно, посетив меня.

– Я освобожу вас от госпожи д'Эспар, – сказала Клотильда.

– Но как? – вскричал Люсьен.

– Моя мать пригласит молодых д'Эспаров, очень милых и уже достаточно взрослых. Отец и оба сына будут превозносить вас. И я уверена, что мы больше не увидим матери...

– О Клотильда, вы восхитительны! Если бы я не любил вас ради вас самой, я полюбил бы вас за ваш ум.

– Причина тому не мой ум, – сказала она, вкладывая в улыбку всю свою любовь. – Прощайте! Не приходите несколько дней. Когда в церкви Святого Фомы Аквинского вы увидите на моих плечах розовый шарф, знайте, что настроение моего отца переменялось. Ответное письмо приколото к спинке ваших кресел. Быть может, оно утешит вас в разлуке. Ваше письмо положите в мой платок...

Молодой особе, вне всякого сомнения, было более двадцати семи лет.

Люсьен взял фиакр на улице Планш, вышел из него на Бульварах, нанял другой близ церкви Мадлен и приказал въехать во двор одного дома на улице Тетбу.

В одиннадцать часов, войдя к Эстер, он застал ее в слезах, но нарядно одетую, какой она всегда встречала его. Она ждала своего Люсьена, лежа на белом, затканном желтыми цветами атласном диване, одетая в прелестный пеньюар из индийской кисеи, отделанный вишневыми лентами, без корсета, с небрежно заколотыми волосами, в бархатных туфельках, подбитых вишневым атласом; все свечи в комнате были зажжены, кальян приготовлен. Но она не курила, незажженный прибор стоял перед нею, выдавая ее состояние. Услышав, что дверь открывается, она отерла слезы, вскочила, подобно газели, и обвила Люсьена руками, – так ткань, подхваченная порывом ветра, обвивается вокруг дерева.

– Мы разлучаемся, – сказала она, – неужели это правда?..

– Ба! На несколько дней, – отвечал Люсьен.

Эстер выпустила Люсьена из объятий и упала на диван как подкошенная. В подобных случаях большинство женщин болтают, точно попугаи! Ах, как они вас любят!.. После пяти лет жизни с вами для них все еще длится утро любви; они не в силах расстаться, они великолепны в негодовании, в отчаянии, в страсти, в гневе, в сожалениях, в ужасе, в печали, в предчувствиях! Словом, они прекрасны, как сцена из Шекспира. Но знайте: эти женщины не любят! Когда они на самом деле таковы, какими себя изображают, короче говоря, когда они искренне любят, они поступают, как Эстер, как поступают дети, как поступает истинная любовь; Эстер не произнесла ни слова, она лежала лицом в подушках и плакала горькими слезами. Люсьен пытался приподнять Эстер и говорил ей:

– Но, девочка моя, ведь мы неразлучны... Вот как ты принимаешь короткое отсутствие после четырех счастливых лет! – И думал: «Чем я мил этим девушкам?» – вспоминая, что его точно так же любила Корали.

– Ах, мсье, вы такой красавец! – сказала Европа.

Чувства создают свой идеал красоты. Когда эта красота, столь обольстительная, сочетается с мягкостью характера, поэтичностью природы, отличавшими Люсьена, нетрудно понять безумную страсть этих созданий, в высшей степени чувствительных к внешним дарам природы и столь наивных в своем восхищении. Эстер беззвучно рыдала, распростершись на диване, в позе неутешной скорби.

– Но, глупенькая, – сказал Люсьен, – разве ты не знаешь, что дело идет о моей жизни?..

При этих словах, сказанных Люсьеном умышленно, Эстер вскочила, как дикий зверь; распустившиеся волосы окружили, подобно листве, ее божественную фигуру. Она вперила в Люсьена пристальный взгляд.

– О твоей жизни!.. – вскричала она, всплеснув руками, как это делают девушки в минуты опасности. – Верно! Записка этого чудовища говорит о важных вещах.

Она вынула из-за пояса измятый клочок бумаги, но, заметив Европу, сказала ей: «Оставьте нас, моя милая». Когда Европа закрыла за собою дверь, она протянула Люсьену записку, только что присланную Карлосом, со словами: «Посмотри, что *он* мне пишет!»

И Люсьен прочел вслух:

– «Вы уедете завтра в пять часов утра. Вас отвезут в Сен-Жерменский лес, к одному из лесничих; он предоставит вам комнату во втором этаже своего дома. Не покидайте этой комнаты без моего разрешения; вы не будете ни в чем терпеть нужды. Лесничий и его жена – люди верные. Не пишите Люсьену. Не подходите к окну днем; ночью вы можете погулять в сопровождении лесничего, ежели пожелаете. По пути туда держите занавески в карете опущенными: дело идет о жизни Люсьена.

Люсьен придет вечером проститься с вами. Сожгите записку при нем...»

Люсьен тотчас сжег записку на огне свечи.

– Послушай, Люсьен, – сказала Эстер, выслушав письменный приказ, как преступник выслушивает смертный приговор, – я не стану тебе говорить, что люблю тебя, это было бы глупо... Любить тебя кажется мне столь же естественным, как дышать, жить. Так было все эти четыре года. В первый же день моего счастья, начавшегося с благословения загадочного существа, которое заточило меня в этих стенах, как редкого зверька в клетке, я узнала, что ты должен жениться. Женитьба – необходимое условие, чтобы устроить твою судьбу, и сохрани меня Бог препятствовать твоему счастью! Твоя женитьба – моя смерть. Но я ничем не досажу тебе; я не поступлю, как поступают гризетки; чтобы умереть, мне не понадобятся жаровня и уголь... Хватит с меня и одного раза. Как выражается Мариетта: «Повторять сие тошно!» Нет, я уеду далеко, за пределы Франции. Азия знает тайны своей родины, она обещала научить меня, как умереть спокойно. Укол, и все кончено! Прошу лишь об одном, мой обожаемый ангел: не обманывай меня. Жизнь предъявляет мне свой счет – я испытала, начиная со дня первой нашей встречи в тысяча восемьсот двадцать четвертом году и по нынешний день, столько счастья, что его достало бы на десять счастливых женских жизней. Поэтому не бойся за меня, моя сила равна моей слабости. Скажи мне: «Я женюсь». Об одном лишь прошу: будь со мною нежен при прощании, и ты никогда более не услышишь обо мне... – После этого признания в любви, такого же искреннего и простодушного, как жесты и интонации девушки, наступило короткое молчание. – Дело идет о твоей женитьбе? – спросила она, погружая блестящий, как клинок кинжала, заволаживающий взор в голубые глаза Люсьена.

– Вот уже год и шесть месяцев, как мы хлопочем о моей женитьбе, а она все еще не состоялась, – отвечал Люсьен, – и я не знаю, когда она состоится. Но дело не в этом, милая моя девочка... дело в аббате, во мне, в тебе... мы в опасности... тебя видел Нусинген...

– Да, – сказала она, – в Венсенском лесу; он, стало быть, меня узнал?..

– Нет, – отвечал Люсьен, – но он в тебя влюбился без памяти! Когда сегодня после обеда он принялся рассказывать о вашей встрече и описывать твою наружность, я невольно улыbnулся. Такая неосторожность! Ведь в кругу высшего общества я точно дикарь среди ловушек вражеского племени. Карлос избавляет меня от труда обдумывать какие-либо дела, но он находит положение опасным. Он обещает вымотать душу из Нусингена, если Нусингену вздумается за нами шпионить, а барон вполне на это способен: он что-то говорил мне о бессилии полиции. Ты зажгла пожар в этой старой трубе, набитой сажей...

– Что намерен предпринять твой испанец? – спросила Эстер совсем тихо.

– Не знаю. Он велел мне спать спокойно, – отвечал Люсьен, не осмеливаясь взглянуть на Эстер.

– Если так, я повинуюсь с собачьей покорностью, как мне пристало при моем ремесле, – сказала Эстер и, взяв Люсьена под руку, повела его в спальню, спросив: – Хорошо ли ты ото-бедал, Люлю, у этого гадкого Нусингена?

– Азия такая мастерица, что за ней не угнаться ни одному повару; но, как всегда, в воскресенье обед готовил Карем.

Люсьен невольно сравнивал Эстер с Клотильдой. Любовница была так прекрасна, так неизменно обольстительна, что *пресыщение* — чудовище, пожирающее самую пламенную любовь, – еще ни разу не дало себя почувствовать. «Какая досада, – думал он, – когда жена в двух изданиях! В одном – поэзия, страсть, любовь, верность, красота, очарование...» Эстер суетилась, как обычно суetyтся женщины перед сном, и, напевая, порхала с места на место. Точь-в-точь колибри... «В другом – знатность, порода, почет, положение в обществе, светское воспитание!.. И никакими судьбами не соединить их воедино!..» – мысленно воскликнул Люсьен.

Поутру, проснувшись в семь часов, поэт увидел, что он один в этой очаровательной, розовой с белым комнате. На его звонок вбежала фантастическая Европа.

– Что угодно мсье?

– Эстер!

– Мадам уехала без четверти пять. По приказанию господина аббата мною получено с доставкой на дом новое лицо.

– Женщина?..

– Нет, мсье, англичанка... одна из тех, что заняты на ночной поденщине; нам приказано обращаться с ней как с нашей госпожой! Что мсье собирается делать с этой ключей?.. Бедная мадам, как она плакала, садясь в карету... «Ну что ж! Так надобно!.. – воскликнула она. – Я покинула моего бедного котеночка, когда он спал, – сказала она, утирая слезы. – Ах, Европа, стоило ему взглянуть на меня или окликнуть, я с места бы не тронулась, пусть нам обоим грозила бы смерть...» Видите ли, мсье, я так люблю мадам, что не показала ей заместительницы. Не всякая горничная уберегла бы ее от такого удара!

– Стало быть, та, другая, здесь?

– Да, мсье, ведь она приехала в карете, в которой увезли мадам; и я спрятала ее в своей комнате, как приказал...

– Хороша собою?

– Как может быть хороша уличная женщина. Но играть роль ей не составит труда, ежели мсье сыграет свою, – сказала Европа, покидая комнату, чтобы привести туда мнимую Эстер.

Накануне, перед тем как лечь спать, всемогущий банкир отдал распоряжение лакею; и тот уже в семь часов утра проводил знаменитого Лушара, самого ловкого из торговых приставов, в маленькую гостиную, куда вышел барон в халате и домашних туфлях...

– *Ви насмехайтесь, ферно, надо мной!* – сказал он в ответ на поклон пристава.

– Но иначе, господин барон, я не мог поступить! Я дорожу своей должностью и, как я имел честь вам доложить, не могу вмешиваться в дела, не входящие в круг моих обязанностей. Что я вам обещал? Познакомить вас с одним из наших агентов, наиболее, как мне показалось, способных вам услужить. Но господину барону известны границы, которые существуют между людьми разных профессий... Когда строят дом, не возлагают на маляра работу столяра. Так вот, есть две полиции: полиция политическая и полиция уголовная. Агенты уголовной полиции никогда не вмешиваются в дела полиции политической, и *vice versa*¹¹. Ежели вы обратитесь к начальнику политической полиции, ему, чтобы заняться вашим делом, понадобится разрешение министра, а вы не осмелитесь объяснить это начальнику главного полицейского управления. Полицейский агент, который стал бы работать на стороне, потеряет место. Ведь уголовная полиция не менее осмотрительна, чем полиция политическая. Стало быть, никто в министерстве внутренних дел или в префектуре шагу не сделает иначе как только в интересах государства либо в интересах правосудия. Когда дело касается заговора или преступления, – ах, боже мой! – все начальники к вашим услугам. Поймите же, господин барон, что у них есть заботы поважнее, чем полсотни тысяч парижских интрижек. Что касается нашего брата, нам не следует во что-либо вмешиваться, кроме ареста должников; мы подвергаемся большой опасности, если нарушаем чей-нибудь покой в связи с любым другим делом. Я послал вам своего человека, но предупредил вас, что я за него не отвечаю. Вы приказали ему отыскать в Париже женщину. А Контансон, не ударив палец о палец, выудил у вас тысячную ассигнацию. В Париже искать женщину, заподозренную в прогулке в Венсенский лес и по приметам похожую на всех красивых парижанок, все равно что искать иголку в стоге сена.

– *Гонданзон (Контансон)*, – сказал барон, – *должен был говорить честно, а не выудить у меня билет в тысяча франк, не так ли?*

– Послушайте, господин барон, – сказал Лушар, – хотите выложить мне тысячу экю? Я вам дам... продам один совет.

– *Стоит ли софет тысяча экю?* – спросил Нусинген.

– Меня нельзя обмануть, господин барон, – отвечал Лушар. – Вы влюблены, вы желаете отыскать предмет вашей страсти, вы сохнете по нем, как салат без воды. Вчера – я это знаю от вашего лакея – у вас были два врача, и они нашли, что ваше здоровье в опасности. Один только я могу свести вас с верным человеком... Черт возьми! Неужели ваша жизнь не стоит тысячи экю?

– *Прошу сказать имя этот челюфек и доферять мой щедрость!..*

Лушар взял шляпу, откланялся и пошел к выходу.

– *Шертовски челюфек!* – вскричал Нусинген. – *Вернись!.. Полючай!..*

– Примите во внимание, что я продам вам всего лишь сведения, – сказал Лушар, прежде чем взять деньги. – Я укажу имя и адрес единственного человека, который может быть вам полезен; но это мастер...

– *Пошель к шерт!* – вскричал Нусинген. – *Атин имя Ротшильд стоит тысяча экю, когда он подписан под вексель... Даю тысяча франк!*

Лушар, пронырливый человек, однако не сумевший добиться ни должности нотариуса, ни судебного исполнителя, ни казенного защитника, ни стряпчего, многозначительно поглядывал на барона.

– Для вас тысяча экю – пустяк. На бирже вы вернете их в несколько секунд, – сказал он.

– *Даю тысяча франк!* – повторил барон.

– Предложи вам золотые рудники, вы станете торговаться! – сказал Лушар, откланиваясь.

– *Я могу полючать этот адрес за билет в пятьсот франк!* – крикнул барон, приказавший лакею позвать секретаря.

¹¹ Наоборот (лат.).

Тюркаре не существует более. В наши дни и самый крупный и самый мелкий банкир стирают свои плутни на любую мелочь: искусство, благотворительность, любовь – все это для него лишь предмет торга, он готов торговаться с самим папой за отпущение грехов. Итак, слушая Лушара, Нусинген быстро сообразил, что Контансон, как правая рука торгового пристава, должен был знать адрес этого мастера шпионажа. Лушар требовал за совет тысячу эю. Контансон продаст то же самое за пятьсот франков. Столь быстрая сообразительность доказывает достаточно убедительно, что если сердце этого человека и поглощено любовью, голова его все же по-прежнему была головой биржевика.

– *Ви, сутарь мой, долъжен идти,* – сказал барон секретарю, – *к Гонданзон, шпион Люшара, торговли пристав. Надо брать экипаж, одишень бистро. И надо привозить его неметленно. Я ожидаю!.. Обратнo вам надо пройти садовой калитка, вот ключ, потому никто не долъжен видеть этот персон здесь. Провожайте гость в малый садовый пафильон. Старайтесь делать мой порушень з умом.*

К Нусингену приходили деловые люди, но он ожидал Контансона, он мечтал об Эстер, он воображал, что скоро увидит женщину, нечаянно пробудившую в нем чувства, на которые он уже не считал себя способным. И он всех выпроваживал, бормоча нечто невнятное и отделиваясь двусмысленными обещаниями. Контансон представлялся ему самым важным существом в Париже, и он поминутно выглядывал в сад. Наконец, распорядившись никого не принимать, он приказал накрыть для себя завтрак в беседке, в одном из укромных уголков сада. Необъяснимое поведение и рассеянность, проявленные самым прожженным, самым хитрым парижским банкиром, вызывали в его конторах удивление.

– Что случилось с патроном? – говорил какой-то биржевой маклер старшему конторщику.

– Никто не понимает, что с ним. Начинают тревожиться, не болен ли он? Баронесса вчера приглашала на консилиум врачей: Депплена и Бьяншона...

Однажды иностранцы пожелали видеть Ньютона, но он в тот момент был занят лечением одной из своих собак по кличке Beauty¹², которая (Beauty была сука), как известно, погубила огромный труд Ньютона, причем он лишь сказал: «Ах, Beauty, если бы ты знала, что ты натворила...» Иностранцы, уважая труды великого человека, удалились. В жизни всех величайших людей находишь какую-нибудь свою Beauty. Когда маршал Ришелье явился к Людовику XV поздравить его по случаю взятия Магона, крупнейшего военного события XVIII века, король ему сказал: «Вы слышали важную новость?.. Умер бедняга Лансмаг!..» Лансмаг был привратник, посвященный в похождения короля. Никогда парижские банкиры не узнают, чем они обязаны Контансону. Этот шпион был причиной того, что Нусинген позволил провести одно крупнейшее дело без своего прямого участия, предоставив им всю прибыль. Как крупный хищник, он мог биржевой артиллерией обстрелять любое состояние, но, как человек, он сам зависел от счастья!

Знаменитый банкир пил чай, лениво ел хлеб с маслом, обнаруживая тем самым, что зубы его давно уже не оттачиваются аппетитом, как вдруг послышался стук экипажа, остановившегося у садовой калитки. Спустя некоторое время секретарь Нусингена предстал перед ним вместе с Контансоном, которого после долгих розысков нашел в кафе «Сент-Пелажи», где агент завтракал на чаевые, полученные им от должника, заключенного в тюрьму с известными, особо оплачиваемыми, послаблениями. Контансон, следует сказать, представлял собою настоящую поэму, парижскую поэму. По его виду вы тотчас же догадались бы, что Фигаро Бомарше, Маскариль Мольера, Фронтены Мариво и Лафлеры Данкура, эти великие образы дерзновения в плутовстве, изворотливости в отчаянном положении, хитрости, не складывающей оружия при любых неудачах, – все они бледнеют рядом с этим титаном ума и убожества. Если доведется

¹² Красавица (англ.).

вам в Париже встретить воплощение типического в живом существе, то это уже будет не человек, а явление! В нем будет запечатлен не отдельный момент жизни, но все его существование в целом, более того – множество существований! Обожгите трижды гипсовый бюст в печи, и вы получите некое подобие флорентийской бронзы. Так вот, неисчислимые удары судьбы, годы жесточайшей нужды, подобно троекратному обжиганию в печи, придали вид бронзы голове Контансона, опалив его лицо. Неизгладимые морщины представляли собою какие-то вековечные борозды, белесые в глубине. Это желтое лицо само было сплошной морщиной. Если бы не пучок волос на затылке, его голый безжизненный череп, напоминавший голову Вольтера, казался бы черепом скелета. Под окостенелым лбом шурились, ничего не выражая, китайские глаза, точно у кукол, выставленных в витринах чайных лавок, – застывшие в вечной улыбке искусственные глаза, притворяющиеся живыми! Нос, провалившийся, как у курносой смерти, бросал вызов Судьбе, а рот с поджатыми, точно у скряги, губами был вечно раскрыт и все же хранил тайны, подобно отверстию почтового ящика. Маленький, сухой и тощий человечек, с загорелыми руками, Контансон, невозмутимый, как дикарь, вел себя по-диогеновски; он был настолько беззаботен, что никогда и ни перед кем не заискивал. А какие комментарии к его жизни и нравам были начертаны на его одежде для тех, кто умеет читать эти письмена!.. Чего стоили одни его панталоны!.. Панталоны понятного, черные и блестящие, точно сшитые из так называемого крепа, который идет на адвокатские мантии!.. Жилет, хоть и купленный в Тампле, но с отворотами шалью и расшитый!.. Черный, с красноватым отливом фрак!.. Все это тщательно вычищено, имеет почти опрятный вид, украшено часами на цепочке из поддельного золота. Контансон щеголял сорочкой из желтого перкаля, на которой сверкала фальшивым алмазом булавка! Бархатный воротник, напоминавший железный ошейник, подпирал складки багровой, как у карайбов, кожи. Цилиндр блестел, точно атлас, но в тулье достало бы сала на две плоскости, если бы какой-нибудь бакалейщик купил ее для того, чтобы перетопить. Мало перечислить все принадлежности его туалета, надобно изобразить, сколько в них чувствовалось притязаний на франтовство! В воротнике фрака, в свежем глянце башмаков с полуотрванными подметками было что-то щегольское, чему во французском языке немислимо найти определение. Короче, окинув беглым взглядом всю эту смесь различных стилей, умный человек понял бы по внешности Контансона, что, будь он вором, а не сыщиком, его отрепья вызывали бы вместо улыбки дрожь ужаса. Судя по одежде, наблюдатель сказал бы: «Это скверный человек, он пьет, он играет, он подвержен порокам; но все же это не пьяница, не плут, не вор, не убийца». И верно, Контансон казался загадочным, покамест на ум не приходило слово «шпион». Этот человек занимался всеми неведомыми ремеслами, какие только известны. Тонкая улыбка его бледного рта, подмигивающие зеленоватые глаза и подергивающийся курносый нос говорили о том, что он не лишен ума. Лицо его было словно из жести, и душа, видимо, была подобна лицу. Недаром его мимику скорее можно было счесть за гримасы вынужденной учтивости, нежели за отражение чувств. Не будь он столь смешон, он наводил бы ужас. Контансон, любопытнейшая разновидность накипи, всплывающей на поверхность бурлящего парижского котла, где все в состоянии брожения, притязал быть философом. Он говорил без горечи: «У меня большие таланты, но пользуются ими даром, точно я идиот». И он обвинял в этом одного себя, не осуждая других. Много ли найдется шпионов незлобивее Контансона? «Обстоятельства против нас, – твердил он своим начальникам. – Мы могли быть хрусталем, а остались простыми песчинками, вот и все!» Цинизм его в отношении одежды таил глубокий смысл: он заботился о своем парадном костюме не больше, чем актер; он в совершенстве владел искусством передеваний, гримировки; он мог бы преподавать уроки Фредерику Леметру, ибо, когда это было нужно, умел преобразиться в денди. В дни юности он, видимо, принадлежал к кругу распушенной молодежи, завсегдаев притонов разврата. Он выказывал глубокую неприязнь к уголовной полиции, ибо во времена Империи служил в полиции Фуше, которого почитал великим человеком. После упразднения министерства полиции он решил, на худой

конец, принять должность судебного исполнителя по торговым делам; но его прославленные способности, его пронизательность превращали его в драгоценное орудие, и начальники тайной политической полиции удержали имя Контансона в своих списках. Контансон, как и его соратники, был только статистом в той драме, первые роли в которой принадлежали начальникам, когда дело касалось политической работы.

– *Пошел прочь!* – сказал Нусинген, движением руки отпуская секретаря.

«Почему этот человек живет в особняке, а я в меблированных комнатах? – сказал про себя Контансон. – Он трижды разорял своих должников, он крал, а я ни разу не взял и медяка... Я более даровит, чем он».

– *Гонданзон, голюпчик,* – сказал барон, – *почему ты виудиль у меня тысяча франк?*

– *Любовница моя по уши в долгу...*

– *Ты имей люпофниц?* – вскричал Нусинген, с восхищением и завистью глядя на Контансона.

– Мне всего шестьдесят шесть лет, – отвечал Контансон, который являл собою роковой пример вечной молодости, даруемой человеку Пороком.

– *Что он делает?*

– Помогает мне, – отвечал Контансон. – Ежели вора любит честная женщина, тогда либо она становится воровкой, либо он – честным человеком. А я как был, так и остался сыщиком.

– *Ты фешно нушттайся в теньгах?* – спросил Нусинген.

– Вечно, – улыбаясь, отвечал Контансон. – Мое ремесло – желать денег, ваше – наживать их: мы можем договориться, вы их накопите для меня, я берусь их промотать. Будет колодец – ведро отыщется...

– *Желаль би ти полючать билет в пьятсот франк?*

– Что за вопрос! Но не такой уж я глупец!.. Вы ведь предлагаете мне эти деньги не затем, чтобы исправить несправедливость судьбы?

– *Конечно нет. Ты виудил мой тысяча франк. Даю тебе пьятсот франк. Будет тысяча пьятсот франк, котори тебе даю.*

– Прекрасно! Вы мне даете ту тысячу франков, что я у вас взял, и к ней прибавляете еще пятьсот франков.

– *Ферно,* – сказал Нусинген, кивнув.

– Все же это будет всего пятьсот франков, – сказал Контансон невозмутимо.

– *Котори я дам?*

– Которые я получу. Пусть так. Но в обмен на какую ценность дает господин барон этот билет?

– *В Париши, я узналь, есть челофек, способный находить женицин, мой люпоф, и ти знай адрес челофека... Атин слоф, мастер шпионаш...*

– *Правильно...*

– *Дай адрес и полючай пьятсот франк.*

– А где они? – с живостью спросил Контансон.

– *Вот он,* – сказал барон, вынимая из кармана билет.

– За чем же дело стало? Давайте, – сказал Контансон, протягивая руку.

– *Даю, даю! Желая видеть этот челофек. Потом уше полючай теньги, потому можно продавать много адрес такой цена.*

Контансон рассмеялся.

– Собственно говоря, вы вправе дурно обо мне думать, – сказал он, притворившись, что бранит самого себя. – Чем пакостнее наше положение, тем больше оно обязывает к безукоризненной честности. Послушайте-ка, господин барон, выложите шестьсот франков, и я дам вам добрый совет...

– *Дай и доферяй моя щедрость.*

– Я рискую, – сказал Контансон, – но я веду крупную игру. Служа в полиции, видите ли, надо работать тишком. Вы мне скажете: «Идем, едем!..» Вы богаты, и вам кажется, что все подчиняется деньгам. Конечно, деньги кое-что значат. Но, как говорят два или три умных человека из нашей братии, деньгами можно купить только людей. А есть такое, о чем никто не думает и что купить нельзя!.. Случая не купишь... Поэтому у опытных полицейских так не водится. Захотите вы, например, показаться рядом со мной в карете. А нас кто-нибудь встретит. Случай ведь может быть и за нас, и против нас.

– *Ферно?* – спросил барон.

– А как же, сударь! Подкова, найденная на мостовой, навела префекта полиции на след адской машины. Послушайте-ка, ну вот подкатим мы нынешней ночью в фиакре к господину Сен-Жермену, а ему будет так же неприятно увидеть нас у себя в доме, как было бы неприятно вам, если бы вас увидели входящим в его дом.

– *Ферно*, – сказал барон.

– О! Он лучший из лучших помощников знаменитого Корантена, правой руки Фуше и, как говорят, его побочного сына, которого Фуше будто бы произвел на свет, еще будучи священником. Но, разумеется, все это глупости: Фуше умел носить звание священника, как позже звание министра. Так вот! Этого человека, видите ли, вы не заставите работать меньше чем за десять билетов по тысяче франков каждый. Подумайте хорошенько... Но дело будет сделано, и хорошо сделано. Без сучка и задоринки, как говорится. Я предупрежу господина Сен-Жермена, и он назначит вам свидание в каком-нибудь укромном месте, где вас никто не увидит и не услышит, потому что для него опасно заниматься полицейской работой ради частных интересов. Что же вы хотите?.. Он человек отважный; король-человек! Человек, который претерпел большие гонения, и все за то, что спас Францию! Так же точно, как я, как все, кто спас Францию!

– *Караишо, назначай час люпофни сфитань*, – сказал барон, довольный своей пошлой шуткой.

– Господин барон так и не пожелает меня поощрить? – сказал Контансон покорно и вместе с тем угрожающе.

– *Шан!* – крикнул барон садовнику. – *Ступай просить у Шорш тфацать франк и приноси их мне.*

– Ежели господин барон не имеет иных сведений, кроме тех, что он мне дал, сомневаюсь, может ли даже такой мастер, как господин Сен-Жермен, быть ему полезен.

– *У меня есть тругие!* – отвечал барон с хитрым видом.

– Имею честь откланяться, господин барон, – сказал Контансон, получив двадцать франков. – Буду иметь честь доложить Жоржу, где надлежит быть вечером господину барону: хороший агент никогда не посылает записок.

«Удивительно, как эти молодцы догадливы, – сказал про себя барон. – В полиции совсем как в делах!»

Расставшись с бароном, Контансон с улицы Сен-Лазар не спеша отправился на улицу Сент-Оноре, в кафе «Давид»; заглянув в окно кафе, он увидел старика, известного под именем папаши Канкоэля.

Кафе «Давид», находившееся на углу улицы Монэ и Сент-Оноре, пользовалось в тридцатые годы нашего столетия своего рода известностью, которая, впрочем, ограничивалась пределами квартала, называемого Бурдоне. Тут собирались престарелые, ушедшие на покой негодья или крупные купцы, еще ворочающие делами: Камюзо, Леба, Пильеро, Попино и кое-кто из домовладельцев, вроде дядюшки Молино. Тут можно было порою встретить престарелого Гильома, приходившего сюда с улицы Коломбье. Тут толковали о политике, но осторожно, в тесном кругу, потому что клиенты кафе «Давид» придерживались либерального направления. Тут обсуждались местные сплетни – так велика у людей потребность высмеивать своего

ближнего! В этом кафе, как и в прочих кафе, была своя достопримечательность в лице папаши Канкоэля, завсегдатая кафе с 1811 года и столь явного единомышленника собиравшихся тут честных обывателей, что в его присутствии велись самые откровенные беседы на политические темы. Время от времени этот добродушный старик, простоватость которого служила для посетителей кафе предметом постоянных шуток, вдруг исчезал на месяц, на два; но отсутствие старика никого не удивляло; его приписывали недугам, возрасту, ибо еще в 1811 году Канкоэлю было на вид лет за шестьдесят.

– Что случилось с папашей Канкоэлем? – спрашивали, бывало, буфетчицу.

– Я думаю, что в один прекрасный день мы узнаем о его смерти из *Птии афшии*, – отвечала она.

Папаша Канкоэль своим произношением неуклонно удостоверял, откуда он родом: он говорил *эстукан* вместо «истукан», *эсобенный* вместо «особенный», *турк* вместо «турок». Он был из небогатых дворян, владельцев небольшого имения «Канкоэли», что на языке некоторых провинций означает «майский жук», находившегося в департаменте Воклюз, откуда он и приехал. В конце концов его стали называть попросту Канкоэль вместо де Канкоэль, и добряк не обижался, ибо он считал, что с дворянством покончено в 1793 году; впрочем, он был младшим отпрыском младшей ветви, и ленное владение принадлежало не ему. В наши дни одеяние папаши Канкоэля показалось бы странным, но в 1811–1820 годах оно никого не удивляло. Старик носил башмаки со стальными гранеными пряжками, шелковые чулки в синюю и белую полоску, короткие панталоны из плотного шелка с овальными пряжками, похожими по форме на пряжки башмаков. Белый расшитый жилет, потертый фрак из зеленовато-коричневого сукна с металлическими пуговицами и сорочка с плиссированной, заглаженной манишкой завершали его наряд. Между складок манишки поблескивал золотой медальон, сквозь стеклышко которого виднелся сплетенный из волос крошечный храм – одна из очаровательных, милых сердцу мелочей, действующих на людей успокоительно по той же причине, по которой огородное чучело наводит ужас на воробьев; большинство людей, подобно животным, пугаются и успокаиваются из-за пустяков. Панталоны папаши Канкоэля поддерживались поясом, который согласно моде прошлого века стягивался пряжкой под грудью. Из-за пояса свисали рядом две стальные цепочки, составленные из нескольких мелких цепочек, на конце которых болтался пучок брелоков. Белый галстук был застегнут сзади маленькой золотой пряжкой. Наконец, на белоснежных, напудренных волосах еще в 1816 году красовалась муниципальная треуголка, точно такая, как у господина Три, председателя суда. Этот столь дорогой ему убор папаша Канкоэль заменил недавно (добряк счел себя обязанным принести эту жертву своему времени) отвратительной круглой шляпой, против которой не могло быть никаких возражений. Маленькая косичка, перевязанная лентой, начертала на спине фрака полукруг, присыпав этот жирный след легким слоем пудры. Задержав взгляд на самой приметной черте его лица – багровом и бугристом носе, поистине достойном возлежать на блюде с трюфелями, – вы предположили бы, что у почтенного старца, совершенного простака с виду, покладистый, добродушный характер, и вы были бы одурачены, как и все в кафе «Давид», где никому и на ум не пришло бы исследовать лоб, говорящий о наблюдательности, язвительный рот и холодные глаза этого старика, вскормленного пороками, невозмутимого, как Вителлий, и обладавшего таким же, как у него, словно чудом возродившимся, внушительным чревом. В 1816 году молодой коммивояжер, по имени Годиссар, завсегдатай кафе «Давид», однажды к полуночи напился допьяна в обществе отставного наполеоновского офицера. Он имел неосторожность рассказать ему о тайном заговоре против Бурбонов, довольно опасном и уже близком к цели. В кафе не было никого, кроме папаши Канкоэля, дремавшего за своим столиком, двух сонных лакеев и буфетчицы. На другой же день Годиссара арестовали: заговор был раскрыт. Двое погибли на эшафоте. Ни Годиссар, ни кто иной не заподозрили почтенного папашу Канкоэля в доносе. Слуг уволили, посетители в продолжение года следили друг за другом, и все трепетали перед

полицией в полном единодушии с папашей Канкоэлем, который поговаривал о бегстве из кафе «Давид», так велик был его страх перед полицией. Контансон вошел в кафе, спросил рюмочку водки, не взглянув даже на папашу Канкоэля, поглощенного чтением газет; залпом осушив рюмку, он вынул золотой, полученный от барона, и позвал слугу, три раза коротко постучав по столу. Буфетчица и слуга изучали монету с вниманием весьма оскорбительным для Контансона; но их подозрительность была оправдана его внешностью, озадачившей всех завсегдатаев кафе. «Кражей или убийством добыто это золото?» – промелькнуло в уме некоторых неглупых и проницательных людей, с виду всецело занятых чтением газеты, но наблюдавших поверх очков за новым посетителем. Контансон, который все видел и ничему не удивлялся, обтер губы платком, заштопанным всего лишь в трех местах, получил сдачу и, не оставив слуге ни сантима, положил все монеты в жилетный карман, подкладка которого, некогда белая, теперь была черной, как сукно на его панталонах.

– Настоящий висельник! – сказал папаша Канкоэль господину Пильеро, своему соседу.

– Полноте! – ответил громко, на все кафе, господин Камюзо, единственный, кто не выказал ни малейшего удивления. – Ведь это Контансон, правая рука Лушара, нашего торгового пристава. Эти шельмы, должно быть, нащупали кого-нибудь в квартале...

Минут через пятнадцать старик Канкоэль поднялся, взял зонтик и не спеша вышел.

Не следует ли объяснить, какой ужасный и темный человек скрывался под одеянием папашы Канкоэля, подобно тому как под сутаной Карлоса таился Вотрен? Этот южанин, родившийся в Канкоэлях, единственном владении его семьи, кстати довольно почтенной, носил имя Перад. Он действительно принадлежал к младшей ветви рода Ла Перад, старинной, но бедной семьи, владевшей еще и поныне маленьким участком земли Перадов. В 1772 году, седьмой ребенок в семье, он, в возрасте семнадцати лет, пришел пешком в Париж с двумя монетами по шесть ливров в кармане, побуждаемый пороками своего необузданного характера и горячим желанием сделать карьеру, которое столько южан бросает в столицу, едва им становится ясно, что отчий дом никогда не обеспечит их состоянием, достаточным для удовлетворения их страстей. Вся юность Перада станет понятной, если сказать, что в 1782 году он был доверенным лицом, персоной в главном управлении полиции, где его высоко ценили господа Ленуар и Альбер, два последних ее начальника. Революция упразднила полицию, она в ней не нуждалась. Шпионаж, в те времена почти поголовный, именовался гражданской доблестью. Директория – правительство несколько более упорядоченное, нежели Комитет общественного спасения, – была вынуждена восстановить полицию, и первый консул завершил ее созидание, учредив префектуру и министерство полиции. Перад, человек с традициями, подобрал личный состав совместно с неким Корантенем, человеком более молодым, но, кстати сказать, гораздо более искусным, нежели сам Перад, снискавший, впрочем, славу гения лишь в недрах полиции. В 1808 году огромные услуги, оказанные Перадом, были вознаграждены назначением его на высокий пост главного комитета полиции в Антверпене. По мысли Наполеона эта своего рода полицейская префектура соответствовала министерству полиции, и ее миссией было наблюдать за Голландией. По возвращении из похода, в 1809 году, приказом императорского кабинета Перад под конвоем двух жандармов был доставлен на почтовых из Антверпена в Париж и брошен в тюрьму Форс. Два месяца спустя он вышел из тюрьмы под поручительство своего друга Корантена, подвергшись предварительно у префекта полиции троекратному допросу, по шести часов каждый. Не была ли опала Перада вызвана тем, что он с поразительной энергией помогал Фуше в обороне берегов Франции, когда она подвергалась нападению, вошедшему в историю под именем Вальхернской экспедиции, и герцог Отрантский обнаружил способности, испугавшие императора? Во времена Фуше это было лишь предположением; но теперь, когда всем уже известно, что именно произошло тогда в совете министров, созванном Камбасересом, оно превратилось в уверенность. Сраженные известием о попытке Англии отомстить Наполеону за Булонский поход и застигнутые этим событием врасплох, министры не знали,

на что им решиться в отсутствие своего повелителя, который засел тогда на острове Лобоу и, отрезанный от Франции, был обречен на гибель, как думала вся Европа. По общему мнению, необходимо было послать к императору курьера, но один лишь Фуше дерзнул предложить план военных действий, кстати приведенный им в исполнение. «Делайте что хотите, – сказал ему Камбасерес, – но мне *дорога моя голова*, поэтому я посылаю донесение императору». Известно, какой нелепый повод был выдвинут императором по его возвращении в Государственном совете, чтобы лишить милости министра и наказать его за спасение Франции в его отсутствие. С того дня император к неприязни князя Талейрана добавил неприязнь к себе герцога Отрантского – двух видных политических деятелей, порожденных революцией, которые, возможно, спасли бы Наполеона в 1813 году. Чтобы отстранить Перада, было выдвинуто пошлое обвинение во взяточничестве; он якобы поощрял контрабанду, участвуя в дележе прибыли с крупными коммерсантами. Подобное обвинение тяжело отозвалось на человеке, который за важные услуги был пожалован командным жезлом главного комиссара антверпенской полиции. Этот искушенный в своем деле человек владел тайнами всех правительств начиная с 1775 года, первых дней его службы в главном управлении полиции. Император, считавший себя достаточно сильным, чтобы не бояться возвышать полезных людей, однако ж, не принял во внимание ходатайство, с которым к нему позже обратились по поводу этого человека, заслужившего репутацию самого верного, самого ловкого и самого хитрого из тех неведомых гениев, на которых возложены заботы о безопасности государства. Он думал, что возможно заменить Перада Контансоном, но Контансон в то время был всецело поглощен выгодными для себя поручениями Корантена. Распутник и чревоугодник, Перад был тем более жестоко уязвлен, что в отношении женщин он попал в положение пирожника-сластены. Порочные привычки стали его второй натурой: он уже не мог обойтись без хорошего обеда, без азартной игры, – короче, он не мог не жить этой лишенной показного блеска жизнью вельможи, которую ведут все люди, облеченные властью и превратившие в потребность чудовищные свои излишества. Он всегда жил расточительно, ел как хотел, прямо с блюда, и не стремился блистать в обществе, так как ни с ним, ни с его другом Корантенем совсем не считались. Циник и остролов, он, помимо того, любил свое ремесло: это был философ. Впрочем, шпион, какое бы положение в полицейском механизме он ни занимал, подобно каторжнику, не может вернуться к профессии честной и достойной. Однажды отмеченные, однажды занесенные в особые списки, шпионы и осужденные законом приобретают, как и лица духовного звания, некие неизгладимые черты. Есть люди, на которых лежит печать их роковой судьбы, – ее на них накладывает общественное положение. На свое несчастье, Перад страстно любил очаровательную девочку – он считал ее своей дочерью от одной известной актрисы, которой он оказал услугу, за что целых три месяца она дарила его своей признательностью. И вот Перад, выписавший ребенка из Антверпена, очутился в Париже безо всяких средств, получая лишь ежегодное пособие в тысячу двести франков, назначенное полицейской префектурой старому ученику Лемуара. Он поселился на улице Муано, в пятом этаже, в маленькой квартире из пяти комнат, обходившейся в двести пятьдесят франков.

Если человеку суждено когда-либо ощутить пользу и сладость дружбы, то кому, как не прокаженному духом, кого общество называет шпионом, народ – шпиком, администрация – агентом? Итак, Перад и Корантен были друзьями, подобно Оресту и Пиладу. Перад создал Корантена, как Вьен создал Давида, но ученик быстро превзошел учителя. Они провели сообща не одно дело. (См. *«Темное дело»*.) Перад, гордый тем, что открыл таланты Корантена, вывел его в люди, уготовив ему торжество. Он приневолил своего ученика обзавестись в качестве удочки для уловления мужчин любовницей, которая презирала его. (См. *«Шуаны»*.) А Корантену было тогда всего двадцать пять лет! Корантен, один из тех генералов, чьим главнокомандующим являлся министр полиции, сохранил при герцоге де Ровиго высокий пост, который занимал при герцоге Отрантском. Главное управление полиции действовало тогда так

же, как и полиция уголовная. Каждое более или менее крупное дело поручалось, так сказать, сразу же трем, четверем и даже пяти способным агентам. Министр, осведомленный о каком-либо заговоре, кем-то и как-то предупрежденный о готовящемся злодеянии, неизменно говорил одному из начальствующих лиц полиции: «Сколько вам нужно, чтобы добиться такого-то результата?» Корантен или Контансон по зрелом размышлении отвечали: «Двадцать, тридцать, сорок тысяч франков». Затем, как только отдавался приказ действовать, все средства и нужные люди предоставлялись на выбор и усмотрение Корантена или другого назначенного агента. Уголовная полиция действовала таким же образом, когда в раскрытии преступлений принимал участие знаменитый Видок.

Полиция политическая, как и полиция уголовная, вербовала людей главным образом среди агентов, внесенных в списки, постоянных, проверенных сотрудников, своего рода солдат этой тайной армии, столь необходимой правительствам вопреки пышным фразам филантропов или моралистов невысокой морали. Но два или три генерала от полиции того же покроя, что Перад и Корантен, облеченных чрезвычайным доверием, пользовались правом привлекать к делу лиц, неизвестных полиции, однако ж с обязательством отдавать отчет министру в важных случаях. Итак, опытность и проницательность Перада были чрезвычайно ценны для Корантена, и он после шквала 1810 года приблизил к себе старого друга, постоянно с ним советовался и охотно шел навстречу его нуждам. Корантен изыскал способ выхлопотать Пераду пособие в размере тысячи франков в месяц. Со своей стороны, Перад оказал неоценимые услуги Корантену. В 1816 году Корантен в связи с раскрытием заговора, в котором был замешан бонапартист Годиссар, попытался восстановить Перада в должности чиновника главной полиции королевства, но кандидатура Перада была отклонена неким влиятельным лицом. И вот почему. Стремясь упрочить свое положение, Перад, Корантен и Контансон, подстрекаемые герцогом Отрантским, организовали контрполицию для Людовика XVIII, в которой стал служить Контансон и другие виднейшие агенты. Людовик XVIII умер, а с ним и тайны, оставшиеся нераскрытыми для историков, даже наиболее осведомленных. Борьба главной полиции королевства и контрполиции короля породила страшные деяния, тайну которых хранят несколько эшафотов. Здесь не место углубляться в подробности этих событий, да и нет для этого повода, ибо *Сцены парижской жизни* не то что *Сцены политической жизни*; достаточно указать, каковы были средства существования человека, которого в кафе «Давид» называли папашей Канкоэлем, и те нити, которыми он был связан с ужасной и темной властью полиции. С 1817 по 1822 год Корантену, Контансону, Пераду и их агентам часто вменялось в обязанность следить за самим министром. Этим можно объяснить, почему министерство отказалось от услуг Перада и Контансона, на которых Корантен без их ведома направил подозрения министров, желая привлечь к работе своего друга, когда ему показалось, что восстановить его в должности невозможно. Тогда министры возымели доверие к Корантену и поручили ему следить за Перадом, вызвав тем улыбку Людовика XVIII. Таким путем Корантен и Перад оказались господами положения. Контансон, с давних пор связанный с Перадом, по-прежнему служил ему. Он предоставлял себя в распоряжение торговых приставов по приказанию Корантена и Перада. В самом деле, оба этих генерала от полиции, побуждаемые тем особым рвением, что внушается ремеслом, которому отдаешься с любовью, предпочитали расставлять на все те места, где можно было почерпнуть богатые сведения, самых искусных солдат. Притом пороки Контансона, его извращенные наклонности, послужившие причиной более низкого служебного положения, чем у двух его друзей, требовали столько денег, что он вынужден был братья за любую работу. Контансон, не нарушая служебной тайны, сказал Лушару, что ему известен лишь один человек, способный угодить банкиру Нусингену. Перад и в самом деле был единственным агентом, который мог невозбранно заниматься сыском в пользу частного лица. Со смертью Людовика XVIII Перад лишился не только всего своего влияния, но и особых преимуществ личного шпиона его величества. Считая себя человеком незаменимым, он по-прежнему вел

широкий образ жизни. Женщины, хороший стол, а также Иностранный клуб уничтожали всякую возможность экономии у этого человека, обладавшего, как все порочные люди, железным организмом. Но с 1826 по 1829 год, в возрасте чуть ли не семидесяти четырех лет, он, по его выражению, уже шел на тормозах. Перад видел, как год от года уменьшается его благополучие. Он присутствовал при похоронах полиции, он с грустью наблюдал, как правительство Карла X отреклось от ее старых порядков. Палата депутатов от сессии к сессии урезывала ассигнования, потребные для существования полиции, из ненависти к подобному методу управления и ради желания улучшить нравы этого ведомства. «Похоже на то, что они хотят готовить обед в белых перчатках», – сказал Перад Корантену. В 1822 году Корантен и Перад уже предугадывали события 1830 года. Они знали о тайной ненависти Людовика XVIII к своему преемнику, объяснявшей снисходительность короля к младшей линии, а иначе бы его царствование и его политика так и остались бы загадкой без разгадки.

С годами любовь Перада к побочной дочери возрастала. Ради нее он преобразился в буржуа, ибо желал выдать Лидию за порядочного человека. Недаром он мечтал, особенно последние три года, получить видное и почетное место в префектуре полиции либо в Управлении главной королевской полиции. Наконец он придумал должность, насущная необходимость в которой, говорил он Корантену, рано или поздно назреет. Он предлагал учредить при префектуре полиции так называемое *справочное бюро* как посредствующую инстанцию между собственно парижской полицией, полицией уголовной и полицией королевства и тем самым предоставить главному управлению полиции возможность пользоваться всеми этими распыленными силами. Только один Перад в его возрасте, после пятидесяти пяти лет секретной службы, мог быть звеном, связующим три полиции, мог, наконец, стать там архивариусом, к которому в известных случаях обращались бы за сведениями и Политика и Правосудие. Таким путем Перад надеялся с помощью Корантена при первом удобном случае поймать и мужа, и приданое для своей Лидии. Корантен уже говорил по этому поводу с начальником королевской полиции, не упоминая имени Перада, и начальник, южанин, счел нужным внести его предложение на рассмотрение префектуры.

В ту минуту, когда Контансон ударил трижды золотой монетой о стол, что означало: «Мне надо с вами потолковать», патриарх полицейских агентов обдумывал следующую задачу: «При помощи какого человека и чем именно можно заинтересовать нынешнего префекта полиции и заставить его действовать?» А со стороны могло показаться, что он с идиотским видом изучает «Курье франсэ».

«Наш бедный Фуше, этот великий человек, умер! – мысленно говорил он, идя вдоль улицы Сент-Оноре. – Бывшие посредники между Людовиком XVIII и нами в опале! К тому же, как вчера сказал Корантен, никто не доверяет ни ловкости, ни уму семидесятилетнего старца... Ах! Зачем я пристрастился к обедам у Вери, к тонким винам... к песенкам вроде „Мамаша Годишон“... к игре, как только я при деньгах! Чтобы завоевать положение, мало одного ума, как говорит Корантен, надобно еще держать себя с умом! Наш дорогой господин Лемуар как будто напророчил мне, когда, выслушав историю с ожерельем и узнав, что я не остался под кроватью девицы Олива, сказал: „Вы никогда ничего не добьетесь!“»

Если почтенный папаша Канкоэль (в доме так и звали его: «папаша Канкоэль») обосновался на улице Муано, в пятом этаже, поверьте, что он обнаружил в устройстве и расположении квартиры немало особенностей, которые благоприятствовали его ужасному занятию. Дом стоял на углу улицы Нев-Сен-Рох, и с одной стороны соседей у него не было. Помимо того, его надвое разделяла лестница таким образом, что в каждом этаже оказались две совершенно уединенные комнаты. Эти две комнаты были расположены в той половине дома, которая выходила на улицу Сен-Рох. Над пятым этажом помещались мансарды, одна из которых служила кухней, а другую занимала единственная служанка папаши Канкоэля, по имени Катт, – фламандка, выкормившая Лидию. Папаша Канкоэль устроил спальню в первой из двух смежных

комнат, а во второй кабинет. Задняя, капитальная стена кабинета отделяла его от соседнего дома. Из окна, выходящего на улицу Муано, видна была только глухая угловая стена противоположного дома. И так как между кабинетом и лестницей находилась еще спальня Перада, друзья могли, не опасаясь посторонних глаз и ушей, спокойно беседовать в этом кабинете, точно созданном для их страшного ремесла. Из предосторожности Перад устроил в комнате фламандки настил из соломы и, прикрыв его толстым сукном, положил сверху чрезвычайно пушистый ковер, якобы желая угодить кормилице своего ребенка. Более того, он упразднил в квартире камин и топил печь, труба которой выходила сквозь наружную стену на улицу Сен-Рох. Затем он покрыл коврами паркет в своих комнатах, чтобы жильцы нижнего этажа не могли уловить ни малейшего звука. Знаток в искусстве шпионажа, он раз в неделю обследовал смежную стену, потолок и пол, делая вид, что ведет борьбу с докучими насекомыми. Будучи уверен, что тут он огражден от соглядатаев и слушателей, Перад предоставлял этот кабинет Корантену в качестве залы совещаний в тех случаях, когда тот не проводил их у себя. Квартира Корантена была известна лишь начальнику королевской полиции и Пераду, и только в особо важных случаях он принимал у себя лиц, представлявших министерство или двор; но ни один агент, ни один подчиненный там не появлялся: дела, связанные с их ремеслом, обсуждались у Перада. В этой неприглядной комнате в полной безопасности составлялись планы действий, принимались решения, которые послужили бы материалом для своеобразных летописей и занимательных драм, если бы стены могли говорить. Тут, с 1816 по 1826 год, обсуждались дела огромной важности. Тут были обнаружены зачатки событий, которым суждено было обрушиться на Францию. Тут в 1819 году Перад и Корантен, столь же предусмотрительные, как Беляр, генеральный прокурор, но более осведомленные, говорили между собой: «Если Людовик XVIII не решается нанести такой-то или такой-то удар, если он не желает отделаться от такого-то принца, стало быть, он ненавидит своего брата? Стало быть, он хочет оставить ему в наследство революцию?»

Дверь Перада была снабжена грифельной доской, на которой время от времени появлялись странные знаки и числа, написанные мелом. То был род сатанинской алгебры, смысл которой был совершенно ясен для посвященных. Напротив скромного жилья Перада находилась квартира Лидии, состоявшая из прихожей, маленькой гостиной, спальни и туалетной комнаты. Входная дверь ее, как и у Перада, представляла собою целое сооружение из двойного слоя крепких дубовых досок, между которыми был вставлен железный лист девяти миллиметров толщиной, снабженное замками и целой системой крюков, отчего взломать его было бы так же трудно, как взломать двери тюрьмы. И хотя дом этот, с темными сенями, с бакалейной лавкой, был из тех домов, где не водится привратника, Лидия могла чувствовать себя тут в полной безопасности. Столовая, гостиная, спальня, с подвесными ящиками для цветов в окнах, были по-фламандски опрятны и обставлены с некоторой роскошью. Кормилица-фламандка находилась безотлучно при Лидии и называла ее дочуркой. Они обе аккуратно посещали церковь, и благочестие их создало прекрасное мнение о папаше Канкоэле у бакалейщика-роялиста, державшего лавку в этом же доме на углу улицы Муано и Нев-Сен-Рох и занимавшего со всем своим семейством, прислугой, приказчиками первый и второй этажи. В третьем этаже жил владелец дома, четвертый – уже лет двадцать снимал шлифовщик драгоценных камней. У каждого из жильцов был ключ от входной двери. Бакалейщица охотно принимала письма и пакеты, адресованные трем мирным семействам, тем более что на двери бакалейной лавки висел почтовый ящик. Без этого подробного описания иностранцы, и даже те из них, которые хорошо знакомы с Парижем, не могли бы вообразить себе всю полноту покоя заброшенности и безопасности, превращавших этот дом в одну из достопримечательностей Парижа. Папаша Канкоэль мог, начиная с полуночи, измышлять любые козни, принимать шпионов, министров, женщин, девушек, будучи уверен, что никто этого не заметит. Перад слыл превосходным человеком, который «и мухи не обидит!», – как говорила о нем фламандка кухарке бакалейщика. Он ничего не жалел

для своей дочери. Лидия, пройдя школу музыки у Шмуке, настолько преуспела в ней, что могла заниматься и композицией. Она умела рисовать сепией, гуашью, акварелью. По воскресеньям Перад обедал с дочерью. В этот день старик всецело был отцом. Набожная, но отнюдь не ханжа, Лидия говела на Святой неделе и каждый месяц ходила к исповеди. Однако ж она разрешала себе изредка пойти в театр. В хорошую погоду она гуляла в Тюильри. В этом были все ее развлечения, ибо она вела самую замкнутую жизнь. Лидия, обожавшая отца, совершенно не подозревала о его зловещих талантах и темных занятиях. Ни единое желание не смутило чистой жизни этого невинного существа. Стройная, красивая, как ее мать, с очаровательным голосом, тонким личиком, обрамленным прекрасными белокурыми волосами, она напоминала ангелов, скорее сотканых из воздуха, нежели облеченных плотью, которых живописцы эпохи, предшествовавшей Возрождению, рисовали на фоне полотен, изображающих Святое семейство. Синие глаза ее, казалось, изливали небесное сияние на каждого, кого она удостаивала взглядом. От ее целомудренного наряда, чуждого крайностей моды, веяло ароматом добропорядочности. Вообразите отцом этого ангела старого сатану, обретающего новые силы в столь божественной близости, и вы получите представление о Пераде и его дочери. Если бы кто-либо осквернил этот алмаз, отец изобрел бы для казни нечестивца одну из тех адских ловушек, какие привели не одного несчастного на эшафот во время Реставрации. Для Лидии и Катт, которую она называла няней, на расходы по хозяйству было достаточно тысячи экю.

Возвращаясь домой, на улице Муано Перад увидел Контансона; он обогнал его, вошел наверх первым и, услышав на лестнице шаги своего агента, впустил его к себе, прежде чем фламандка успела высунуть нос из дверей кухни. Колокольчик, начинавший звонить, как только открывалась решетчатая дверь в четвертом этаже, где жил шлифовальщик алмазов, извещал жильцов четвертого и пятого этажей о том, что к ним кто-то идет. Само собой разумеется, что после полуночи Перад обертывал ватой язычок колокольчика.

– Что за неотложное дело, Философ?

«Философ» было прозвище, данное Перадом Контансону и вполне заслуженное этим Эпиктетом сыщиков. За именем Контансон скрывалось, увы, одно из древнейших имен нормандской аристократии. (См. *«Братья утешения»*.)

– А то, что можно заработать тысяч десять.

– О чем идет речь? Политика?

– Нет, сущий вздор! О бароне Нусингене, вы его знаете; этот старый матерый волк совсем взбесился: ему нужна женщина, которую он встретил в Венсенском лесу; надо ее найти, или он умрет от любви... Мне сказал его лакей, что вчера был созван консилиум... Я уже выманил у него тысячу франков на поиски этой принцессы.

И Контансон рассказал о встрече Нусингена и Эстер, прибавив, что барон получил какие-то новые сведения.

– Ладно, – сказал Перад, – мы отыщем его Дульцинею; скажи барону, чтобы он приехал в карете сегодня же вечером на Елисейские Поля и ждал на углу авеню Габриель и Мариньи.

Перад выпроводил Контансона и постучал к дочери условленным стуком. Он вошел к ней с веселым видом: случай только что предоставил ему средство получить наконец желанную должность. Поцеловав Лидию в лоб, он опустился в отличное вольтеровское кресло и сказал ей:

– Сыграй мне что-нибудь!..

Лидия исполнила ему пьесу Бетховена для фортепьяно.

– Отлично сыграно, моя козочка, – сказал он, притягивая к себе дочь. – Итак, нам двадцать один год? Пора выходить замуж, ведь нашему папаше уже за семьдесят...

– Я счастлива здесь, – отвечала она.

– Ты любишь только меня, такого безобразного, такого старого? – спросил Перад.

– Но кого же мне еще любить?

– Я обедаю с тобой, моя козочка, предупреди Катт. Я думаю, что наши дела наладятся, я получу должность, подыщу тебе достойного мужа... какого-нибудь славного и даровитого молодого человека, которым в будущем ты могла бы гордиться.

– Мне встретился только один, кого я хотела бы назвать своим мужем...

– Тебе встретился... такой?..

– Да, в Тюильри, – отвечала Лидия, – он проходил рука об руку с графиней де Серизи.

– Его имя?

– Люсьен де Рюбампре!.. Мы с Катт сидели под липами, просто так. А рядом со мной две дамы. Одна из них сказала: «Вот госпожа де Серизи и красавец Люсьен де Рюбампре». Я взглянула на проходившую пару, о которой говорили эти дамы. «Ах, милочка, – сказала другая дама, – есть же такие счастливицы! Такой вот все прощается, потому что она урожденная де Ронкероль и ее муж пользуется влиянием». – «Но, милочка, – отвечала первая дама, – Люсьен ей дорого обходится...» Что она хотела этим сказать, папа?

– Пустая светская болтовня, – отвечал дочери с самым добродушным видом Перад. – Возможно, они намекали на какие-нибудь политические события.

– Так вот! Вы меня спросили, и я отвечаю. Если вы желаете выдать меня замуж, найдите мне мужа, который был бы похож на этого молодого человека.

– Глупенькая, – отвечал отец. – Мужская красота не всегда признак порядочности. Юношам, одаренным привлекательной внешностью, все дается легко в начале их жизненного пути. Они пренебрегают своими дарованиями, поощрение света их развращает, и позже они дорого расплачиваются за это!.. Я хочу дать тебе в мужья такого человека, которому мещане, богачи и глупцы не оказывают ни помощи, ни покровительства.

– Кого же, отец?

– Безвестного гения... Полно же, милая детка, я могу ведь перешарить все парижские чердаки и выполнить твою программу; я найду для тебя человека столь же прекрасного, как тот бездельник, о котором ты мне говоришь, но человека с будущим, одного из тех, кому уготованы слава и богатство. Ах! Вот о чем я не подумал! У меня должен быть целый выводок племянников, и среди них может оказаться юноша, достойный тебя!.. Я напишу или прикажу написать в Прованс!

Странное совпадение! Именно в этот час молодой человек, проделав долгий путь пешком из департамента Воклюз и умирая от голода и усталости, входил через Итальянские ворота в Париже, разыскивая своего дядюшку Перада. В воображении семьи, не знавшей о судьбе этого дядюшки и уверившей себя, что он вернулся миллионером из Индии, папаша Канкоэль являлся оплотом всех ее надежд. Вдохновившись этим романом, сочиненным у камелька, внучатый племянник де Канкоэля, по имени Теодоз, предпринял кругосветное путешествие в поисках сказочного дядюшки.

Насладившись радостями отцовства, которым он отдал несколько часов, Перад, вымыв и выкрасив волосы (пудра была лишь маскировкой), облачившись в добротный, синего сукна, сюртук, застегнутый до самого подбородка, накинув черный плащ, в высоких сапогах на толстых подошвах медленно прохаживался, снабженный личным удостоверением полиции, по авеню Габриель, против садов Елисейского дворца Бурбонов, где его и остановил Контансон, переодетый старой торговкой овощами.

– Господин де Сен-Жермен, – сказал ему Контансон, называя своего бывшего начальника его боевым прозвищем, – вы дали мне возможность заработать пятьсот *финажек* (франков); но если я вас поджидаю здесь, так только для того, чтобы сказать вам следующее: проклятый барон, прежде чем дать их мне, ездил за справками в *заведение* (в префектуру).

– Вероятно, ты мне понадобишься, – отвечал Перад. – Повидайся с номерами седьмым, десятым и двадцать первым, мы пустим их в дело так, что ни полиция, ни префектура этого не заметит.

Контансон подошел с ним к карете, в которой господин Нусинген ожидал Перада.

– Я Сен-Жермен, – сказал южанин барону, подтянувшись до дверцы кареты.

– *Ну, так садись в карет!* – отвечал барон, приказав кучеру ехать к Триумфальной арке на площади Этуаль.

– Вы ездили в префектуру, господин барон? Очень непохвально. Дозвольте узнать, что вы сказали господину префекту и что он вам ответил? – спросил Перад.

– *Я хотел дать пятьсот франк такой мошенник, как Гонданзон, и потому желал бы знать, какой он имеет цену. Я говорил префекту полиций, что желал бы пользоваться агентом по фамилии Перат в атин деликатни порушень и желал бы иметь безграничные доверия... Префект говорил, что ты есть сами ловки агент и сами честни... Вот и все.*

– Теперь, когда господину барону открыли мое настоящее имя, он, возможно, сообразит посвятить меня в суть дела?

Барон, пространно и многословно, с ужасным произношением польского еврея, поведал о своей встрече с Эстер, воспроизвел крик гайдука на запятках кареты и рассказал о тщетных попытках найти незнакомку; в заключение он сообщил о том, что случилось накануне в его доме; о невольной улыбке Люсьена де Рюбампре и об уверенности Бьяншона и некоторых денди, что между этим молодым человеком и незнакомкой существует близкая связь.

– Послушайте, господин барон, вы должны прежде всего вручить мне десять тысяч франков в счет расходов, потому что для вас вся эта история – вопрос жизни; но, так как ваша жизнь – крупное предприятие, надо испробовать все, чтобы найти эту женщину. Ну и попались же вы!

– *Та, я попался...*

– Если понадобится больше, я вам скажу. Барон, доверьтесь мне, – продолжал Перад, – я не шпион, как вы могли бы подумать... В тысяча восемьсот седьмом году я был главным комиссаром полиции в Антверпене, и теперь, когда Людовик Восемнадцатый умер, могу вам открыться: семь лет я руководил его контрполицией. Стало быть, со мной не торгуются. Вы отлично понимаете, господин барон, что нельзя составлять смету на покупку чужой совести прежде, чем изучишь дело. Беспокоиться вам незачем, успех обеспечен. Но не думайте, что меня можно удовлетворить какой-либо суммой, я желаю иного вознаграждения...

– *Надеюсь, не королевство?* – сказал барон.

– Для вас это сущий пустяк.

– *Зогласен!*

– Вы знаете Келлеров?

– *Одшень...*

– Франсуа Келлер – зять графа де Гондревилья, и граф Гондревилья обедал у вас вчера со своим зятем.

– *Кой тьяволь вам это сказаль?..* – вскричал барон. – *Ферно, набольталь Шори!*

Перад усмехнулся. У барона, уловившего его усмешку, зашевелились подозрения насчет своего слуги.

– Граф де Гондревилья без труда может меня устроить на должность, которую я желаю занять в префектуре; префекту полиции ровно через двое суток будет представлена докладная записка по поводу утверждения этой должности, – сказал Перад. – Похлопочите обо мне, добейтесь, чтобы де Гондревилья тоже вмешался в это дело, и погорячее. Вот ваше вознаграждение за услугу, которую я вам окажу. Для меня достаточно вашего слова, ибо, ежели вы ему измените, вы рано или поздно проклянете день, когда вы родились на свет... Порукой слово Перада...

– *Я даю вам честны слоф делайт все, что возможно...*

– Если бы я делал для вас только возможное, этого было бы недостаточно.

– *Карашио, я действуй прямоуино!*

– Прямодушно... Вот и все, о чем я прошу, – сказал Перад, – и прямодушие – это единственный, хоть и несколько непривычный для нас, подарок, которым мы можем обменяться.

– *Прямотушино*, – повторил барон. – *Где ви желайте зойти?*

– За мостом Людовика Шестнадцатого.

– *За мост!* К Законодательни палат, – сказал барон лакею, подошедшему к дверце кареты.

«Теперь-то она уже будет моя!..» – сказал себе барон, отъезжая.

«Какая насмешка судьбы! – думал Перад, идя пешком в Пале-Рояль, где он хотел попытаться счастья в игре, чтобы утроить десять тысяч франков для приданого Лидии. – Я принужден разбираться в делишках молодого человека, с первого же взгляда обворожившего мою дочь. Он, верно, из тех мужчин, у которых *сглаз* на женщин», – сказал он мысленно, употребляя одно из выражений особого жаргона, который он ввел в обиход и который помогал ему и Корантену подытожить свои наблюдения в форме, пусть нередко насилующей язык, зато тем самым придающей ему силу и красочность.

Когда барон Нусинген воротился домой, его нельзя было узнать; он удивил жену и слуг; он был румян, оживлен, даже весел.

– Берегись, акционеры! – сказал дю Тийе Растиньяку.

Вернувшись из Оперы, все пили чай в малой гостиной госпожи Дельфины Нусинген.

– *Та*, – сказал с улыбкой барон, уловив шутку своего собрата, – *я чувствуй желание делать дела...*

– Стало быть, вы виделись с вашей незнакомкой? – спросила госпожа Нусинген.

– *Нет*, – отвечал он, – *только натеюсь видеться*.

– Любят ли так когда-нибудь свою жену?.. – вскричала госпожа Нусинген, ощутив легкую ревность или притворяясь, что ревнует.

– Когда она будет в ваших руках, – сказал дю Тийе барону, – вы пригласите нас отужинать с нею, ведь любопытно посмотреть на существо, которое могло вернуть вам молодость.

– *Лутчи шедефр тфорени!* – отвечал старый барон.

– Он дает себя поймать, как мальчишка, – шепнул Растиньяк Дельфине.

– Полноте! Он достаточно богат, чтобы...

– Чтобы кое-что промотать, не так ли?.. – сказал дю Тийе, перебивая баронессу.

Нусинген ходил взад и вперед по гостиной, точно у него был зуд в ногах.

– Вот удачный момент обратиться к нему с просьбой заплатить ваши новые долги, – шепнул Растиньяк на ухо баронессе.

В эту же самую минуту Карлос, преподавший последние наставления Европе, которой предстояло сыграть главную роль в комедии, придуманной, чтобы одурачить Нусингена, выходил, исполненный надежд, из дверей дома на улицу Тетбу. До бульвара его сопровождал Люсьен, весьма обеспокоенный видом этого полудемона, настолько изменившего свою внешность, что даже он, Люсьен, узнал его только по голосу.

– Где, черт возьми, ты нашел женщину прекраснее Эстер? – спросил он своего развратителя.

– Милый мой, в Париже такую не найдешь. Подобные краски не вырабатываются во Франции.

– Послушай-ка, я все еще ошеломлен... Венера Калипига сложена не лучше! За нее черту душу продашь... Но где ты ее достал?

– Она самая красивая девушка в Лондоне. Напившись джина, она в припадке ревности убила любовника. Любовник этот – отъявленный негодяй, от которого лондонская полиция рада была избавиться. А чтобы дело забылось, девицу отослали на некоторое время в Париж... Распутница получила отличное воспитание. Она дочь какого-то министра, по-французски говорит, как парижанка. Она не знает и никогда не узнает, зачем она тут. Ей сказали,

что она может тянуть из тебя миллионы, надо только тебе понравиться, но что ты ревнив, как тигр, почему ей и предложили вести образ жизни Эстер. Она не знает твоего имени.

– А вдруг Нусинген предпочтет ее Эстер?..

– Ах, вот до чего ты дошел!.. – вскричал Карлос. – Сегодня ты жаждешь того, что тебя ужасало вчера. Будь покоен. У этой белокурой и белотелой девушки голубые глаза, она полная противоположность еврейке; но лишь глаза Эстер способны взволновать такого растленного человека, как Нусинген. Ведь не мог же ты скрывать от света дурнушку, черт возьми! Как только эта кукла сыграет свою роль, я отправлю ее под охраной верного человека в Рим или в Мадрид, пусть там разжигает страсти.

– Если она у нас недолгая гостя, – сказал Люсьен, – ворочусь к ней...

– Ступай, сын мой, забавляйся... Завтрашний день тоже в твоём распоряжении. А я подожду одну особу, которой поручил следить за тем, что творится у барона Нусингена.

– Кто эта особа?

– Любовница его лакея; ведь надобно в любую минуту знать, что происходит у неприятеля.

В полночь Паккар, гайдук Эстер, встретился с Карлосом на мосту Искусств, наиболее удобном месте в Париже, чтобы перекинуться словом, которое не должно быть услышано. Разговаривая, гайдук смотрел в одну сторону, его хозяин – в другую.

– Барон ездил сегодня в префектуру, между четырьмя и пятью часами, – сказал гайдук, – а вечером хвалился, что найдет женщину, которую он видел в Венсенском лесу. Ему обещали.

– За нами будут следить! – сказал Карлос. – Но кто?..

– Уже обращались к услугам Лушара, торгового пристава.

– Бояться его было бы ребячеством! – отвечал Карлос. – Мы должны опасаться только охранного отделения и уголовного розыска, а раз они бездействуют, мы-то уже можем действовать!..

– Есть еще кое-кто!

– Кто же?

– *Дружки с лужка...* Вчера я видел *Чистюльку*... Он затемнил одну семью, и у него на десять тысяч *рыжевья* пятифранковиками.

– Его арестуют, – сказал Жак Коллен. – Это убийство на улице Буше.

– Ваш приказ? – спросил Паккар почтительно: так, вероятно, держал себя маршал, явившийся за приказаниями к Людовику XVIII.

– Выезжать каждый вечер в десять часов, – отвечал Карлос. – Рысью ехать в Венсенский лес, в Медонские леса, в Виль д'Авре. Ежели станут следить, преследовать, не мешай, будь податлив, разговорчив, продажен. Болтай про ревность Рюампре, который без ума от мадам и до смерти боится, как бы не пронюхали важные господа, что любовница у него из тех самых...

– Понятно! Надо вооружиться?..

– Отнюдь нет! – с живостью сказал Карлос – Оружие?.. А на что оно тебе? Натворить бед? Забудь, что при тебе охотничий нож. Чего бояться, если ударом, который я тебе показал, можно переломить ноги самому крепкому человеку?.. Если можно вступить в драку с тремя вооруженными полицейскими в полной уверенности, что двое будут уложены на месте, прежде чем они вытащат свои тесаки?.. Ведь при тебе твоя палка!

– Правильно! – сказал гайдук.

Паккар, прозванный Старой гвардией, Стреляным воробьем, Молодчиной, человек с железными икрами, стальными бицепсами, итальянскими баками, артистическим беспорядком волос, бородкой сапера, с бледным лицом, бесстрастным, как у Контансона, скрывал горячность своего характера и щеголял осанкой полкового барабанщика, отводившей от него все подозрения. Ни один висельник из Пуасси или Мелена не мог бы с ним состязаться в чванстве и самовлюбленности. Джафар этого Гарун-аль-Рашида каторги, он искренне восхищался

им, как Перад восхищался Корантенем. Сей долговязый колосс, неширокий в груди, без лишнего мяса на костях, шагал на своих двух ходулях чрезвычайно важно. Никогда правая нога не ступала, покуда правый глаз не исследовал окружающей обстановки спокойно и молниеносно, как свойственно вора и шпионам. Левый глаз брал пример с правого. Шаг, взгляд, еще шаг, еще взгляд! Поджарый, проворный, готовый на все в любое время, Паккар, умеет он только справиться с заклятым врагом своим, под названием *напиток храбрецов*, был бы, по словам Карлоса, совершенством, в такой степени он обладал талантами, которые необходимы человеку, восставшему против общества; владыке все же удалось убедить своего раба поддаваться *вражеской силе* только по вечерам. Воротившись домой, Паккар поглощал текучее золото, которое ему подносила малыми порциями простоватая толстобрюхая девица из Данцига.

– Будем глядеть в оба, – сказал Паккар, попросившись с тем, кого он называл своим *духовником*, и надевая пышную шляпу с перьями.

Таковы были события, столкнувшие людей столь незаурядных, каждого в своей области, как Жак Коллен, Перад и Корантен; им суждено было сразиться на том же поле боя и развернуть свои таланты в борьбе, где каждым руководили его страсти или его интересы. То было одно из безвестных, но грязных сражений, требующих столько искусства, ненависти, гнева, увертливости, коварства, такого напряжения всех сил, что их хватило бы на то, чтобы составить себе огромное состояние. Имена людей и способы борьбы – все осталось тайной Перада и его друга Корантена, помогавшего ему в этом предприятии, которое было для них детской игрой. Поэтому-то история умалчивает о том, как умалчивает об истинных причинах многих революций. Но вот его последствия.

Пять дней спустя после встречи господина Нусингена с Перадом на Елисейских Полях, поутру, человек лет пятидесяти, одетый в синий костюм довольно элегантного покроя, с белым, как свинцовые белила, лицом, изобличающим дипломата, который ведет светский образ жизни, вышел из великолепного кабриолета, с важным видом государственного человека бросив поводья подхватившему их выездному лакею. Он спросил у слуги, стоящего под перистилем, можно ли видеть барона Нусингена. Лакей почтительно отворил перед ним роскошную зеркальную дверь.

– Как прикажете доложить, сударь?

– Доложите господину барону, что я прибыл с авеню Габриель, – отвечал Корантен. – Но остерегайтесь говорить громко в присутствии лиц посторонних: вы рискуете потерять место.

Минутой позже лакей воротился и проводил Корантена в кабинет барона через внутренние покои.

На непроницаемый взгляд Корантена банкир ответил точно таким же взглядом, после чего они учтиво поздоровались.

– Господин барон, – сказал Корантен, – я прибыл от имени Перада...

– *Превосходно*, – сказал барон, поднявшись, чтобы запереть на задвижку обе двери.

– Любовница господина де Рюампре живет на улице Тетбу, в прежней квартире мадемуазель де Бельфей, бывшей любовницы господина де Гранвиля, генерального прокурора.

– *Ах! так близко!* – вскричал барон. – *Фот смешно!*

– Нетрудно поверить, что вы без ума от этой обворожительной особы, мне доставило истинное наслаждение на нее полюбоваться, – отвечал Корантен. – Люсьен так ревнует эту девушку, что держит ее взаперти. И он горячо любим, потому что, хотя вот уже четыре года, как она живет в квартире Бельфей, в той же обстановке и в тех же условиях, но ни соседи, ни привратник, ни жильцы дома – никто ее ни разу не видел. Принцесса совершает свои прогулки только ночью. Когда она выезжает, занавески на окнах кареты опущены и на мадам густая вуаль. Но и помимо ревности у Люсьена есть причина скрывать эту женщину; он женится на Клотильде де Гранлье, а кроме того, он близкий друг госпожи де Серизи. Естественно, он дорожит и парадной любовницей, и невестой. Стало быть, вы господин положения, потому что

Люсьен ради выгоды и тщеславия пожертвует своим удовольствием. Вы богаты, речь, видимо, идет о вашем последнем счастье, так не скупитесь! Действуйте через горничную, вы добьетесь цели. Дайте служанке тысяч десять франков, она укроет вас в спальне госпожи, и ваши расходы окуплены!

Никакая риторическая фигура не может передать отрывистую, четкую, не допускающую возражений речь Корантена. Барон, видимо, уловил тон этой речи, и его бесстрастное лицо выразило удивление.

– Я пришел просить у вас пять тысяч франков для моего друга, обронившего пять ваших банковых билетов. Небольшая неприятность! – продолжал Корантен самым повелительным тоном. – Перад чересчур хорошо знает свой Париж, чтобы тратиться на объявления; он рассчитывает на вас. Но самое важное не это, – небрежно заметил Корантен, как бы не желая придавать особого значения денежной просьбе. – Ежели вы не хотите огорчений на закате ваших дней, добудьте для Перада должность, о которой он вас просил, вам это ничего не стоит. Начальник королевской полиции должен был вчера получить докладную записку по этому поводу. Надо только, чтобы Гондревиль поговорил с префектом полиции. Так вот! Скажите этому умнику, графу де Гондревиллю, что он должен оказать услугу одному из тех, кто его избавил от господ де Симез, и он примется действовать...

– *Фот, сутарь, полючайт*, – сказал барон, вынув пять билетов по тысяче франков и передавая их Корантену.

– У горничной есть дружок, долговязый гайдук, по имени Паккар. Он живет на улице Прованс, у каретника, и обслуживает господ, которые мнят себя вельможами. Верзила Паккар сведет вас с горничной госпожи Ван Богсек. Наш пьемонтец весьма равнодушен к вермуту, каналья!

Сообщение, не без изящества оброненное, подобно приписке к письму, видимо, и ценилось в пять тысяч франков. Барон пытался разгадать, к породе каких людей принадлежал Корантен; судя по его умственному развитию, он скорее походил на организатора шпионажа, нежели на шпиона, и все же Корантен так и остался для него тем, чем для археолога остается надпись, в которой недостает по меньшей мере трех четвертей букв.

– *Как зфать горнишина?* – спросил он.

– Эжени, – ответил Корантен и вышел, откланявшись барону.

Барон Нусинген, вне себя от радости, бросил дела, контору и воротился к себе в счастливом расположении духа, точно двадцатилетний юноша, предвкушающий радость первого свидания с первой возлюбленной. Барон взял из личной своей кассы все тысячные билеты и положил их в карман фрака. Там было пятьдесят пять тысяч франков – этой суммой он мог осчастливить целую деревню! Но расточительность миллионеров может сравниться лишь с их жадностью к наживе. Как только дело касается их прихотей, страстей, деньги для этих крестов ничто: и верно, им труднее ощутить какое-либо желание, нежели добыть золото. Наслаждение – самая большая редкость в этой жизни, богатой волнениями крупной биржевой игры, пресытившими их черствые сердца. Вот пример. Один из богатейших парижских капиталистов, притом известный своими причудами, встретил однажды на Бульварах красивую юную работницу. Гризетка, сопровождаемая матерью, шла, опираясь на руку молодого человека, одетого с сомнительным щегольством и фатовски покачивавшего бедрами. Миллионер с первого взгляда влюбляется в парижанку; он идет за ней следом, входит к ней в дом; он требует, чтобы она рассказала ему о своей жизни, где балы Мабиль сменяются днями без куса хлеба, а забавы – тяжким трудом; он принимает в ней участие и под монетой в сто су оставляет пять билетов по тысяче франков – свидетельство щедрости, лишенной чести. На следующий день знаменитый обойщик Брашон является за приказаниями к гризетке, отделяет квартиру, выбранную ею, расходует на это тысяч двадцать франков. Работница предается радужным надеждам; она одевает прилично мать, мечтает устроить своего бывшего возлюбленного в контору страхового

общества. Она ждет... день, два дня; потом неделю... две недели... Она считает себя обязанной хранить верность, входит в долги. Капиталист, вызванный в Голландию, забыл о работнице; он ни разу не взошел в рай, куда он вознес ее; и, низвергнувшись оттуда, она пала так низко, как можно пасть только в Париже. Нусинген не играл, Нусинген не покровительствовал искусствам, Нусинген был чужд каких-либо причуд; стало быть, он должен был слепо отдаться страсти к Эстер, на что и рассчитывал Карлос Эррера.

Окончив завтрак, барон послал за Жоржем, своим камердинером, и приказал ему пойти на улицу Тетбу пригласить мадемуазель Эжени, служанку госпожи Ван Богсек, зайти к нему в контору по важному делу.

– *Ти провозжай этот дефушек*, – прибавил он, – *и поднимись в мой комнат. Говори, что он делают себе большой зостоянь.*

Жоржу стоило немалых усилий убедить Европу-Эжени пойти к барону. Хозяйка, говорила она, не разрешает куда-либо отлучаться, она может потерять место и т. д. Но Жорж недаром превозносил свои услуги перед бароном, который дал ему десять луидоров.

– Если мадам выедет нынешней ночью без горничной, – доложил Жорж своему господину, у которого глаза сверкали, как карбункулы, – Эжени придет сюда часов в десять.

– *Карашио! Ти долъжен начинать одевать меня в тefять час... Причесивать, я желай бить одиень красиф...* Думаю, что увижу моя люпофниц, или теньги не есть теньги...

С двенадцати до часу барон красил волосы и бакенбарды. В девять часов барон, принявши ванну перед обедом, занялся туалетом новобрачного, надушился, разрядился в пух. Госпожа Нусинген, предупрежденная об этом превращении, доставила себе удовольствие посмотреть на мужа.

– Боже мой! – сказала она. – Как вы потешны!.. Наденьте хотя бы черный галстук вместо белого; ведь ваши бакенбарды от него кажутся еще жестче; притом, это в стиле Империи, слишком по-стариковски, вы похожи на советника прежней судебной палаты! Снимите алмазные запонки по сто тысяч франков каждая; ведь если эта обезьяна прельстится ими, у вас не останется духу ей отказать, а чем их дарить девке, лучше сделать мне серьги.

Бедный банкир, сраженный справедливостью замечания жены, угрюмо повиновался.

– *Потешни! Потешни!.. Я никогда не говорилъ потешни, когда ви одевались зо всех сил для ваш каспатин те Растиньяк.*

– Надеюсь, вы никогда и не находили меня потешной? Ну-ка, повернитесь!.. Застегните фрак наглухо, кроме двух верхних пуговиц, как это делает герцог де Мофриньез. Словом, старайтесь казаться моложе.

– Сударь, – сказал Жорж, – вот и мадемуазель Эжени.

– *До сфидань, сутаринь!* – вскричал барон. Он проводил жену далее границы, разделявшей их личные покои: он хотел быть уверенным, что она не подслушает разговора.

Воротившись, он с иронической почтительностью взял Европу за руку и провел в свою комнату.

– *Ну, крошка мой, ви одиень сшастлив, потому услужайт сами красиф эженцин мира... Ваш зостоянь сделан, только надо говорить в мой польз, держат мой интерес.*

– Вот чего я не сделаю и за десять тысяч франков! – вскричала Европа. – Поймите, господин барон, я прежде всего честная девушка...

– *Та! Я желай карашио оплатить твой честность. Как говорят в коммерс, это редки случай.*

– Но это еще не все, – сказала Европа. – Если мсье придется мадам не по вкусу, что вполне возможно, она разгневется, и меня выгонят... А место дает мне тысячу франков в год.

– *Даю капиталъ тысяча франк и еще тфацать тысяч. Полючай капиталъ и ничефо не теряй.*

– Коли на то пошло, папаша, – сказала Европа, – это порядком меняет дело. Где деньги?

– *Фот*, – отвечал барон, вынимая один за другим банковые билеты.

Он примечал каждую искру, загорающуюся в глазах Европы при виде каждого билета и выдававшую ее алчность, о которой он догадывался.

– Вы оплачиваете место, но честность, совесть?.. – воскликнула Европа, подняв свою лукавую мордочку и кидая на барона взгляд *seria-buffa*¹³.

– *Софесть стоит дешевле места; но прибавим пять тысяча франк*, – сказал барон, вынимая пять тысячефранковых билетов.

– Нет, двадцать тысяч за совесть и пять тысяч за место, если я его потеряю...

– *Зогласен...* – сказал он, прибавляя еще пять билетов. – *Но чтобы заработать билет, надо меня прятать в комнат твой каспама, ночью, когда он будет отин...*

– Если вы мне обещаете никогда не проговориться о том, кто вас туда привел, я согласна! Но предупреждаю: мадам необычайно сильна и любит господина де Рюбампре как сумасшедшая; и дай вы ей миллион банковыми билетами, она ему не изменит... Глупо, но такой уж у нее характер; когда она любит, она неприступнее самой порядочной женщины, вот как! Если она едет кататься вместе с мсье, редко случается, чтобы мсье возвращался обратно; нынче они выехали вместе, стало быть, я могу вас спрятать в своей комнате. Если мадам вернется одна, я приду за вами; вы обождете в гостиной; дверь в спальню я не закрою, а дальше... Черт возьми! Дальше дело ваше... Будьте готовы!

– *Оттам тебе тфацать тысяча франк в гостини... из рука в рука!*

– А-а! – сказала Европа. – Так-то вы мне доверяете?.. Маловато...

– *Тфой будет иметь много слючай виудить у меня теньги... Мы будем знакоми...*

– Хорошо, будьте на улице Тетбу в полночь; но в таком случае захватите с собой тридцать тысяч франков. Честность горничной оплачивается, как фиакр, гораздо дороже после полуночи.

– *Для осторожность даю тебе чек на банк...*

– Нет-нет, – сказала Европа, – только билетиками, или ничего не выйдет...

В час ночи барон Нусинген, спрятанный в мансарде, где спала Европа, терзался всеми тревогами счастливого любовника. Он жил полной жизнью, ему казалось, что кровь его готова брызнуть из кончиков пальцев, а голова – лопнуть, как перегретый паровой котел.

«Я наслаждался душевно больше, чем на сто тысяч экю», – говорил он дю Тийе, посвящая его в эту историю. Он прислушивался к малейшим уличным шумам и в два часа ночи услышал, как со стороны бульвара подъезжает карета его любимой. Когда ворота заскрипели на своих петлях, сердце у него стало биться так бурно, что зашевелился шелк жилета: значит, он снова увидит божественное страстное лицо Эстер!.. В сердце отдался стук откинутой подножки и захлопнутой дверцы. Ожидание блаженной минуты волновало его больше, чем если бы дело шло о потере состояния.

– *Ах!* – вскричал он. – *Фот жизнь! Даже чересчур жизнь! Я не в зостоянь ничеффо решительно.*

– Мадам одна, спускайтесь вниз, – сказала Европа, показываясь в двери. – Главное, не шумите, жирный слон!

– *Жирни слон!* – повторил он, смеясь и ступая словно по раскаленным железным брусьям.

Европа шла впереди с подсвечником в руках.

– *Тержи, считай*, – сказал барон, передавая Европе банковые билеты, как только они вошли в гостиную.

Европа с самым серьезным видом взяла тридцать билетов и вышла, заперев за собой дверь. Нусинген прошел прямо в спальню, где находилась прекрасная англичанка.

– Это ты, Люсьен? – спросила она.

¹³ Комически-серьезно (*ит.*).

– *Нет, прекрасни крошка!..* – вскричал Нусинген и не окончил.

Он остолбенел, увидев женщину, являвшую собою полную противоположность Эстер: белокурую, а он томился по чернокудрой, хрупкую, а он боготворил сильную! Прохладную ночь Британии вместо палящего солнца Аравии.

– *Послушайте-ка! Откуда вы взялись? Кто вы? Что вам надо?* – крикнула англичанка, напрасно обрывая звонок, не издававший ни единого звука.

– *Я замотала звонок, но не бойтесь... я умель... – сказал он. – Плакаль мои дрицать тысяча франк! Ви действительно лопофнищ каспатин Люсьен те Рюбампре?*

– *Слегка, мой племянничек,* – сказала англичанка, отлично говорившая по-французски. – *Но кто фи такая?* – сказала она, подражая выговору Нусингена.

– *Челюфек, котори попался!..* – отвечал он жалобно.

– *Разве полючат красифи женищин, это есть попался?* – спросила она, забавляясь.

– *Позфольте мне послать вам зафтра драгоценни украшений на память про барон Нюсениан.*

– *Не знай!* – сказала она, хохоча как сумасшедшая. – *Но драгоценность будет любезно принята, мой толстяк, нарушитель семейного покоя.*

– *Ви меня будет помнить! До сфитань, сутаринь. Ви лакомый кусок, но я только бедни банкир, которому больше шестесят лет, и ви заставляль меня почувствовать, как сильна женищин, которую я люплю, потому ваши сферхчелюфечни красота не мог затмевать ее...*

– *Слюшай, одишень миль, что фи это мне говоришь,* – отвечала англичанка.

– *Не так миль, как та, котори мне это внушалъ...*

– *Вы говорили о дрицати тысячах франков... Кому вы их дали?*

– *Ваши мошенник горнична...*

Англичанка позвонила. Европа не замедлила явиться.

– *О!* – вскричала Европа. – *Чужой мужчина в комнате мадам!.. Какой ужас!*

– *Давал он вам тридцать тысяч франков, чтобы войти сюда?*

– *Нет, мадам. Мы обе вместе их не стоим.*

И Европа принялась звать на помощь так решительно, что испуганный барон мигом очутился у двери. Европа спустила его с лестницы...

– *Ах, злодей!* – кричала она. – *Вы донесли на меня госпоже! Держи вора! Держи вора!*

Влюбленный барон, впавший в отчаяние, все же благополучно добрался до кареты, ожидавшей его на бульваре; но он уже не знал, на какого шпиона ему теперь положиться.

– *Не собирается ли мадам отнять у меня мои доходы?* – вскричала Европа, вбегая фурией в комнату.

– *Я не знаю обычаев Франции,* – сказала англичанка.

– *А вот, достаточно мне сказать мсье одно слово, и мадам завтра же выставят за дверь,* – дерзко отвечала Европа.

– *Этот проклятый горнишина,* – сказал барон Жоржу, который, конечно, спросил своего господина, доволен ли он, – *стибриль мой дрицать тысяча франк... но это мой вина, мой большой вина!*

– *Стало быть, туалет вам не помог, мсье? Черт возьми! Не советую, мсье, принимать попусту эти аптечные лепешки.*

– *Шори! Я умирай от горя... Чувствуй холод... Ледяной сердце... Нет больше Эздер, друг мой!*

В трудных случаях Жорж всегда был верным другом своего господина.

Два дня спустя после этой сцены, о которой юная Европа рассказала испанцу, и гораздо забавнее, нежели мы в своем повествовании, потому что рассказ свой она оживила мимикой, Карлос завтракал наедине с Люсьеном.

– Надобно, мой милый, чтобы ни полиция, ни кто иной не совал носа в наши дела, – тихо сказал он, прикуривая сигару о сигару Люсьена. – Это вредно. Я нашел смелый, но верный способ успокоить нашего барона и его агентов. Ты пойдешь к госпоже де Серизи, будешь с ней очень мил. Скажешь, как бы невзначай, что ты, желая помочь Растиньяку, которому уже давно наскучила госпожа Нусинген, согласился служить ему ширмой и прячешь его любовницу. Господин Нусинген, без памяти влюбленный в женщину, которую прячет Растиньяк (это ее позабавит), вздумал обратиться к услугам полиции, чтобы шпионить за тобой, а это, пусть ты и неповинен в проделках твоего земляка, может отразиться на твоих отношениях с семьей Гранлье. Ты попросишь графиню обещать тебе поддержку министра, ее мужа, когда ты обратишься к префекту полиции. Попав на прием к господину префекту, изложи свою жалобу, но как политический деятель, которому скоро предстоит занять свое место в сложной государственной машине, чтобы стать одной из самых важных ее пружин. Как человек государственный, оправдывай полицию, восхищайся ею, начиная с самого префекта. Самые, мол, отменные механизмы оставляют масляные пятна или осыпают вас искрами. Досадуй, но не чрезмерно. Не ставь ничего в вину господину префекту, но посоветуй следить за подчиненными и вырази сочувствие по поводу его неприятной обязанности побранить своих людей. Чем мягче, чем обходительнее ты будешь, тем жестче поступит префект со своими агентами. Тогда мы заживем спокойно и наконец привезем домой Эстер, которая, верно, стонет, как лань, в своем лесу.

Должность префекта в ту пору занимал бывший судейский чиновник. Префекты полиции из бывших судейских всегда оказываются чересчур зелены. Будучи насквозь пропитаны Правом и воображая себя блюстителями Законности, они не дают воли Самовластию, зачастую неизбежному в критических обстоятельствах, когда действия префектуры должны сходствовать с действиями пожарного, обязанного тушить пожар. В присутствии вице-президента Государственного совета префект признал за полицией больше оплошностей, чем было, он сожалел о злоупотреблениях, припомнил посещение барона Нусингена и его просьбу дать сведения о Пераде. Префект, обещав укротить чересчур предприимчивых агентов, поблагодарил Люсьена за то, что он обратился лично к нему, и уверил в нерушимости тайны с таким видом, будто все для него было понятно в этой истории. Министр и префект обменялись пышными фразами о свободе личности и неприкосновенности жилища, причем господин де Серизи дал понять префекту, что если высшие интересы королевства и требуют иногда тайного нарушения законности, то применять это государственное средство в частных интересах – преступно. На другой день, когда Перад шел в свое излюбленное кафе «Давид», где он наслаждался созерцанием общества обывателей, как художник наслаждается созерцанием распускающихся цветов, его остановил на улице жандарм, одетый в штатское платье.

– Я шел к вам, – сказал он ему на ухо. – Мне приказано привести вас в префектуру.

Перад взял фиакр и без малейших возражений поехал вместе с жандармом.

Префект полиции, который расхаживал перед зданием префектуры по аллее садика, тянувшегося в те времена вдоль набережной Орфевр, накинулся на Перада, словно тот был каким-нибудь смотрителем каторжной тюрьмы.

– Не без причины, сударь, вы с тысяча восемьсот девятого года отставлены от административной должности... Разве вам неизвестно, какой опасности вы подвергаете нас и себя?..

Выговор завершился громовым ударом. Префект сурово объявил бедному Пераду, что он не только лишен ежегодного пособия, но к тому же будет находиться под особым надзором. Старик принял этот душ с самым спокойным видом. Нет ничего неподвижнее и безучастнее человека, сраженного несчастьем. Перад проиграл все свои деньги. Отец Лидии рассчитывал на должность, а теперь он мог надеяться лишь на подачки своего друга Корантена.

– Я сам был префектом полиции и отлично понимаю вас, – спокойно сказал старик чиновнику, рисовавшемуся своим судейским величием и при этих словах выразительно пожавшему плечами. – Все же дозволейте мне, ни в чем не оправдываясь, заметить вам, что вы меня еще

не знаете, – продолжал Перад, бросив острый взгляд на префекта. – Ваши слова либо слишком жестки по отношению к бывшему главному комиссару полиции в Голландии, либо недостаточно суровы по отношению к простому сыщику. Однако ж, господин префект, – прибавил Перад после короткого молчания, видя, что префект не отвечает, – когда-нибудь вы вспомните о том, что я буду иметь честь сейчас вам сказать. Я не стану вмешиваться в дела *вашей полиции*, не стану обелять себя, ибо в будущем вы сумеете убедиться, кто из нас был в этом деле обманут: сегодня – это ваш покорный слуга; позже вы скажете: «Это был я».

И он откланялся префекту, который стоял с задумчивым видом, скрывая свое удивление. Он воротился домой, обескураженный, полный холодной злобы против барона Нусингена. Только этот наглый делец мог выдать тайну, хранимую Контансоном, Перадом и Корантенем. Старик обвинял банкира в желании, достигнув цели, уклониться от обещанного вознаграждения. Одной встречи для него было достаточно, чтобы разгадать коварство коварнейшего из банкиров. «Он от всех отделается, даже от нас, но я отомщу, – говорил старик про себя. – Я никогда ни о чем не просил Корантена, но я попрошу его помочь мне вытянуть все жилы из этого дурацкого толстосума. Проклятый барон! Ты еще узнаешь, с кем связался, когда в одно прекрасное утро увидишь свою дочь обесчещенной... Но любит ли он свою дочь?»

В этот вечер, после катастрофы, уничтожившей все надежды Перада, он, казалось, постарел лет на десять. Беседуя со своим другом Корантенем, он выложил ему все свои жалобы, обливаясь слезами, исторгнутыми мыслью о печальном будущем, которое он уготовил своей дочери, своему идолу, своей жемчужине, своей жертве вечерней.

– Мы расследуем, в чем тут дело, – сказал ему Корантен. – Прежде всего надо узнать, правда ли, что донес на тебя барон. Осмотрительно ли мы поступили, понадеявшись на Гондревилля? Этот старый умник чересчур многим нам обязан, чтобы не попытаться нас съесть; я прикажу также следить за его зятем Келлером, он невежда в политике и чрезвычайно способен впутаться в какой-нибудь заговор, направленный к свержению старшей ветви в пользу младшей... Завтра я узнаю, что творится у Нусингенов, видел ли барон свою возлюбленную и кто это так ловко натянул нам нос... Не унывай! Начнем с того, что префект долго не удержится... Время чревато революциями, а революции для нас что мутная вода, – в ней и рыбку ловить.

С улицы послышался особый свист.

– Вот и Контансон! – сказал Перад, поставив на подоконник свечу. – И дело касается меня лично.

Минутой позже верный Контансон предстал перед двумя карликами от полиции, которых он почитал великанами.

– Что случилось? – спросил Корантен.

– Есть новости! Выхожу я из сто тринадцатого, где проигрался в пух. Кого же я вижу, сойдя в галереи? Жоржа! Барон его прогнал, он подозревает, что Жорж – сыщик.

– Вот действие моей невольной улыбки, – сказал Перад.

– О, сколько я видел несчастий, причиненных улыбками!.. – заметил Корантен.

– Не считая тех, что причиняют ударом хлыста, – сказал Перад, намекая на дело Симеза. (См. «Темное дело».) – Однако ж, Контансон, что случилось?

– А вот что! – продолжал Контансон. – Я развязал Жоржу язык, позволив угостить себя рюмочками всех цветов, и он охмелел; что касается меня, то я, должно быть, что-то вроде перегонного куба! Итак, наш барон, напичкавшись султанскими лепешками, побывал на улице Тетбу. Он нашел там красавицу, о которой вы знаете. Но его ловко разыграли: эта англичанка вовсе не его *неизфестни*!.. А он выложил тридцать тысяч франков, чтобы подкупить горничную. Глупец! Воображает себя великим дельцом, потому что малые дела обделывает большими средствами; переверните фразу – и вот вам задача, решение которой находит умный человек. Барон воротился в жалком состоянии. На следующий день Жорж, разыгрывая из себя добро-

детель, сказал своему господину: «Зачем мсье прибегает к услугам людей, по которым веревка плачет? Ежели бы мсье пожелал обратиться к моей помощи, я нашел бы его незнакомку, ведь тех примет, которые даны мне господином бароном, вполне для меня достаточно, я обшарю весь Париж». – «Ступай, – сказал ему барон. – Я тебя щедро вознагражу!» Жорж мне все это рассказал с самыми потешными подробностями. Но... не знаешь, когда гром грянет! На другой день барон получает анонимное письмо примерно такого содержания: «Господин Нусинген умирает от любви к неизвестной женщине, он уже истратил много денег попусту; ежели он пожелает, то может нынче же увидеть свою любовь... Для этого ему лишь надо к полуночи быть в конце моста Нейи и, позволив надеть себе повязку на глаза, сесть в карету с гайдуком из Венсенского леса на запятках. Господин барон богат, он может усомниться в чистоте наших намерений, поэтому мы не возражаем, если он возьмет с собою своего верного Жоржа. Никого, кроме них, в карете не будет». Барон вечером отправляется туда с Жоржем, ни слова Жоржу не говоря. Обоим завязывают глаза и на голову набрасывают покрывало. Барон узнал гайдука. Через два часа карета, которая несется, как карета Людовика Восемнадцатого (Господь да успокоит его душу! знал толк в полиции этот король!), останавливается в лесу. С барона снимают повязку, и он видит в карете, остановившейся тут же, свою незнакомку, которая – фюить! – и поминай как звали. А карета привозит банкира (с такой же скоростью, как Людовика Восемнадцатого) обратно к мосту Нейи, где его ожидает собственная карета. В руках у Жоржа оказывается записка, гласящая: «Сколько билетов по тысяче франков господин барон ассигнует на то, чтобы быть представленным незнакомке?» Жорж передает записку барону, а барон, заподозрив Жоржа в стоворе либо со мною, либо с вами, господин Перад, выгоняет Жоржа. Ну и болван банкир! Барону следовало выгнать Жоржа, но только после того, как он сам бы *ночеваль з неизфестни*.

– Жорж видел женщину?.. – спросил Корантен.

– Да, – сказал Контансон.

– Ну-у! И какова она собой? – вскричал Перад.

– О! Жорж твердил только одно: истинное чудо красоты!..

– Нас разыгрывают плуты хитроумнее нас! – воскликнул Перад. – Эти мошенники дорого продадут барону свою женщину.

– Ja, mein Herr¹⁴, – отвечал Контансон. – Потому-то, узнав, что вам устроили разнос в префектуре, я и заставил Жоржа проболтаться.

– Желал бы я узнать, кто меня одурачил, – сказал Перад. – Мы померились бы с ним оружием!

– Нам надо уподобиться мокрицам, – сказал Контансон.

– Он прав, – сказал Перад, – надо проскользнуть во все щели, подслушивать, выжидать...

– Мы изучим этот особняк, – согласился Корантен. – А куда мне тут делать нечего.

Будь же благоразумен, Перад. Мы должны по-прежнему повиноваться господину префекту...

– А господину Нусингену полезно отворить кровь, – заметил Контансон. – Слишком много у него тысячных билетов в венах...

– Однако ж в них было приданое Лидии! – шепнул Перад Корантену.

– Контансон, пора спать; пожелаем же нашему Пераду... ни пуха ни пера... да!..

– Сударь, – сказал Контансон Корантену, едва они переступили порог, – какую забавную разменную операцию учинил бы наш старик!.. Каково! Выдать замуж дочь ценою... Ха-ха-ха! Каков сюжетик для премилой и назидательной пьесы под названием «Приданое девушки!».

– Ах, как здорово все вы созданы, вся ваша братия! Какой тонкий слух у тебя! – сказал Корантен Контансону. – Решительно, природа вооружает все виды своих творений качествами, необходимыми для тех услуг, которых она ждет от них! Общество – это вторая Природа!

¹⁴ Да, сударь (нем.).

– Чрезвычайно философское рассуждение, – воскликнул Контансон. – Профессор развил бы из него целую теорию!

– Будь начеку! – усмехнувшись, продолжал Корантен, шагавший по улице рядом с шпионом. – Примечай, как пойдут дела господина Нусингена с незнакомкой... в общих чертах... мелочами не занимайся...

– Поглядим, не запахнет ли жареным! – сказал Контансон.

– Такой человек, как барон Нусинген, не может быть счастливым *incognito*, – продолжал Корантен. – К тому же нам, для которых люди – лишь карты, не пристало позволять себя обигрывать!

– Черта с два! С таким же успехом может мечтать осужденный отрубить голову палачу! – вскричал Контансон.

– Вечно у тебя на языке шуточка, – отвечал Корантен, не сдержав улыбки, обозначившейся на этой гипсовой маске чуть заметными морщинками.

Дело было чрезвычайно важное само по себе, независимо от последствий. Если не барон предал Перада, кому еще была нужна видеться с префектом полиции? Корантен должен был выяснить, нет ли среди его людей предателей. Ложась спать, он спрашивал себя о том же, о чем думал и передумывал Перад: «Кто ходил жаловаться в префектуру?.. Чья любовница эта женщина?..» Таким образом, Жак Коллен, Перад и Корантен, сами того не зная, шли навстречу друг другу; и несчастная Эстер, Нусинген и Люсьен были обречены вступить в начавшуюся уже борьбу, которой самолюбие, свойственное прислужникам полиции, должно было придать ужасающие формы.

Благодаря ловкости Европы удалось расплатиться с самыми неотложными долгами из тех шестидесяти тысяч долга, который тяготел над Эстер и Люсьеном. Доверие заимодавцев несколько не было нарушено. Люсьен и его соблазнитель получили некоторую передышку. Как два затравленных хищных зверя, они, полакав воды у края болота, могли опять рыскать дорогой опасностей, по которой сильный вел слабого либо к виселице, либо к славе.

– Нынче, – сказал Карлос своему воспитаннику, – мы идем ва-банк, но, по счастью, карты краплены, а понтеры *желторотые!*

В последнее время Люсьен, покорный наказу страшного наставника, усердно посещал госпожу де Серизи. Это должно было отвести от Люсьена подозрение в том, что его любовница – продажная девка. Впрочем, в любовных утехах, в увлекательной светской жизни он черпал забвение. Повинуясь мадемуазель Клотильде де Гранлье, он встречался с нею лишь в Булонском лесу и на Елисейских Полях. На другой день после заключения Эстер в доме лесничего ее посетил ужасный и загадочный человек, угнетавший ее душу, и предложил ей подписать три вексельных бланка, на которых стояли зловещие слова: *обязуюсь уплатить шестьдесят тысяч франков* — на первом; *обязуюсь уплатить сто двадцать тысяч франков* — на втором; *обязуюсь уплатить сто двадцать тысяч франков* — на третьем. На триста тысяч франков обязательств! Поставив слово *«расписываюсь»*, вы даете обычную долговую расписку. Слова «обязуюсь уплатить» превращают ее в вексель и принуждают подписавшегося к платежу под страхом ареста. Эти слова навлекают на того, кто опрометчиво поставит под ними свою подпись, пять лет тюрьмы – наказание, почти никогда не налагаемое судом исправительной полиции и применяемое уголовным судом лишь к злодеям. Закон об аресте за неуплату долгов – пережиток варварства, сочетающий глупость и драгоценное свойство быть бесполезным, поскольку плуты всегда вне пределов его досягаемости. (См. *«Утраченные иллюзии»*.)

– Надо, – сказал испанец Эстер, – помочь Люсьену выпутаться из затруднения. Правда, у нас шестьдесят тысяч долга, но, может статься, эти триста тысяч нас выручат.

Карлос, пометив векселя задним числом, месяцев на шесть ранее, перевел их на Эстер, как на плательщика, от лица некоего человека, не оцененного по достоинству исправитель-

ной полицией, похождения которого, наделавшие в свое время немало шума, скоро забылись, заглушенные бурей великой июльской симфонии 1830 года.

Молодой человек, отважнейший из проходимцев, сын судебного исполнителя в Булони, близ Парижа, носил имя Жорж-Мари Детурни. Отец, вынужденный около 1824 года продать свою должность при малоблагоприятных обстоятельствах, оставил сына безо всяких средств, предварительно дав ему блестящее воспитание, на котором помешались мелкие буржуа! В двадцать три года молодой и блестящий питомец юридического факультета уже отрекся от отца, напечатав на визитных карточках свою фамилию следующим образом:

ЖОРЖ Д'ЭТУРНИ

Карточка сообщала его личности аромат аристократизма. Этот денди имел дерзость завести тильбюри, грума и часто посещать клубы. Все объяснялось просто: наперсник содержанок, он играл на бирже, располагая их средствами. В конце концов он предстал перед судом исправительной полиции по обвинению в пользовании чересчур счастливыми картами. Сообщниками его были совращенные им молодые люди, его приверженцы, обязанные ему чем-либо, шалопаи того же разбора. Принужденный бежать, он пренебрег обязательством оплатить разницу на бирже. Весь Париж, Париж биржевых хищников, крупных промышленников, завсегдаев клубов и бульваров, еще и теперь содрогается при воспоминании об этом двойном мошенничестве.

В дни своего великолетия Жорж д'Этурни, красавец собою и в общем славный малый, щедрый, как предводитель воровской шайки, покровительствовал Торпиль в продолжение нескольких месяцев. Лжеиспанец основал свой расчет на коротких отношениях Эстер с прославленным мошенником, что нередко наблюдается среди женщин этого сорта.

Жорж д'Этурни, честолюбец, осмелевший от успехов, взял под свою защиту человека, прибывшего из глубокой провинции обделывать дела в Париже и обласканного либеральной партией за то, что он мужественно переносил гонения во время борьбы прессы против правительства Карла X, свирепость которого умерилась при министерстве Мартиньяка. Тогда-то и был помилован господин Серизе, этот ответственный редактор, прозванный Отважный Серизе.

И вот Серизе, якобы поддерживаемый верхами левой, основывает торговый дом, объединивший собою и коммерческое агентство, и банк, и комиссионную контору. В торговом мире это то же самое, что *прислуга за все*, как она именуется в объявлениях «Птит афиш». Серизе был чрезвычайно счастлив связаться с Жоржем д'Этурни, который завершил его развитие.

Эстер на основании анекдота о Нинон могли считать верной хранительницей части состояния Жоржа д'Этурни. Передаточная надпись на вексельном бланке, сделанная *Жоржем д'Этурни*, обратила Карлоса Эррера в обладателя ценностей собственного производства. Этот подлог становился совершенно безопасным с той минуты, когда кто-либо, будь то мадемуазель Эстер или кто иной вместо нее, мог или вынужден был заплатить. Собрав сведения о торговом доме Серизе, Карлос признал в его владельце одну из темных личностей, решивших составить себе состояние, но... законно.

Серизе, подлинный хранитель состояния д'Этурни, был обеспечен солидными суммами, вложенными в биржевую игру на повышение и позволявшими ему выдавать себя за банкира. Так ведется в Париже: презирают человека, но не его деньги.

Карлос отправился к Серизе с намерением воспользоваться его услугами, потому что он случайно оказался обладателем всех тайн этого достойного соратника д'Этурни.

Отважный Серизе жил во втором этаже, на улице Гро-Шене, и Карлос, таинственно приказавший доложить, что он пришел от имени Жоржа д'Этурни, войдя в скромный кабинет, увидел мнимого банкира, бледного от страха. Это был низенький человек с белокурыми редкими волосами, в котором Карлос, по описанию Люсьена, узнал того, кто предал Давида Сешара.

– Мы можем тут говорить спокойно? Нас не подслушают? – обратился к нему испанец, теперь превратившийся в англичанина, рыжеволосого, в синих очках, столь же опрятного, столь же пристойного, как пуританин, направляющийся в церковь.

– К чему эти предосторожности, сударь? – спросил Серизе. – Кто вы такой?

– Вильям Баркер, заимодавец господина д'Этурни; но я могу, ежели вы этого желаете, доказать необходимость запереть двери. Мы знаем, сударь, каковы были ваши отношения с Пти-Кло, Куэнте и Сепирами из Ангулема...

Услышав эти слова, Серизе кинулся к двери, притворил ее, подбежал к другой двери, выходящей в спальню, запер на засов, бросив незнакомцу: «Тише, сударь!» Затем, пристально взглядываясь в мнимого англичанина, он спросил:

– Что вам от меня нужно?

– Боже мой! – продолжал Вильям Баркер. – Каждый за себя в этом мире. У вас капиталы этого бездельника д'Этурни... Успокойтесь, я пришел не для того, чтобы их у вас требовать; но по моему настоянию этот мошенник, который, между нами говоря, заслуживает веревки, передал мне вот эти ценные бумаги, сказав, что есть кое-какая надежда их реализовать; а так как я не хотел предъявлять иск от своего имени, он сказал, что вы не откажете мне в вашем.

Серизе посмотрел на векселя и сказал:

– Но его уже нет во Франкфурте...

– Я это знаю, – отвечал Баркер, – однако ж он мог еще быть там, когда переводил векселя на меня...

– Но я не желаю нести за них ответственность, – сказал Серизе.

– Я не прошу у вас жертвы, – продолжал Баркер, – вам ведь могут поручить их принять, вы и предъявите векселя к уплате, ну а я берусь произвести взыскание.

– Я удивлен таким недоверием ко мне со стороны д'Этурни, – продолжал Серизе.

– Зная его положение, – отвечал Баркер, – нельзя его порицать за то, что он припрятал свои деньги в разных местах.

– Неужели вы думаете?.. – спросил этот мелкий делец, возвращая мнимому англичанину векселя, подписанные им по всем правилам.

– ... Я думаю, что вы, конечно, сэкономите его капиталы! – сказал Баркер. – Уверен в том!

Они уже брошены на зеленое сукно биржи.

– Мое личное состояние зависит...

– ...от того, удастся ли вам создать видимость их потери, – сказал Баркер.

– Сударь!.. – вскричал Серизе.

– Послушайте, дорогой господин Серизе, – сказал холодно Баркер, перебивая Серизе. – Вы оказали бы мне услугу, облегчив получение денег у должника. Будьте любезны написать письмо, в котором вы сообщите, что передаете мне эти ценные бумаги, учтенные в пользу д'Этурни, и что судебный исполнитель при взыскании обязан считать предъявителя письма владельцем этих трех векселей.

– Угодно вам назвать себя?

– Никаких имен! – отвечал английский капиталист. – Пишите: *«Предъявитель сего письма и векселей...»* Ваша любезность будет хорошо оплачена...

– Каким образом?.. – спросил Серизе.

– Одним-единственным словом. Вы ведь не собираетесь покинуть Францию, не так ли?

– О нет, сударь!

– Так вот, Жорж д'Этурни никогда не воротится во Францию.

– Почему?

– Как мне известно, человек пять собираются его прикончить, и он об этом знает.

– Теперь я понимаю, почему он просит у меня денег на дешевый товар для Индии! – вскричал Серизе. – Но, к несчастью, он надоумил меня вложить все сбережения в государ-

ственные процентные бумаги. Мы уже должны разницу банкирскому дому дю Тийе. Я еле перебиваюсь.

– Выходите из игры!

– О! Если бы я знал обо всем этом раньше! – вскричал Серизе. – Я упустил целое состояние...

– Еще одно слово! – сказал Баркер. – Молчание... вы способны его хранить... – И – в чем я менее уверен – верность! Мы еще увидимся, и я вам помогу составить состояние.

Заронив надежду в эту грязную душу и тем самым надолго заручившись его молчанием, Карлос под видом того же Баркера отправился к судебному исполнителю, человеку надежному, и поручил ему добиться судебного решения против Эстер.

– Вам заплатят, – сказал он исполнителю. – Это дело чести! Мы хотим лишь держаться закона.

В коммерческом суде в качестве представителя мадемуазель Эстер выступал поверенный, приглашенный Баркером, так как он желал, чтобы в решении суда отразились прения сторон. Судебный исполнитель, памятуя о просьбе действовать учтиво, взял дело в свои руки и пришел сам наложить арест на имущество на улице Тетбу, где был встречен Европой. Как только приговор о принудительном взыскании был объявлен, над Эстер нависла реальная угроза в виде трехсот тысяч неоспоримого долга. Вся эта история не потребовала от Карлоса особой изобретательности. Подобный водевиль с мнимыми долгами в Париже разыгрывается чрезвычайно часто. Там существуют *подставные* Гобсеки, *подставные* Жигонне; за известное вознаграждение они соглашаются участвовать в таком казусе, потому что их забавляют эти грязные проделки. Во Франции все, что ни делается, делается со смехом, даже преступление. Так совершаются и вымогательства, когда строптивые родители или жадная скупость вынуждены *уступить* перед острой необходимостью или мнимым бесчестьем. Максим де Трай весьма часто прибегал к этому средству, заимствованному из комедий старинного репертуара. Однако ж Карлос Эррера, желавший сберечь честь своего сана и честь Люсьена, воспользовался подлогом вполне безопасным и слишком вошедшим в практику, чтобы им заинтересовалось правосудие. Близ Пале-Рояля существует, говорят, биржа, где торгуют поддельными векселями, где за три франка вам продадут подпись.

Прежде чем завести речь об этих ста тысячах эку, предназначенных стоять на страже у дверей спальни, Карлос твердо решил принудить господина Нусингена предварительно уплатить еще сто тысяч франков. И вот каким путем. Азия, разыгрывая, по его приказанию, роль старухи, осведомленной о делах прекрасной незнакомки, явилась к влюбленному барону. И по сей день художники, изображающие нравы, выводят на сцену многих ростовщиков, но они забывают о современной ростовщице, госпоже *Сводне*, личности чрезвычайно любопытной, именуемой для пристойности *торговкой поддержанными вещами*, роль которой могла сыграть свирепая Азия, владелица двух лавок – одной у Тампля, другой на улице Сен-Марк, которыми управляли две преданные ей женщины. «Ты опять влезешь в одежду госпожи де *Сент-Эстев*», – сказал ей Эррера. Он пожелал видеть, как оделась Азия. Мнимая сводня появилась в шелковом, затканном цветами платье, ведущем свое происхождение от занавесок, украденных из какого-нибудь опечатанного будуара, в шали, бывшей когда-то кашемировой, а теперь изношенной, непригодной для продажи и кончающей свое существование на плечах подобных женщин. На ней были воротничок из великолепных, но расплзающихся кружев и ужасная шляпа; зато она была обута в туфли ирландской кожи, из которых ее толстая нога выпирала, точно подушка в наволочке из черного прозрачного шелка.

– А какова пряжка на поясе! – сказала она, указывая на подозрительное ювелирное изделие, украшавшее ее объемистый живот, – Каков вкус! А мой *турнюр*... Как он мило уродует меня! О, мадам Нуррисон меня лихо одела!

– Будь лстива для начала, – сказал ей Карлос, – будь настороже, будь недоверчива, как кошка; главная твоя задача – пристыдить барона за то, что он обратился к помощи полиции, но и виду не подавай, что ты боишься ее агентов. Короче, дай понять клиенту более или менее ясно, что никакая полиция в мире не пронюхает, где спрятана красавица. Заметай хорошенько следы... А когда барон даст тебе право хлопать его по животу, называть *старым греховодником*, стань дерзкой, понукай им, как лакеем.

Нусинген, испуганный угрозами никогда более не увидит сводни, если он прибегнет хоть к малейшей слежке, тайком встречался с Азией, посещая по пути на биржу убогую квартиру во втором этаже на улице Нев-Сен-Марк. О, эти грязные тропы, исхоженные, и с каким наслаждением, влюбленными миллионерами! Парижские мостовые знают о том. Госпожа де Сент-Эстев, то обнадеживая барона, то повергая его в отчаяние, достигла того, что он пожелал любой ценой знать все, касающееся незнакомки!..

Тем временем судебный исполнитель действовал, и весьма успешно, ибо со стороны Эстер не встречал никакого противодействия. Он выполнил поручение в законный срок, не опоздав ни на один день.

Люсьен, направляемый своим советчиком, посетил раз пять или шесть сен-жерменскую затворницу. Жестокий исполнитель всех этих коварных умыслов почел свидания необходимыми для Эстер, опасаясь, чтобы не увяла ее красота, ставшая их капиталом. Когда наступило время покинуть дом лесничего, он вывел Люсьена и бедную куртизанку на пустынную дорогу, откуда был виден Париж и где их никто не мог услышать. Они сели на ствол срубленного тополя, и в свете восходящего солнца перед ними открылся великолепнейший в мире пейзаж с водами Сены, Монмартром, Парижем и Сен-Дени на горизонте.

– Дети мои, – сказал Карлос, – ваш сон окончился. Ты, моя крошка, не увидишь более Люсьена; а если и увидишь, помни, что встречалась с ним лет пять назад, и то лишь мимоходом.

– Вот и пришла моя смерть! – сказала она, не уронив ни одной слезы.

– Полно, уже пять лет, как ты больна, – продолжал Эррера. – Вообрази, что у тебя чахотка, и умирай, не докучая нам твоими стенаниями. Но ты убедишься, что еще можешь жить, и даже очень хорошо!.. Оставь нас, Люсьен, ступай собирать *сонеты*, – сказал он, указывая на близлежащий луг.

Люсьен кинул на Эстер жалобный взгляд, присущий людям безвольным и алчным, с чувствительным сердцем и низкой натурой. Эстер в ответ склонила голову, точно желая сказать: «Я выслушаю палача, чтобы знать, как мне лечь под топор, и у меня достанет мужества достойно умереть». В этом движении было столько изящества и столько отчаяния, что поэт зарыдал; Эстер подбежала к нему, сжала его в объятиях, губами осушила его слезы и сказала: «Будь покоен!» – так, как говорят в бреду, с горящими глазами и лихорадочными движениями.

Карлос начал излагать точно, без обиняков, зачастую грубо называя вещи своими именами, безвыходность положения Люсьена, отношение к нему в доме де Гранлье, стал рисовать картины прекрасной жизни, уготованной ему, если он восторжествует; наконец, он поставил Эстер перед необходимостью принести себя в жертву ради этого блистательного будущего.

– Что я должна сделать? – воскликнула она в крайнем возбуждении.

– Слепо повиноваться мне, – сказал Карлос. – Какие причины вам жаловаться? В вашей воле избрать себе завидную участь. Ваш путь – путь Туллии, Флорины, Мариетты и Валь-Нобль, ваших прежних приятельниц; вы станете любовницей богача, не любя его. Если ваши замыслы осуществляются, ваш возлюбленный будет достаточно богат, чтобы сделать вас счастливой.

– Счастливой! – повторила она, поднимая глаза к небу.

– Вы провели в раю четыре года, – продолжал он. – Разве нельзя жить воспоминаниями?

– Повинуюсь вам, – отвечала она, утирая наворачнувшиеся слезы. – Об остальном не тревожьтесь! Вы сами сказали, что моя любовь – болезнь смертельная.

– Это еще не все, – снова заговорил Карлос. – Вы должны сохранить вашу красоту. Вам двадцать два года, ваша красота в расцвете, этим вы обязаны вашему счастью. Короче, превратитесь снова в Торпиль, проказницу, расточительницу, коварную, безжалостную к миллионеру, которого я отдаю на вашу волю. Послушайте!.. Этот человек – крупный биржевой хищник, он чужд жалости, он разжирел на средства вдов и сирот, будьте мстительницей!.. Азия приедет за вами в фиакре, и нынче же вечером вы воротитесь в Париж. Дать повод для подозрения, что вы четыре года были в связи с Люсьеном, – значит пустить ему пулю в лоб. Если спросят, где же вы были все это время, отвечайте, что вас увез англичанин, чрезвычайно ревнивый, и вы совершили с ним длительное путешествие. Когда-то у вас доставало ума нести всякий вздор, восстановите свои способности...

Случалось ли вам когда-либо видеть сверкающего золотом, парящего в небесах бумажного змея, гигантскую бабочку детства?.. Дети на миг забывают о веревке, прохожий ее обрывает, метеор, как говорят школьники, клюет носом и падает с головокружительной быстротой на землю. Так было с Эстер, когда она услышала слова Карлоса.

Часть вторая. Во что любовь обходится старикам

Нусинген в продолжение недели приходил почти каждый день в лавку на улице Нев-Сен-Марк, где он вел торг о выкупе той, которую любил. Там, среди вороха ослепительных нарядов, пришедших в то ужасное состояние, когда платья уже не платья, но еще и не рубища, царила Азия, то под именем де Сент-Эстев, то под именем госпожи Нуррисон, своей наперсницы. Обрамление находилось в полном согласии с обликом, которое придавала себе эта женщина, ибо подобные лавки являются одной из самых мрачных достопримечательностей Парижа. Там видишь отрепья, брошенные костлявой рукой Смерти, там из-под шали слышится чахоточный хрип, и под золотым шитьем наряда угадываешь агонию нищеты. Жестокий поединок Роскоши и Голода запечатлен в воздушных кружевах. Там из-под тюрбана с перьями возникает образ королевы, настолько живо этот убор рисует и почти воссоздает отсутствующее лицо. Уродство в красоте! Бич Ювенала, занесенный равнодушной рукой оценщика, расшвыривает облезшие муфты, потрепанные меха доведенных до крайности жриц веселья. Кладбище цветов, где там и тут алеют розы, срезанные накануне и служившие украшением один лишь день, и где на корточках извечно восседает старуха, сводная сестра Лихоимства, беззубая, лысая Случайность, готовая продать содержимое оболочки, настолько она привыкла покупать самую оболочку: платье без женщины или женщину без платья! Тут, точно надсмотрщик на каторге, точно ястреб с окровавленным клювом над падалью, Азия была в своей стихии: она внушала еще больший ужас, чем тот, который овладевает прохожим, когда он вдруг увидит свое самое юное, самое свежее воспоминание выставленным напоказ в грязной витрине, за которой гримасничает настоящая Сент-Эстев, ушедшая на покой.

Распалаясь все более и более, за десятком тысяч франков обещая новые десятки тысяч франков, банкир дошел до того, что предложил шестьдесят тысяч франков госпоже Сент-Эстев, которая ответила ему отказом, кривляясь на зависть любой обезьяне. Проведя тревожную ночь в размышлениях о том, какое смятение внесла Эстер в его жизнь, он однажды утром, после неожиданной удачи на бирже, пришел наконец в лавку с намерением выбросить сто тысяч франков, как того требовала Азия, но выманив у нее предварительно всякого рода сведения.

– Все-таки решился, забавник толстопузый? – сказала Азия, хлопнув его по плечу.

Терпимость к самой оскорбительной развязности в обращении – первый налог, который женщины этого сорта взимают с необузданных страстей или с доверившейся им нищеты; никогда не поднимаясь до уровня клиента, они принуждают его сесть рядом с собою в мусорную кучу.

Азия, как мы видим, была совершенно послушна своему господину.

– *Прихотится*, – сказал Нусинген.

– И тебя не обирают, – ответила Азия. – Продавали женщин и дороже, чем ты платишь за эту. Сравнительно, конечно. Женщина женщине рознь! Де Марсе дал за покойницу Корали шестьдесят тысяч франков. Цена твоей красотки была сто тысяч, из первых рук; но для тебя, видишь ли, старый развратник, назначить другую цену неприлично.

– *А кто же он?*

– Ах, ты ее еще увидишь! Я как ты: из рук в руки!.. Ах, драгоценный ты мой, и натворил же глупостей твой предмет!.. Молодые девушки безрассудны. Наша принцесса сейчас настоящая ночная красавица.

– *Красафиц...*

– Нашел время разыгрывать простофилю! Ее преследует Лушар. Так я одолжила ей пятьдесят тысяч...

– *Сказаль би тфацать пять!* – вскричал барон.

– Черт возьми! Двадцать пять за пятьдесят, само собою, – отвечала Азия. – Эта женщина, надобно отдать ей справедливость, сама честность! Кроме собственной персоны, у нее не осталось ничего. Она мне сказала: «Душенька, госпожа Сент-Эстев, меня преследуют, и только вы могли бы меня выручить: одолжите двадцать тысяч франков! В залог отдаю мое сердце...» О! Сердце у нее золотое!.. И одной только мне известно, где красotka скрывается. Проболтайся я, и плакали бы мои двадцать тысяч франков... Прежде она жила на улице Тетбу. Перед тем как уехать оттуда... (Обстановка ведь у ней описана... в возмещение судебных издержек. И негодяи же эти приставы!.. Вам-то это известно, ведь вы биржевой делец!) Так вот, не будь глупа, она отдает внаем на два месяца свою квартиру англичанке, шикарной женщине, у которой любовником был этот фатишка Рюампре. Он так ее ревновал, что вывозил кататься только ночью... Ведь обстановку будут продавать с аукциона, и англичанка оттуда убралась, а впрочем, она была не по карману такому вертопраху, как Люсьен...

– *Ви сняли банк*, – сказал Нусинген.

– Натурой, – сказала Азия. – Ссужаю красивых женщин. Дело доходное: учитываешь две ценности сразу.

Азия потешалась, *переигрывая* роль женщины алчной, но более вкрадчивой, более мягкой, чем сама малайка, оправдывающей свое ремесло лишь благими побуждениями. Азия выдавала себя за женщину, которая разочаровалась в жизни, потеряла детей и пятерых любовников и давала, несмотря на свою опытность, *обкрадывать* себя всему свету. Время от времени она извлекала на свет божий ломбардные квитанции в доказательство невыгодности своего ремесла. Она жаловалась на недостаток средств, на множество долгов. Короче говоря, она была так откровенно отвратительна, что барон в конце концов поверил в подлинность того лица, которое она изображала.

– *Карашио! Но когда би я давал сто тысяча, я получал би сфидань?* – сказал он, махнув рукой, как человек, решившийся идти на любые жертвы.

– Нынче же вечером, папаша, пожалуйешь в своей карете, ну, скажем, к театру Жимназ. Это для начала, – сказала Азия. – Остановишься на углу улицы Сент-Барб. Я буду там сторожить; мы покатым к моему чернокудрому залогу... Уж и кудри у моего сокровища, краше их нет! Будто шатер укрывают они Эстер, стоит ей только вынуть гребень. Но ежели в цифрах ты и смекаешь, во всем прочем ты, по-моему, простофиля; советую тебе хорошенько спрятать девчонку, иначе ее упекут в Сент-Пелажи, и не позже как завтра, если отыщут... а ее ищут.

– *Я мог би выкупать вексель?* – сказал неисправимый хищник.

– Векселя у судебного пристава... но тут придраться не к чему, да это и бесполезно. Девчонка, видите ли, отделалась от одной страстишки и проела имущество, которое у нее теперь требуют. И то сказать: в двадцать-то два года сердце ведь не прочь пошутить!

– *Карашио, карашио! Я долъжен наводить порядок*, – сказал Нусинген с хитрым видом. – *Атин словф, я буду покровитель деффушка.*

– Ну и олух же ты! У тебя одна забота – заставить себя полюбить, а монеты у тебя хватит, чтобы купить отличную подделку под настоящую любовь. Передаю принцессу в твои руки, и пусть повинуется тебе! Об остальном я не беспокоюсь... Но она приучена к роскоши, к самому почтительному обращению. Ах, милуша, ведь она женщина порядочная!.. Иначе разве я дала бы ей пятнадцать тысяч франков?

– *Ну, карашио, дело решон. До вечер!*

Барон снова принялся за туалет новобрачного, однажды уже им совершенный; но на этот раз уверенность в успехе заставила его удвоить дозу султанских пилюль. В девять часов он встретил страшную старуху в условленном месте и посадил ее к себе в карету.

– *Кута?* – сказал барон.

– Куда? – повторила Азия. – Улица Жемчуга на Болоте; подходящий адресок, ведь твоя жемчужина в грязи, но ты ее отмоешь!

Когда они туда прибыли, мнимая госпожа Сент-Эстев с отвратительной улыбкой сказала Нусингену:

– Пройдемся немного пешком, я не так глупа, чтобы давать настоящий адрес.

– *Ты все предусмотреть,* – отвечал Нусинген.

– Таково мое ремесло, – заметила она.

Азия привела Нусингена на улицу Барбет, где они вошли в дом, занятый под меблированные комнаты, которые содержал местный обойщик, и поднялись на пятый этаж. Увидев Эстер, склонившуюся над вышиванием, бедно одетую, среди убого обставленной комнаты, миллионер побледнел. Понадобилось четверть часа, – Азия тем временем что-то нашептывала Эстер, – покамест молодящийся старец обрел дар речи.

– *Мотмазель,* – сказал он наконец бедной девушке, – *вы будете так добр, что примете меня как ваш покровитель?*

– Что станешь делать, сударь, – сказала Эстер, и из ее глаз скатились две крупные слезы.

– *Не надо плакать. Я делаю вас самой счастливой женщиной... Но только пощадите любить вас, и вы это увидите!*

– Деточка, этот господин разумный человек, – сказала Азия. – Он хорошо знает, что ему уже стукнуло шестьдесят шесть лет, и он будет снисходителен. Одним словом, ангел мой прекрасный, я тебе нашла отца... С ней надо так говорить, – шепнула Азия на ухо обескураженному барону. – Ласточек не ловят, стреляя в них из пистолета. Подите-ка сюда! – сказала Азия, выпроваживая Нусингена в смежную комнату. – Не запамятовали о нашем условии, ангелок?

Нусинген вынул из кармана фрака бумажник и отсчитал сто тысяч франков, которые кухарка и принесла Карлосу, спрятанному в туалетной и ожидавшему с нетерпением ее прихода.

– Вот сто тысяч франков, помещаемых нашим клиентом в Азии; теперь мы заставим его поместить столько же в Европе, – сказал Карлос своей напернице, когда они вышли на лестничную площадку.

Он исчез, дав наставления малайке, вернувшейся затем в комнату, где Эстер плакала горячими слезами. Как преступник, присужденный к смерти, это дитя создало роман из надежд, и роковой час пробил.

– Ну, милые детки, – сказала Азия, – куда же вы отправитесь? Ведь барон Нусинген...

Эстер взглянула на знаменитого барона, изобразив жестом искусно сыгранное удивление.

– *Та, мой дитя, я барон Нюсениан.*

– Барон Нусинген не должен, не может находиться в такой конуре. Послушайте меня! Ваша бывшая горничная Эжени...

– *Эжени? Улиц Тетбу?!* – вскричал барон.

– Ну да, хранительница описанной мебели, – продолжала Азия, – она-то и сдавала квартиру красавице-англичанке...

– *А-а! Я понимаю,* – сказал барон.

– Бывшая горничная мадам, – продолжала Азия почтительно, указывая на Эстер, – прелюбезно примет вас нынче вечером, ведь торговому приставу на ум не придет искать мадам в квартире, откуда она выехала три месяца назад.

– *Превосхотно!* – вскричал барон. – *Притом я знаю торговца пристав и знаю слюбу, чтобы он исчезал...*

– Тонкая бестия достанется вам в Эжени, – сказала Азия, – это я пристроила ее к мадам...

– *Я знаю Эжени!* – вскричал миллионер, смеясь. – *Он стибрил мой драцать тысяча франк.*

Движение ужаса вырвалось у Эстер; ее жест был так убедителен, что благородный человек доверил бы ей свое состояние.

– *О! Это мой ошибка*, – продолжал барон, – *я преследовал вас*. – И он рассказал о недоумении, вызванном сдачей квартиры англичанке.

– Как вам это нравится, мадам? – воскликнула Азия. – Эжени и словом не обмолвилась, плутовка! Но мадам слишком привыкла к этой девушке, – сказала она барону. – Не стоит ее увольнять. – Азия отвела барона в сторону и продолжала:

– От Эжени за пятьсот франков в месяц – а надо сказать, что она прикапливает деньжонки, – вы узнаете все, что делает мадам; приставьте ее горничной к мадам. Эжени будет вам предана тем более, что уже вас пообщипала. Ничто так не привязывает женщину, как удовольствие общипать мужчину. Но держите Эжени в узде: она ради денег на все пойдет! Ужас, что за девчонка!

– *А ты?..*

– Я? – сказала Азия. – Я возмещаю свои издержки.

У Нусингена, столь пронизательного человека, была точно повязка на глазах: он вел себя как ребенок. Стоило ему увидеть простодушную и прелестную Эстер, которая, склонясь над рукоделием, отирала слезы, скромная, словно юная девственница, и в этом влюбленном старце ожили все чувства, испытанные им в Венсенском лесу. Он готов был отдать ей ключ от своей кассы. Он снова был молод, сердце преисполнилось обожания, он ожидал ухода Азии, чтобы приникнуть к коленям этой Мадонны Рафаэля. Внезапный взрыв юношеских страстей в сердце старого хищника – одно из социальных явлений, легче всего объясняемых физиологией. Подавленная бременем дел, придушенная постоянными расчетами и вечными заботами в погоне за миллионами, молодость, с ее возвышенными мечтаниями, оживает, зреет и расцветает, подобно брошенному зерну, давшему пышное цветение под лаской проглянувшего осеннего солнца, – так давняя причина, повинувшись случайности, приводит к своему следствию. Двенадцати лет поступив на службу в старинную фирму Альдригера в Страсбурге, барон никогда не соприкасался с миром чувств. Вот почему, стоя перед своим идолом и прислушиваясь к тысяче фраз, роившихся в его мозгу, но не находя ни одной из них у себя на устах, он подчинился животному желанию, которое выдало в нем мужчину шестидесяти шести лет.

– *Желайте поехать на улиц Тетбу?* – спросил он.

– Куда пожелаете, сударь, – отвечала Эстер, вставая.

– *Кута пожелайте!* – повторил он в восхищении. – *Ви анкел, который зоиель з небес; я люблю, как молодой челюфек, хотя мой волос уше с проседь...*

– Ах, вы можете смело сказать: хотя я сед! Чересчур ваши волосы черны, чтобы быть с проседью, – сказала Азия.

– *Пошоль вон, торгофка челюфически тело! Ти полючалъ теньги, не пачкай больше цфеток люпфи!* – вскричал барон, вознаграждая себя этой грубой выходкой за все наглости, которые он претерпел.

– Ладно, старый повеса! Ты поплатишься за эти слова! – сказала Азия, сопровождая свою угрозу жестом, достойным рыночной торговли, но барон только пожал плечами. – Между рыльцем кувшина и рылом выпивохи достанет места гадюке, тут я и есть!.. – сказала она, обозленная презрением Нусингена.

Миллионеры, у которых деньги хранятся во Французском банке, особняки охраняются отрядом лакеев, а их собственная особа на улицах защищена стенками кареты и быстроногими английскими лошадьми, не боятся никакого несчастья; оттого барон так холодно взглянул на Азию, – ведь он только что дал ей сто тысяч франков! Его величественный вид оказал свое действие. Азия, что-то ворча себе под нос, предпочла отступить на лестницу, где держала чрезвычайно революционную речь, в которой упоминалось об эшафоте!

– Что вы ей сказали?.. – спросила дева за пяльцами. – Она добрая женщина...

– *Он продалъ вас, он вас обокраль...*

– Когда мы в нищете, – отвечала она, и выражение ее лица способно было разбить сердце дипломата, – смеем ли мы ожидать помощи и внимания?

– *Бедни дитя!* – сказал Нусинген. – *Ни минута больше не оставайтесь здесь!*

Нусинген подал руку Эстер, он увел ее, в чем она была, и усадил в свою карету с такой почтительностью, какую едва ли оказал бы прекрасной герцогине де Мофриньез.

– *Вы будете полющать красифи экипаж, самый красифи в Париши,* – говорил Нусинген во время пути. – *Весь роскошь, весь прелятность роскоши вас будет окружать. Королева не будет затмевать вас богатством. Почет будет окружать вас, как невест в Германиши; я делаю вас счастлив. Не надо плакать. Послушайте, я люблю вас настояща, чиста люпоф, каждой ваш слеза разбивает мой сердце...*

– Разве любят продажную женщину? – сказала девушка пленительным голосом.

– *Иозиф был же продан братьями за свою красоту. Так в Пиплиши. К тому же на Восток покупают свой законный жена!*

Воротившись на улицу Тетбу, где она была так счастлива, Эстер не утаила горестных чувств. Неподвижно сидела она на диване, роняя слезы одну за другой, не слыша страстных признаний, которые бормотал на своем варварском жаргоне барон.

Он приник к ее коленям, она не отстраняла его, не отнимала рук, когда он прикасался к ним; она, казалось, не сознавала, какого пола существо обогревает ее ноги, показавшиеся холодными Нусингену. Горячие слезы капали на голову барона, а он старался согреть ее ледяные ноги, – эта сцена длилась с двенадцати до двух часов ночи.

– *Эшени,* – сказал барон, позвав наконец Европу, – *добейтесь от ваш госпожа, чтобы он ложилься...*

– Нет! – вскричала Эстер, сразу взметнувшись, как испуганная лошадь. – Здесь? Никогда!..

– Извольте сами видеть, мсье! Надо знать мадам, она ласковая и добрая, как овечка, – сказала Европа банкиру, – только не надо идти ей наперекор, а вот обходительностью вы все с ней сделаете! Она была так несчастна тут!.. Поглядите! Мебель-то как потрепана! Оставьте-ка ее в покое. Сняли бы для нее какой-нибудь славный особнячок, куда как хорошо! Как знать, может, и забудет она про старое в новой обстановке, может, вы покажетесь ей лучше, чем вы есть, и она станет нежной, как ангел? О, мадам ни с кем не сравнится! И вы можете себя поздравить с отличным приобретением: доброе сердце, милые манеры, тонкая щиколотка, кожа... ну, право, роза! А как остра на язык! Приговоренного к смерти может рассмешить... А как она привязчива! А как умеет одеться! Что ж! Пусть и дорого, но, как говорится, мужчина свои расходы окупит. Тут все ее платья опечатаны; наряды, стало быть, отстали от моды на три месяца. Знайте, мадам так добра, что я ее полюбила, и она моя госпожа! Ну, посудите сами, такая женщина... и вдруг очутиться среди опечатанной обстановки!.. И ради кого? Ради бездельника, который так ловко ее обошел... Бедняжка! Она сама не своя.

– *Эздер... Эздер...* – говорил барон. – *Ложитесь, мой анкел! Ах! Если ви боитесь меня, я побуду тут, на этот диван!* – вскричал барон, восплавленный самой чистой любовью, видя, как неутешно плачет Эстер.

– Хорошо, – отвечала Эстер и, взяв руку барона, поцеловала ее в порыве признательности, что вызвало на глазах у матерого хищника нечто весьма похожее на слезу, – я очень благодарна вам за это...

И она ускользнула в свою комнату, заперев за собою дверь.

«Тут есть нечто необъяснимое, – сказал про себя Нусинген, возбужденный пилюлями. – Что скажут дома?»

Он встал, посмотрел в окно: «Моя карета все еще здесь... А ведь скоро утро...»

Он прошелся по комнате: «Ну и посмеялась бы мадам Нусинген, если бы узнала, как я провел эту ночь...»

Он приложился ухом к двери спальни, сочтя, что лечь спать было бы чересчур глупо.
– Эздер!..

Никакого ответа.

«Боже мой! Она все еще плачет!..» – сказал он про себя и, отойдя от двери, лег на кушетку.

Минут десять спустя после восхода солнца барон Нусинген, забывшийся тяжелым, вымученным сном, лежа на диване в неудобном положении, был внезапно разбужен Европой, прервавшей одно из тех сновидений, что обычно грезятся в подобных случаях и по своей запутанности и быстрой смене образов представляют одну из неразрешимых задач для врачей-физиологов.

– Ах, боже мой! Мадам! – кричала она. – Мадам!.. Солдаты... Жандармы! Полиция!.. Они хотят вас арестовать...

В ту секунду, когда Эстер, отворив дверь спальни, появилась в небрежно наброшенном пеньюаре, в ночных туфлях на босу ногу, с разметавшимися кудрями, такая прекрасная, что могла бы соблазнить и архангела Рафаила, дверь из прихожей изрыгнула в гостиную поток человеческой грязи, устремившейся на десяти лапах к этой небесной деве, которая застыла в позе ангела на фламандской картине из Священной истории. Один человек выступил вперед. Контансон, страшный Контансон опустил руку на теплое от сна плечо Эстер.

– Вы мадемуазель Эстер Ван?.. – начал он.

Европа наотмашь ударила Контансона по щеке, вслед за тем она заставила его выяснить, сколько ему нужно места, чтобы растянуться во весь рост на ковре, нанеся ему резкий удар по ногам, хорошо известный всем, кто сведущ в искусстве так называемой *ножной борьбы*.

– Назад! – вскричала она. – Не смей трогать мою госпожу!

– Она сломала мне ногу! – кричал Контансон, поднимаясь. – Мне за это заплатят...

Среди пяти сыщиков, одетых, как полагается сыщикам, в ужасных шляпах, нахлобученных на еще более ужасные головы, с багровыми, в синих прожилках, лицами – у кого с косыми глазами, у кого с кривым ртом, а у кого и без носа, – выделялся Лушар, одетый опрятнее других; но он тоже не снял шляпу, и выражение его лица было вместе заискивающее и насмешливое.

– Мадемуазель, я вас арестую, – сказал он Эстер. – Что касается вас, дочь моя, – сказал он Европе, – за всякое буйство грозит наказание, и всякое сопротивление напрасно.

Стук ружейных прикладов о пол в столовой и прихожей, возвещая, что сыщик снабжен охраной, подкрепил эти слова.

– За что же меня арестуют? – наивно спросила Эстер.

– А наши долги? – отвечал Лушар.

– Ах, верно! – воскликнула Эстер. – Позвольте мне одеться.

– К сожалению, я должен удостовериться, мадемуазель, нет ли в вашей комнате какой-нибудь лазейки, чтобы вы от нас не убежали, – сказал Лушар.

Все это произошло так быстро, что барон не успел вмешаться.

– *Кариши! Так это я торкофка челофчески тело, парон Нюсениан?* – вскричала страшная Азия, проскользнув между сыщиками к дивану и якобы только что обнаружив присутствие барона.

– *Мерзки негодниц!* – вскричал Нусинген, представ перед нею во всем своем величии финансиста.

И он бросился к Эстер и Лушару, который снял шляпу, услышав возглас Контансона:

– Господин барон Нусинген!..

По знаку Лушара сыщики покинули квартиру, почтительно обнажив головы. Остался один Контансон.

– Господин барон платит?.. – спросил торговый пристав, держа шляпу в руке.

– *Платит,* – отвечал барон, – *но раньше я должен знать, в чем тут дело?*

– Триста двенадцать тысяч франков с сантимами, включая судебные издержки; расход по аресту сюда не входит.

– *Триста тфенацать тысяча франк!* – вскричал барон. – *Это слишком дорогой пробужденный день для челофека, который проводил ночь на диван,* – шепнул он на ухо Европе.

– Неужто этот человек барон Нусинген? – спросила Европа у Лушара, живописуя свои сомнения жестом, которому позавидовала бы мадемуазель Дюпон, актриса, еще недавно исполнявшая роли субреток во французском театре.

– Да, мадемуазель, – сказал Лушар.

– Да, – отвечал Контансон.

– *Я отвечаю за ней,* – сказал барон, задетый за живое сомнением Европы, – *позвольте сказать атин слоф.*

Эстер и ее старый обожатель вошли в спальню, причем Лушар почел необходимым прилечь ухом к замочной скважине.

– *Я люблю вас больше жизни, Эстер; но зачем давать кредитор теньги, для которых лучше место ваш кошелек? Ступайте в тюрьма: я берусь выкупать этот сто тысяча экю за сто тысяч франк, и вы будете иметь тфести тысяча франк для сфой карман...*

– План непригоден! – крикнул ему Лушар. – Кредитор не влюблен в мадемуазель!.. Вы поняли? Отдай весь долг, и то ему покажется мало, как только он узнает, что вы увлечены ею.

– *Шут горохови!* – вскричал Нусинген, отворив дверь и впуская Лушара в спальню. – *Ты не знаешь, что говоришь. Ты будешь получать тфцацать процент, если проведешь этот дело...*

– Невозможно, господин барон.

– Как, сударь? У вас достанет совести, – сказала Европа, вмешиваясь в разговор, – допустить мою госпожу до тюрьмы!.. Желаете, мадам, взять мое жалованье, мои сбережения? Берите их! У меня есть сорок тысяч франков...

– Ах, бедняжка! А я и не знала, какая ты! – вскричала Эстер, обнимая Европу.

Европа залилась слезами.

– *Я желаю платить,* – жалостно сказал барон, вынимая памятную книжку, откуда он взял маленький квадратный листок печатной бумаги, какие банк выдает банкирам, – достаточно проставить на нем сумму в цифрах и прописью, и этот листок превращается в вексель, оплачиваемый предъявителю.

– Не стоит труда, господин барон, – сказал Лушар. – Мне приказано произвести расчет наличными, золотом или серебром. Но ради вас я удовольствуюсь банковыми билетами.

– *Тьяволь!* – вскричал барон. – *Покажи наконец твой документ!*

Контансон предъявил три документа в обложке из синей бумаги; глядя Контансону в глаза, барон взял их и шепнул ему на ухо:

– *Ты лучше бы предупредьдаль меня.*

– Но разве я знал, господин барон, что вы здесь? – отвечал шпион, не заботясь о том, слышит ли их Лушар. – Вы многое потеряли, отказав мне в доверии. Вас обирают, – прибавил этот великий философ, пожимая плечами.

– *Ферно!* – сказал барон. – *Ах! Мой дитя!* – вскричал он, увидев векселя и обращаясь к Эстер. – *Вы жертва мошенник! Фот мерзавец!*

– Увы, да! – сказала бедная Эстер. – Но он так меня любил!

– *Если бы я зналь... я опротестоваль би от ваш имени...*

– Вы теряете голову, господин барон, – сказал Лушар. – Есть третий предъявитель.

– *Та,* – продолжал барон, – *есть третий предъявитель... Серизе! Челофек, который всегда протестоваль!*

– У него мания остроумия, – сказал с усмешкой Контансон, – он каламбурит.

– Не пожелает ли господин барон написать несколько слов своему кассиру? – спросил Лушар, улыбнувшись. – Я пошлю к нему Контансона и отпущу людей. Время уходит, и огласка...

– *Ступай, Гонданзон!* – вскричал Нусинген. – *Мой кассир живет на угол улиц Мадюрен и Аркат. Фот записка, чтобы он пошел к тю Тиле и Келлер. Случайно мы не держали дома сто тысяча экю, потому теньги все в банк... Одевайтесь, мой анкел!* – сказал он Эстер. – *Вы свободен! Старух,* – вскричал он, бросив взгляд на Азию, – *опасней молодых!..*

– Иду потешить кредитора, – сказала ему Азия. – Он-то уж меня не обидит; и попирую же я нынче! *Не будем сердца, каспатин парон...* – прибавила Сент-Эстев, отвратительно приседая на прощание.

Лушар взял документы у барона, и они остались наедине в гостиной, куда полчаса спустя пришел кассир, сопровождаемый Контансоном. Тут же появилась Эстер в восхитительном наряде, хотя и не обдуманном заранее. Когда Лушар сосчитал деньги, барон пожелал проверить векселя, но Эстер выхватила их кошачьим движением и спрятала в свой письменный столик.

– Сколько же вы пожертвуете на всю братию? – спросил Контансон Нусингена.

– *Ви не бил одиень учтив,* – сказал барон.

– А моя нога? – вскричал Контансон.

– *Люшар, давай сто франк Гонданзон от остаток тысячни билет...*

– *Очень красифи жсеници,* – сказал кассир барону Нусингену, покидая улицу Тетбу, – *но очен дорог, каспатин парон.*

– *Сохраняйт секрет,* – сказал барон; Контансона и Лушара он также просил держать все в тайне.

Лушар вышел вместе с Контансоном, но Азия, подстерегавшая их на бульваре, остановила торгового пристава.

– Судебный пристав и кредитор тут, в фиакре; от нетерпения они готовы лопнуть, – сказала она. – И здесь можно *пожизвиться!*

Покамест Лушар считал капиталы, Контансон успел разглядеть клиентов. Всем своим видом выказывая равнодушие к происходящему, он тем не менее запомнил глаза Карлоса, заметил форму лба под париком, и именно парик показался ему подозрительным; он записал номер фиакра, но в особенности занимали его воображение Азия и Европа. Он решил, что барон стал жертвой чрезвычайно ловких людей, тем более что Лушар, прибегая к его услугам, на этот раз обнаружил удивительную осторожность. Притом подножка, которую дала ему Европа, поразила не только его берцовую кость. «Прием пахнет Сен-Лазаром!» – сказал он про себя, подымаясь с полу.

Карлос расстался с судебным приставом, щедро его вознаградив, и сказал кучеру:

– Пале-Рояль, к подъезду!

«Вот тебе раз! – подумал Контансон, услышав этот адрес. – Тут что-то нечисто!..»

Карлос доехал до Пале-Рояля с такой быстротою, что мог не опасаться погони. Потом он, по своему обычаю, пересек галереи и на площади Шато-д'О взял другой фиакр, бросив кучеру: «Проезд Оперы! Со стороны улицы Пинон». Четверть часа спустя он был на улице Тетбу.

Увидев его, Эстер сказала:

– Вот эти несчастные документы!

Карлос взял векселя, проверил; затем пошел в кухню и сжег их в печке.

– Шутка сыграна! – вскричал он, показывая триста десять тысяч франков, свернутых в одну пачку, которую он вытащил из кармана сюртука. – Вот это, да еще сто тысяч франков, добытых Азией, позволяют нам действовать.

– Боже мой! Боже мой! – воскликнула бедная Эстер.

– Дура! – сказал этот расчетливый человек. – Стань открыто любовницей Нусингена, и ты будешь встречаться с Люсьеном, он друг Нусингена. Я не запрещаю тебе любить его!

Эстер во мраке ее жизни приоткрылся слабый просвет; она вздохнула свободнее.

– Европа, дочь моя, – сказал Карлос, уводя эту тварь в угол будуара, где никто не мог подслушать их беседы, – Европа, я доволен тобой.

Европа подняла голову, и взгляд, брошенный ею на этого человека, настолько преобразил ее поблекшее лицо, что свидетельница сцены, Азия, сторожившая у двери, задумалась над тем, не крепче ли ее собственных те узы, которые сковывали Европу с Карлосом.

– Это еще не все, дочь моя. Четыреста тысяч франков ничто для меня... Паккар вручит тебе опись серебра, стоимостью до тридцати тысяч франков, на которой есть пометка о платежах в разные сроки в счет следуемой суммы; но наш ювелир Биден потерпел на этом убыток. Объявление о распродаже обстановки Эстер, на которую он наложил арест, появится, наверно, завтра. Пойди к Бидену, на улицу Арбр-Сэк, он даст тебе ломбардные квитанции на десять тысяч франков. Понимаешь, Эстер заказала серебро, не расплатилась за него, а уже отдала в заклад; ей угрожает обвинение в мошенничестве. Стало быть, надо отнести ювелиру тридцать тысяч франков и в ломбард десять тысяч, чтобы выкупить серебро. Итого, с накладными расходами, сорок три тысячи франков. Столовые приборы из накладного серебра, барон их обновит, а мы по этому случаю выкачаем у него еще несколько билетов по тысяче франков. Вы должны... Сколько за два года вы должны портнихе?

– Да, пожалуй, около шести тысяч франков, – ответила Европа.

– Так вот, если мадам Огюст хочет получить свои деньги и сохранить клиентуру, пусть подаст счет на тридцать тысяч франков за четыре года. Тот же уговор с модисткой. Ювелир Самуил Фриш, еврей с улицы Сент-Авуа, даст тебе расписки: *мы должны быть ему должны* двадцать пять тысяч франков, а мы выкупим драгоценностей на шесть тысяч франков, заложенных нами в ломбарде. Затем вернем эти драгоценности золотых дел мастеру, причем половина камней будет фальшивыми; вероятно, барон на них и не посмотрит. Короче, ты принудишь нашего *понтера* через недельку *поставить* еще сто пятьдесят тысяч франков.

– Мадам должна хотя бы чуточку мне помочь, – отвечала Европа. – Поговорите с ней, ведь она ничего не соображает, и мне приходится раскидывать умом за трех авторов одной пьесы.

– Если Эстер вздумает ломаться, дай мне знать, – сказал Карлос. – Нусинген обещал ей экипаж и лошадей, пусть она скажет, что выберет их по своему вкусу. Воспользуйтесь услугами того же каретника и барышника, что обслуживают хозяина Паккара. Мы заведем кровных скакунов, чрезвычайно дорогих; они захромают через месяц, и мы их переменим.

– Можно вытянуть тысяч шесть по дутому счету от парфюмера, – сказала Европа.

– О нет! Уж больно ты тороплива, – сказал он, качая головой. – Действуй потихоньку, добивайся уступки за уступкой. Барон всунул в машину только руку, а нам требуется голова. Сверх всего этого, мне нужны еще пятьдесят тысяч франков.

– Вы их получите, – отвечала Европа. – Мадам подбредет к этому толстому разине, когда дело дойдет до шестисот тысяч франков, и попросит у него еще четыреста, чтобы слаще любить.

– Послушай, дочь моя, – сказал Карлос. – В тот день, когда я получу последние сто тысяч франков, найдется и для тебя тысяч двадцать.

– К чему они мне? – сказала Европа, махнув рукой, точно дальнейшее существование казалось ей невозможным.

– Ты можешь вернуться в Валансьен, купить хорошее заведение и стать порядочной женщиной, если пожелаешь; бывают всякие вкусы, вот и Паккар об этом подумывает; у него чистые плечи, без клейма, почти чиста совесть, вы бы подошли друг другу, – отвечал Карлос.

– Вернуться в Валансьен!.. Как вы могли подумать, мсье? – вскричала Европа испуганно.

Уроженка Валансьена, дочь бедных ткачей, Европа была послана семи лет на прядильную фабрику, где современная промышленность истощила ее физические силы, а порок преж-

двременно развратил ее. Обольщенная в двенадцать лет, ставшая матерью в тринадцать, она попала в среду людей, глубоко испорченных. В шестнадцать лет она предстала перед уголовным судом по делу об одном убийстве, правда в качестве свидетельницы. Уступая не совсем еще заглушенной в ней честности и испытывая ужас перед правосудием, она дала показания, в силу которых суд приговорил обвиняемого к двадцати годам каторжных работ. Преступник, уже не раз судившийся и принадлежавший к организации, члены которой связаны страшной поручкой мести, сказал во всеуслышание этой девочке: «Через десять лет, день в день, Прюданс (Европу звали Прюданс Сервьен), я ворочусь, чтобы *угробить* тебя, хотя бы меня за это и *скосили*». Председатель суда пытался успокоить Прюданс Сервьен, обещая ей поддержку, участие правосудия; но бедная девочка так жестоко была потрясена, что от страха заболела и пробыла около года в больнице. Правосудие – это некое отвлеченное существо, представленное собранием личностей, состав которых постоянно обновляется, и их добрые намерения и память так же, как и они сами, чрезвычайно недолговечны. Суды присяжных, как и трибуналы, бессильны предупредить преступления; они созданы, чтобы расследовать уже совершенное. В этом отношении полиция, предотвращающая преступления, была бы благодеянием для страны; но слово *полиция* пугает нынешнего законодателя, который не находит более различия между словами: *править* – *управлять* – *отправлять правосудие*. Законодатель стремится к тому, чтобы государство брало на себя все функции, как будто оно способно к действию. А каторжник никогда не забывает о своем враге и мстит ему, ибо правосудие не вспоминает больше о них. Прюданс, которой чутье подсказало, какая ей грозит опасность, бежала из Валансьена и очутилась семнадцати лет в Париже, надеясь там скрыться. Она испробовала четыре ремесла; лучшим оказалось ремесло статистки в маленьком театре. Встретившись с Паккаром, она рассказала ему о своих злключениях. Паккар, правая рука и верный помощник Жака Коллена, рассказал о Прюданс своему господину; господин, когда ему понадобилась рабыня, сказал Прюданс: «Если ты согласна служить мне, как служат дьяволу, я освобожу тебя от Дюрю». Дюрю был тот каторжник, тот дамоклов меч, что висел над головой Прюданс Сервьен. Без этих подробностей многие критики сочли бы привязанность Европы к Карлосу не совсем правдоподобной. К тому же никто не понял бы развязки, которую готовил Карлос:

– Да, дочь моя, ты можешь вернуться в Валансьен... Вот, прочти. – И он протянул ей вечернюю газету, указав пальцем на следующую заметку: «Тулон. *Вчера состоялась казнь Жана-Франсуа Дюрю... С раннего утра гарнизон...* и т. д.

Газета выпала из рук Прюданс; у нее подкашивались ноги; она опять могла жить, а ведь, по ее словам, ей и хлеб стал горек с того дня, как ей пригрозил Дюрю.

– Ты видишь, я сдержал свое слово. Потребовалось четыре года, чтобы упала голова Дюрю, пойманного в западню... Так вот, выполнив мое поручение, ты можешь стать хозяйкой маленького предприятия у себя на родине, с состоянием в двадцать тысяч франков, и женой Паккара, которому я разрешаю вернуться к добродетели, выйдя в отставку.

Европа схватила газету и с жадностью стала читать сообщение о казни каторжников, описанной со всеми подробностями, на которые последние двадцать лет не скупаются газеты: величественное зрелище, неизменный священник, напуганный раскаявшегося разбойника, злодей, увещивающий своих бывших товарищей; наведенные дула ружей, коленопреклоненные каторжники; затем пошлые рассуждения, бессильные что-либо изменить в режиме каторжных тюрем, где кишат восемнадцать тысяч преступлений.

– Надобно устроить Азию на старое место... – сказал Карлос.

Азия подошла, ровно ничего не понимая в пантомиме Европы.

– ...чтобы она снова стала здесь кухаркой. Вы сперва угостите барона обедом, какого он не едал отроду, – продолжал он, – потом скажете ему, что Азия проиграла все свои деньги и опять пошла в услужение. Гайдук нам не потребуется, и Паккар станет кучером; кучер не покидает козел, он там недосыгаем, и менее всего привлечет внимание шпионов. Мадам при-

кажет ему носить пудренный парик, треуголку из толстого фетра, обшитого галуном; наряд его преобразит, к тому же я его загримирую.

– У нас будут и другие слуги? – спросила Азия, поводя раскосыми глазами.

– У нас будут честные люди, – отвечал Карлос.

– Все они слабоумные! – заметила мулатка.

– Если барон снимет особняк, привратником может быть дружок Паккара, – продолжал Карлос. – Нам еще потребуется лишь лакей да судомойка, и вы отлично уследите за этими двумя посторонними.

В ту минуту, когда Карлос хотел уходить, вошел Паккар.

– Оставайтесь тут. На улице народ, – сказал гайдук.

Эти простые слова таили страшный смысл. Карлос поднялся в комнату Европы и пробыл там, пока за ним не воротился Паккар в наемной карете, въехавшей прямо во двор. Карлос опустил занавески, и карета тронулась со скоростью, которая расстроила бы любую погоню. Прибыв в предместье Сент-Антуан, он вышел из кареты неподалеку от стоянки фиакров, пешком дошел до первого фиакра и воротился на набережную Малакэ, ускользнув таким путем от любопытствующих.

– Послушай-ка, мальчик, – сказал он Люсьену, показывая ему четыреста билетов по тысяче франков, – тут, я надеюсь, хватит на задаток за землю де Рюампре. Но мы все же рискуем сотней тысяч из этих денег. Собираются пустить по городу омнибусы; парижане увлекаются новинкой, и в три месяца мы утроим наш золотой запас. Я в курсе дела: акционерам дадут на их пай отличные дивиденды, чтобы повысить интерес к акциям. Это затея Нусингена. Восстанавливая владения де Рюампре, мы не заплатим сразу всей суммы. Повидайся с де Люпо, проси его рекомендовать тебя адвокату по имени Дерош; поезжай к нему в контору и предложи этой продувной бестии поехать в Рюампре изучить местность. Пообещаешь двадцать тысяч франков, если он сумеет, скупив за восемьсот тысяч франков земли вокруг развалин замка, составить тебе тридцать тысяч ренты.

– Как ты шагаешь!.. Ну и размах у тебя!..

– Такой уж у меня нрав! Полно шутить. Ты обратишь сто тысяч экю в облигации казначейства, чтобы не терять проценты; можешь поручить это Дерошу, он честен, хотя и хитер... Покончив тут, скачи в Ангулем, добейся у сестры и зятя согласия принять на себя невинную ложь. Пусть твои родные, если понадобится, скажут, что дали тебе шестьсот тысяч франков по случаю твоей женитьбы на Клотильде де Гранлье: в том нет бесчестия.

– Мы спасены! – в восхищении вскричал Люсьен.

– Ты – да! – продолжал Карлос. – Но только по выходе из церкви Святого Фомы Аквинского с Клотильдой в качестве жены...

– А ты чего опасаясь? – спросил Люсьен, казалось полный участия к своему советчику.

– Меня выслеживают *любопытные*... Надо вести себя, как подобает настоящему священнику, а это чрезвычайно скучно! Дьявол откажет мне в покровительстве, увидев меня с требником под мышкой.

В эту самую минуту барон Нусинген, держа под руку кассира, подошел к двери своего особняка.

– *Одшень боюсь*, – сказал барон, входя в дом, – *что я делал плохой дело... Ба! Наш свое возьмет...*

– *Очень жалько, что каспатин парон опнарушил себя*, – ответил почтенный немец, озабоченный лишь соблюдением благопристойности.

– *Та, мой офисильни люпофниц долъжен полочать положений, достойны мой положение*, – отвечал этот Людовик XIV от прилавка.

Уверенный в том, что рано или поздно он завладеет Эстер, барон опять превратился в великого финансиста, каким он и был. Он так усердно принялся за управление делами, что

кассир, застав его на другой день в шесть часов в кабинете за просмотром ценных бумаг, только потер руки.

– *Положительно, каспэтин парон делаль экономи этот ночь*, – сказал он с чисто немецкой улыбкой, одновременно хитрой и простодушной.

Если люди богатые вроде барона Нусингена чаще других находят случай тратить деньги, все же они чаще других находят случай и наживать их, даже предаваясь безумствам. Хотя финансовая политика знаменитого банкирского дома Нусингена описана в другом месте, небесполезно заметить, что столь крупные состояния не приобретаются, не составляются, не увеличиваются, не сохраняются в пору финансовых, политических и промышленных революций нашей эпохи без огромных потерь капитала или, если угодно, без обложения налогами частных состояний. Чрезвычайно мало новых ценностей вкладывается в общую сокровищницу земного шара. Всякое новое накопление средств в одних руках представляет собой новое неравенство в общем распределении. То, чего требует государство, оно же и возвращает; но то, что захватывает какой-нибудь банкирский дом Нусингена, он оставляет у себя. Подобные махинации ускользают от кары закона, потому что в противном случае и Фридрих II мог бы уподобиться какому-нибудь Жаку Коллену или Мандрену, если бы вместо водворения порядка в провинциях при помощи военных действий он занялся бы контрабандой и операциями с ценностями. Понуждать европейские государства заключать займы из двадцати или десяти процентов так, чтобы эти проценты получал частный капитал, разорять долги промышленности, захватывая сырье, бросать основателю какого-либо дела веревку, чтобы поддержать на поверхности воды, покуда из нее выдут его захлебнувшееся предприятие, – словом, все эти выигранные денежные битвы и составляют высокую финансовую политику. Конечно, банкир, как и завоеватель, порой подвергается опасности; но люди, которые в состоянии давать подобные сражения, так редко встречаются, что баранам там и не место. Великие дела вершатся пастырями. Поскольку *банкроты* (ходячее выражение на биржевом жаргоне) повинны в желании чересчур много нажить, постольку и несчастья, причиненные махинациями всяких Нусингенов, обычно не очень близко принимаются к сердцу. Спекулянт ли пустит себе пулю в лоб, сбежит ли биржевой маклер, разорит ли нотариус сотню семейств, а это хуже, чем убить человека, прогорит ли банкир, – все эти катастрофы, которые забываются в Париже через несколько месяцев, оставляют по себе в этом великом городе, точно в море, лишь легкую зыбь. Громадные состояния Жак Керов, Медичи, Анго из Дьепа, Офреди из Ла-Рошель, Фуггеров, Тьеполо, Корнеров были некогда честно приобретены благодаря преимуществам, возникшим в силу общей неосведомленности о происхождении всякого рода ценных товаров; но в наше время географические познания так прочно проникли в массы, конкуренция так прочно ограничила прибыли, что всякое состояние, быстро составленное, является делом случая, следствием открытия либо узаконенного воровства. Растленная скандальными примерами мелкая торговля, особенно в последние десять лет, отвечала на коварные махинации крупной торговли подлыми покушениями на сырье. Повсюду, где применяется химия, вина более не пьют; таким образом, виноделие падает. Продают искусственную соль, чтобы уклониться от акциза. Суды испуганы этой всеобщей нечестностью. Короче сказать, французская торговля на подозрении у всего мира, и так же развращается Англия. Корень зла лежит у нас в государственном праве. Хартия провозгласила господство денег; преуспевание тем самым становится верховным законом атеистической эпохи. Поэтому развращенность нравов высших классов общества, несмотря на маску добродетели и мишурную позолоту, много гнуснее, чем та испорченность, якобы присущая низшим классам, особенности которой сообщают страшный, а если угодно, и комический характер этим *Сценам парижской жизни*. Правительство, пугаясь всякой новой мысли, изгнало из театра комический элемент в изображении современных нравов. Буржуазия, менее либеральная, чем Людовик XIV, дрожит в ожидании своей «Женитьбы Фигаро», запрещает играть «Тартюфа» и, конечно, не разрешила бы теперь ставить «Тюркаре»,

ибо Тюркаре стал властелином. Поэтому комедия передается изустно, и оружием поэтов, пусть не так быстро разящим, зато более надежным, становится книга.

В то утро, в самый разгар всяких деловых визитов, всяких распоряжений и коротких совещаний, превращавших кабинет Нусингена в подобие приемной министерства финансов, один его маклер сообщил об исчезновении наиболее ловкого и богатого из членов торгового товарищества, Жака Фале, брата Мартена Фале и преемника Жюля Демаре. Жак Фале был биржевой маклер банкирского дома Нусингена. В согласии с дю Тийе и Келлерами барон столь хладнокровно подготовил разорение этого человека, точно дело шло о том, чтобы заколоть барашка на пасху.

– *Он не мок большие тержаться*, – отвечал спокойно барон.

Жак Фале оказал огромные услуги торговцам ценными бумагами. Во время кризиса, несколько месяцев назад, он спас положение смелыми операциями. Но требовать благодарности от биржевых хищников не то же ли самое, что пытаться разжалобить зимой волков на Украине?

– Бедняга! – сказал биржевой маклер. – Он был так далек от мысли о подобной развязке, что обставил на улице Сен-Жорж особнячок для своей любовницы. Он истратил сто пятьдесят тысяч франков на картины и на мебель. Он так любил госпожу дю Валь-Нобль!.. И вот эта женщина должна все это потерять... Там все взято в долг.

«Отлично! отлично! – сказал про себя Нусинген. – Вот случай вернуть все, что я потерял этой ночью...»

– *Он ничефо не платиль?* – спросил он у биржевого маклера.

– Эх! – отвечал маклер. – Неужели нашелся бы такой невежа-поставщик, который отказал бы в кредите Жаку Фале? Там, кажется, целый погреб отличных вин. Кстати, дом продается, Фале рассчитывал его приобрести. Купчая составлена на его имя. Какая нелепость! Серебро, обстановка, вина, карета, лошади – все пойдет с торгов, а что получают заимодавцы?

– *Приходите зафтра*, – сказал Нусинген, – *я буду осматрифать все и, если будет объявлен банкротство, кончайт дело полюпофно, я буду поручать вам объявлять благоразумии цен на этот обстановка и заключать договор...*

– Все может быть устроено как нельзя лучше, – сказал маклер. – Поезжайте туда нынче же; там вы встретите одного из компаньонов Фале с поставщиками, которые хотят получить преимущественное право; у Валь-Нобль есть их накладные на имя Фале.

Барон Нусинген тут же послал одного из конторщиков к своему нотариусу. Жак Фале говорил ему об этом доме, стоившем самое большее шестьдесят тысяч франков, и он желал немедленно стать его владельцем, чтобы закрепить за собой право распоряжаться им.

Кассир (честнейший человек!) пришел узнать, не понесет ли его господин ущерба на банкротстве Фале.

– *Напорот, мой добри Вольфган, я буду полючать обратно свой сто тысяча франк.*

– *Пошему?*

– *Э-э! Я буду иметь маленьки особняк, который этот бедняк Фале весь год готовиль для свой люпофници. Я полючу весь обстановка, если предложу пятьдесят тысяча франк кредиторам; я уше дал каспатуину Гарто, моему нотариусу, приказ насчет дома, потому хозяин без теньга... Я это зналь, но не имель голова на плеч!.. Тем лутчи! Мой божественный Эддер будет хозяйка в маленьки тфорец!.. Фале показиваль мне этот дом: что за прелесть! И два шаг отсюда!.. Не придумать лутчи!*

Банкротство Фале принудило барона идти на биржу; но он не мог покинуть улицу Сен-Лазар, не побывав на улице Тетбу; он уже страдал оттого, что несколько часов не видел Эстер; ему хотелось, чтобы она всегда была подле него. Выгода, которую он рассчитывал извлечь из наследства своего маклера, весьма облегчала его скорбь о потере четырех тысяч франков, истраченных этой ночью. Восхищенный возможностью сообщить своему ангелу о переезде с

улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где Эстер будет жить в *маленки тфорец* и где воспоминания не послужат помехой их счастью, он не чувствовал под ногами мостовой, он летел, как юноша, полный юношеских грез. На повороте улицы Труа-Фрер, среди мечтаний и посреди дороги, барон увидел Европу; на ней лица не было.

– *Куда ты пошел?* – сказал он.

– Ох! Мсье, я шла к вам... Как вы были правы вчера! Теперь я поняла, что бедной мадам лучше было бы сесть в тюрьму на несколько дней. Но разве женщины что-либо смыслят в денежных делах! Как только кредиторы прослышали, что мадам вернулась к себе, все они набросились на нас, как на свою добычу... Вчера в семь часов вечера, мсье, к нам пришли и приклеили ужасные объявления о распродаже обстановки в эту субботу... Но все это еще пустяки... Мадам, сама доброта, пожелала, видите ли, оказать однажды услугу этому чудовищному человеку!..

– *Какой чутовинни?*

– Ну, тому, кого она любила, д'Этурни. О! Он был мил. Он играл, вот и все.

– *Играль краплени карт...*

– Что за беда? А вы, смею спросить?.. – сказала Европа. – Что вы делаете на бирже? Не перебивайте меня. Как-то раз, когда Жорж пригрозил, что пустит пулю себе в лоб, она снесла в ломбард все свое серебро, драгоценности, а они ведь еще не оплачены! Пронюхав, что мадам выплатила кое-что одному из кредиторов, все прочие пришли к ней и устроили скандал... Угрожают Исправительной... Ваш ангел, и на скамье подсудимых!.. Ведь даже парик на голове и тот станет дыбом!.. Мадам обливается слезами, говорит, что готова в реку броситься!.. Ох! Она на все пойдет.

– *Если би я зашел к Эздер, прощай биржа!* – вскричал барон. – *А это невозможно, чтобы я не ходил на биржа! Потому я долъжен кое-что выиграть для нее... Ступай, успокой ее; я буду платит тольги; приду ровно в четыре час. Но, Эшени, чтобы он чутошка любил меня!..*

– Как чуточку? Очень!.. Знайте, мсье, только щедростью покоряют женское сердце... Конечно, вы, может, и сберегли бы сотню тысяч франков, позволив ей сесть в тюрьму. Но никогда бы вы не завоевали ее сердца... Ведь она мне сказала: «Эжени, он был поистине великодушен, поистине щедр... У него прекрасная душа!»

– *Он так сказал, Эшени?* – вскричал барон.

– Да, мсье, своими ушами слышала.

– *Держи, вот десять луитор...*

– Благодарю... Но она все еще плачет... она выплакала со вчерашнего дня столько слез, сколько их выплакала святая Магдалина за целый месяц... Ваша любимая убивается, и добро бы еще из-за собственных долгов! Ох эти мужчины! Разоряют они женщин, как женщины разоряют стариков... ей-ей!

– *Мужчин весь таков! Обещишь! Эх, только говорил... Пускай он не подписывает ничефо больше. Я буду платит, но если он будет давать ишо подпись... я...*

– А что вы сделаете? – сказала Европа, подбоченясь.

– *Поже мой! Я не имей никакая власть над ней... Я сам займусь делами Эздер... Ступай! ступай! Утешай ее, говори, что не пройдет месяц, как он будет полючать маленки тфорец.*

– Вы поместили, господин барон, капитал на крупные проценты в сердце женщины! Знаете... я нахожу, что вы помолодели; хоть я только горничная, а часто наблюдала такие чудеса... счастья... У счастья есть какой-то свой особый отблеск... Если вы потратились, не жалеете... Увидите, какой это принесет доход! Прежде всего, и я сказала это мадам, она будет последней из последних, будет потаскушкой, если вас не полюбит, ведь вы ее вытаскиваете из сушеного ада... Вот отойдут от нее заботы, вы ее не узнаете! Между нами, должна вам признаться: ночью, когда она так рыдала, – что прикажете делать?.. – ведь дорожат все же уважением человека,

который готов нас содержать, – она не могла осмелиться сказать вам все это... она хотела убежать...

– *Убежать!*.. – вскричал барон, испуганный этой мыслью. – *Но биржа, биржа! Ступай, ступай! Я не пойду с тобой... Но прошу, чтобы он подходил к окна, чтобы я видел ее... Это придаст мне бодрость...*

Эстер улыбнулась господину Нусингену, когда он проходил мимо ее дома, а он, тяжело ступая, удалился, прошептав про себя: «Ангел!»

При помощи какой же уловки Европа достигла столь непостижимого результата? К половине третьего Эстер закончила свой туалет, словно ожидая прихода Люсьена; она была восхитительна. Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала: «А вот и мсье!» Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена.

– Ах, какую боль ты мне причиняешь! – воскликнула она.

– Иного средства не было утешить невзначай бедного старика, который заплатит ваши долги, – отвечала Европа. – Ведь все они будут наконец заплачены!

– Какие долги? – вскричало бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки.

– Долги, которые господин Карлос устроил мадам.

– Как, вот уже почти четыреста пятьдесят тысяч франков! – воскликнула Эстер.

– Прибавьте еще сто пятьдесят. Но он отлично принял все это... барон... он вытащит вас отсюда, поселит в *маленки тфорец*... Право, вы не так уж несчастны!.. На вашем месте, раз уж вы так крепко привязали к себе этого человека, я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая женщина, какую я только видела, и самая привлекательная... Но красота проходит так быстро! Я была свежа и красива, и вот... Мне двадцать три года, почти возраст мадам, а я кажусь старше лет на десять... Достаточно заболеть, и... Ну а когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой...

Эстер не слушала более Европу-Эжени-Прюданс Сервьен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погрузила Эстер в грязь с тою же силой, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности, понимает, что человеку дано вкусить ее блаженства, лишь приобщившись к ее добродетелям. После сцены в конуре на улице Ланглад Эстер совершенно забыла о своей прежней жизни. Она жила с того времени чрезвычайно добродетельно, вся уйдя в чувство любви к Люсьену. Поэтому, желая избежать сопротивления, Карлос так искусно все подготовил, что бедной девушке, движимой преданностью, не оставалось ничего более, как изъявлять свое согласие на мошенничества либо уже совершенные, либо готовые совершиться. Это коварство, говорящее о превосходстве развратителя над своими жертвами, указывает и на те приемы, которыми он подчинил себе Люсьена. Создать роковую неизбежность, устроить подкоп, подложить порох и в решительную минуту сказать сообщнику: «Сделай одно лишь движение, и все взорвется!» Прежде Эстер, проникнутая особой моралью куртизанок, находила все эти шуточки настолько естественными, что достоинства соперницы измеряла расточительностью ее любовника. Разоренные состояния – вот знаки отличия этих женщин. Карлос, положившись на воспоминания Эстер, не обманулся. Все эти военные хитрости, все эти уловки, тысячи раз испробованные не только такими женщинами, но и мотами, не смущали Эстер. Несчастливая чувствовала только свое унижение. Она любила Люсьена, но она должна была стать признанной любовницей барона Нусингена; в этом заключалось все. Брал ли с барона деньги в задаток мнимый испанец, строил ли свое счастье Люсьен на камнях могилы Эстер, какой ценою куплена ночь блаженства старым бароном, сколько тысячефранковых билетов выманила у него Европа более или менее искусными приемами – ничто не волновало влюбленную девушку, но в сердце ее кровавоочила рана! Пять лет жила она как непорочный ангел. Она любила, она была счастлива, она

не изменила даже мыслью. И эта прекрасная чистая любовь должна быть осквернена! Она не сравнивала свою отрадную уединенную жизнь с тем позорным существованием, что ей было уготовано отныне. То не было ни расчетом, ни поэтической экзальтацией, ее переполняло одно лишь неизъяснимое, глубокое чувство: из белой она становилась черной, из чистой – нечистой, из честной – бесчестной. Но, став безупречной по собственной воле, она не могла перенести позора. Недаром она хотела броситься из окна, когда барон стал угрожать ей своею любовью. Короче говоря, Люсьен был любим беззаветно и с такой силой, с какой женщины чрезвычайно редко любят мужчину. Женщина хотя и говорит, что любит, хотя она нередко даже думает, что так, как любит она, никто еще не любил, все же она не прочь попорхать, покружиться в вальсе, полюбезничать, пленить свет своими уборами, пожинать успех во взорах вздыхателей; но Эстер совершала чудеса истинной любви, ничего не принося в жертву. Шесть лет она любила Люсьена, как любят актрисы и куртизанки, когда, вывалявшись в грязи, они томятся по возвышенным чувствам, по самоотверженной чистой любви и преклоняются перед ее *исключительностью* (не следует ли изобрести новое слово, чтобы выразить понятие, столь редко встречающееся в жизни?). Древние народы Греции, Рима и Востока лишали женщину свободы; любящая женщина должна была бы сама себя лишать свободы. Итак, нетрудно понять, что, покидая волшебные чертоги, где происходило это пиршество, где творилась эта поэма, и готовясь вступить в *маленки тфорец* старца с охладевшей кровью, Эстер испытывала род нравственного недуга. Понуждаемая железной рукой, она совершила много низостей, прежде чем успела о чем-либо подумать; но вот уже два дня кряду она предавалась размышлениям, и смертельный холод охватывал ее сердце.

При словах: «Умереть на мостовой» – она резким движением встала, сказав:

– Умереть на мостовой?.. Нет, лучше уж Сена...

– Сена?.. А мсье Люсьен?.. – сказала Европа.

Одно это слово принудило Эстер опять опуститься в кресло, и она застыла в этой позе, не отрывая взгляда от розетки на ковре, словно на ней сосредоточились все ее мысли. Нусинген, придя в четыре часа, застал своего ангела погруженным в тот океан размышлений и раздумий, по которому носятся женские души, покамест не найдут решения, непостижимого для того, кто не пускался в плавание вместе с ними.

– *Не надо хмурить ваш чело... мой красавиц...* – сказал барон, усаживаясь подле нее. – *Ви не будет иметь больше тольги... Я дам знать Эшени, и ровно через месяц ви покинете этот квартир, чтобы взойти в маленки тфорец... О! Прелестни рука!.. Позвольте атин поцалуй...* – (Эстер позволила взять свою руку, как собака дает лапу.) – *Ах! Ви дали мне свой рука... но не сердце, что я люблю...*

Это было сказано так искренне, что несчастная Эстер перевела глаза на старика, и взор ее, исполненный жалости, едва не свел его с ума. Любящие, подобно мученикам, чувствуют себя братьями по страданиям! В мире лишь родственные страдания поистине поймут друг друга.

– Бедный, – сказала она, – он любит!

Услышав эти слова, ошибочно им понятые, барон побледнел, кровь закипела у него в жилах, на него повеяло воздухом рая. В его возрасте миллионеры платят за подобные ощущения столько золота, сколько того женщина пожелает.

– *Я люблю вас, как любят свой дочь...* – сказал он. – *И я чувствуй здесь,* – продолжал он, приложив руку к сердцу, – *что не мог би видеть вас нешастлив.*

– Если бы вы согласились быть только отцом, как бы я вас любила! Я никогда не покинула бы вас, и вы увидели бы, что я не плохая женщина, не продажная, не корыстная, какой кажусь вам сейчас.

– *Ви делаль маленки глупость,* – продолжал барон, – *как всякий красифи женщин, вот и все! Не будем говорить больше на этот тема. Наш дело заработать тенъги для вас... Будьте*

счастливы; я зогласен бить ваш отец в течение нескольких дней, потому понимаю, что нужно привыкнуть к мой бедни фигур.

– Верно!.. – вскричала она.

Вскочив с кресла, она прыгнула на колени к Нусингену и прижалась к нему, обвив руками его шею.

– *Феро*, – отвечал он, пытаясь изобразить на своем лице улыбку.

Она поцеловала его в лоб, она поверила в невозможную сделку, которая позволит ей остаться чистой и видеть Люсьена... Она так ласкалась к банкиру, что напонила прежнюю Торпиль. Она обворожила старика, обещавшего питать к ней только отцовские чувства целых сорок дней. Эти сорок дней были нужны для покупки и устройства дома на улице Сен-Жорж. Но, выйдя на улицу, на обратном пути к дому барон мысленно говорил себе: «Я простофиля!»

И точно, если вблизи Эстер он становился младенцем, то вдали от нее он опять влезал в свою волчью шкуру, подобно Игроку, который снова влюбляется в Анжелику, как только остается без гроша в кармане.

«Полмиллиона бросить и не знать, какая у нее ножка! Это уже чересчур глупо, но, к счастью, никому об этом не известно», – думал он двадцать дней спустя. И принимал гордое решение покончить с женщиной, за которую заплатил так дорого; потом, когда он оказывался подле Эстер, все время, которое он мог ей отдать, он тратил на то, чтобы искупить собственную грубость при их первой встрече. На исходе месяца он ей сказал: «*Я не могу быть фечни отец*».

В конце декабря 1829 года, накануне переезда Эстер в особняк на улице Сен-Жорж, барон попросил дю Тийе свести туда Флорину, чтобы наконец решить, все ли там находится в соответствии с богатством Нусингена и нашли ли слова *маленки тфорец* свое подтверждение в искусстве художников, которым было поручено сделать эту клетку достойной птички. Все изощрения роскоши, появившиеся накануне революции 1830 года, были представлены тут, превращая этот дом в образец хорошего вкуса. Архитектор Грендо видел в нем совершенное творение своего декоративного мастерства. Лестница и стены под мрамор, ткань, строгость позолоты, мельчайшие подробности, как и общее впечатление, затмевали все, что век Людовика XV оставил в этом стиле в наследство Парижу.

– Вот моя мечта: такой дом и добродетель! – сказала Флорина, улыбаясь. – И ради кого ты входишь в такие расходы? – спросила она Нусингена. – Не дева ли это, сошедшая с небес?

– *Нет, эсенин, котори опять туда фознесетя*, – отвечал барон.

– Вот тебе случай изобразить из себя Юпитера, – сказала актриса. – И когда мы ее узрим?

– О! В тот день, когда будут праздновать новоселье, – вскричал дю Тийе.

– *Не раньше...* – сказал барон.

– Надобно порядком подчиститься, прифрантиться, навести на себя красоту, – продолжала Флорина. – О! Женщины дадут жару своим портнихам и парикмахерам по случаю этого вечера!.. Но когда же?

– *Я не хозяйн.*

– Вот так женщина!.. – воскликнула Флорина. – О, как я хочу ее увидеть!..

– *И я тоше*, – простодушно заметил барон.

– Подумать только! Дом, женщина, мебель – все будет новое!

– Даже банкир, – сказал дю Тийе, – ибо, на мой взгляд, наш друг помолодел.

– Ему и надо вернуть свои двадцать лет, хотя бы на краткий миг, – сказала Флорина.

В первые дни 1830 года весь парижский большой свет говорил о страсти Нусингена и о необузданной роскоши его дома. Бедный барон, выставленный на посмешище, взбешенный, и не без оснований, принял однажды решение, в котором расчетливая воля финансиста шла навстречу бешеной страсти, терзавшей его сердце. Он хотел, празднуя новоселье, отпраздновать и награду, которую он, сбросив тогу благородного отца, вкусит наконец после стольких жертв. Неизменно отступая перед сопротивлением Торпиль, он вздумал вести переговоры о

своих брачных делах путем переписки, чтобы получить от нее письменное обязательство. Банкиры доверяют только векселям. Итак, в один из первых дней нового года, встав пораньше, биржевой хищник заперся в кабинете и сочинил следующее письмо на хорошем французском языке, ибо если он произносил дурно, то писал отлично.

«Милая Эстер, цветок моей души и единственное счастье моей жизни! Когда я говорил, что люблю вас, как свою дочь, я обманывал вас и сам обманывался. Я этим желал лишь выразить святость моих чувств, не похожих ни на одно из тех, что обычно испытывают мужчины: прежде всего, я старик, затем, я никогда не любил. Я люблю вас настолько, что, если бы вы стоили мне всего моего состояния, я не любил бы вас меньше. Будьте справедливы! Большинство мужчин не увидели бы в вас ангела, как вижу я, – мой взор никогда не обращался к вашему прошлому. Я люблю вас, как люблю мою дочь Августу, мое единственное дитя, и как любил бы свою жену, когда б жена могла меня любить. Если счастье – единственное оправдание для влюбленного старика, – согласитесь, что я играю смешную роль. Я сделал вас утешением, радостью моих последних дней. Вы хорошо знаете, что, пока я жив, вы будете счастливы, насколько может быть счастлива женщина; и вы так же хорошо знаете, что после моей смерти вы будете достаточно богаты, чтобы вашей судьбе могли позавидовать многие женщины. Во всех сделках, которые я заключаю с той поры, как я имел счастье заговорить с вами, ваша доля прибыли вычитается предварительно, и на ваше имя открыт счет в банке Нусингена. Через несколько дней вы войдете в дом, который рано или поздно будет вашим, если он вам полюбится. Скажите, вы и там меня встретите, как отца, или я буду наконец счастлив?.. Простите, что я пишу вам так откровенно; но, когда я подле вас, мужество меня покидает, я слишком глубоко чувствую вашу власть надо мной. У меня нет намерения вас обидеть, я хочу лишь сказать вам, как сильно я страдаю и как жестоко в моем возрасте жить ожиданием, зная, что каждый прошедший день уносит с собой мои надежды и мое счастье. Впрочем, скромность моего поведения является порукой искренности моих намерений. Поступал ли я когда-либо как кредитор? Вы точно крепость, а я уже не молод. Отвечая на мои мольбы, вы говорите, что дело идет о вашей жизни, и я вам верю, покуда вас слушаю; но наедине с самим собой я поддаюсь черной тоске, сомнениям, позорящим нас обоих. Вы показались мне настолько же доброй и чистой, насколько и прекрасной; но вам угодно разрушить это мое убеждение. Посудите сами! Вы говорите, что вашим сердцем владеет страсть, мучительная страсть, и вы отказываетесь доверить мне имя того, кого вы любите... Естественно ли это? Человека достаточно сильного вы обратили в человека неслыханно слабого... Видите, до чего я дошел! Я вынужден спросить вас, какое будущее готовите вы моей страсти, на что мне надеяться после пяти месяцев ожидания? Мне надо также знать, какая роль мне предназначена на праздновании новоселья в вашем особняке. Деньги для меня ничто, когда дело касается вас; но я не настолько глуп, чтобы похвастаться пренебрежением к деньгам; ибо если моя любовь беспредельна, то мое состояние ограничено, и я им дорожу только ради вас. Ну что ж! Если, отдав вам все, что я имею, я мог бы, нищий, удостоиться вашей привязанности, то бедность, скрашенную вашей любовью, я предпочел бы богатству, омраченному вашим презрением. Вы так сильно меня изменили, дорогая Эстер, что никто меня не узнает; я заплатил десять тысяч франков за картину Жозефа Бридо: для этого вам достаточно было сказать, что он даровитый человек и не признан. Наконец, я каждому встречному нищему даю по пять франков ради вас. Так о чем же молит бедный старик, почитающий себя вашим должником, когда вы делаете ему честь что-либо от него принять?.. Он молит подать надежду, и какую надежду, великий Боже! Ведь это скорее уверенность, что вы никогда мне не подарите больше того, что возьмет моя любовь! Но горячность моего сердца поможет вашему жестокому притворству. Вы видите, что я готов принять все условия, поставленные вами моему счастью, моим скромным радостям; но

скажите мне хотя бы, что в тот день, когда вы вступите во владение вашим домом, вы примете любовь и преданность того, кто называет себя до конца дней своих

*вашим рабом
Фредериком Нусингеном».*

– Ах! Как мне наскучила эта кубышка с миллионами! – вскричала Эстер, в которой вновь ожила куртизанка.

Она взяла секретку и написала во всю ширину листка знаменитую фразу, ставшую поговоркой, к вящей славе Скриба: *Возьмите моего медведя.*

Четверть часа спустя, почувствовав угрызения совести, Эстер написала такое письмо:

«Господин барон,
не обращайтесь никакого внимания на письмо, которое вы получили от меня; то была шалость девчонки; простите же, сударь, бедняжку, которой суждено быть рабыней. Я никогда так ясно не чувствовала низости своего положения, как в тот день, когда меня вручили вам. Вы заплатили, я ваша должница. Нет ничего священнее долгов бесчестья. Я не имею права рассчитаться с ними, бросившись в Сену. Долг все же возможно заплатить, и той ужасной монетой, которая способна удовлетворить лишь одну сторону: стало быть, я к вашим услугам. Я хочу ценою одной ночи заплатить всю сумму, внесенную в счет этого рокового события, и уверена, что один час со мною стоит миллионы, тем более единственный, последний час. Потом я буду в расчете и могу уйти из жизни. У честной женщины есть надежда после падения подняться; мы, куртизанки, падаем слишком низко. Поэтому мое решение твердо, и я прошу вас сохранить это письмо, чтобы засвидетельствовать причину смерти той, что называет себя на один день

*вашей служанкой
Эстер».*

Отправив письмо, Эстер пожалела об этом. Десять минут спустя она написала третье письмо. Вот оно:

«Простите, дорогой барон, это опять я. Я не желала ни насмеяться над вами, ни оскорбить вас; я хочу лишь заставить вас задуматься над этим простым рассуждением: если у нас с вами останутся отношения отца и дочери, вы сохраните свои тихие, но надежные радости; если вы потребуете выполнения контракта, вам придется меня оплакивать. Я не хочу более вам докучать. Тот день, когда вы наслаждение предпочтете счастью, будет для меня последним днем.

*Ваша дочь
Эстер».*

Когда барон получил первое письмо, с ним случился припадок молчаливого гнева, который способен убить миллионера. Он поглядел на себя в зеркало и позвонил. «*Ванна тля ног!..*» — крикнул он своему новому лакею. Пока он принимал ножную ванну, пришло второе письмо; он его прочел и упал без сознания. Миллионера уложили в постель. Когда финансист очнулся, в ногах у него сидела госпожа Нусинген.

– Эта девица права! – сказала она ему. – Что это вам вдруг вздумалось покупать любовь?.. Разве это продается на рынке? Но что же вы писали ей?

Барон дал свои черновые наброски; госпожа Нусинген прочла их улыбаясь. Пришло третье письмо.

– Занятная девица! – вскричала баронесса, прочтя последнее письмо.

– *Что делать, мам?* – спросил барон жену.

– Ждать.

– *Штат!* – сказал он. – *Ведь природа безжалостна.*

– Послушайте, дорогой мой, – сказала баронесса. – Вы в конце концов стали очень милы со мной, и я дам вам добрый совет.

– *Ви карои женицин!* – сказал он. – *Делайт тольги, я буду платить...*

– То, что случилось с вами после писем этой девицы, трогает женщину больше, чем истраченные миллионы или любые письма, как бы прекрасны они ни были; постарайтесь, чтобы она стороной узнала о вашем состоянии; вы, может быть, и добьетесь своего!.. И... не беспокойтесь, она от этого не умрет, – сказала она, окинув мужа взглядом с головы до ног.

Госпожа Нусинген не имела ни малейшего представления о *природе куртизанки*.

«Как умна мадам Нусинген!» – подумал барон, оставшись один. Но чем больше банкир восхищался тонкостью совета, преподанного ему баронессой, тем меньше понимал, каким образом им воспользоваться, и не только называл себя тупицей, но действительно признавал это.

Однако ограниченность богатого человека, почти вошедшая в поговорку, относительна. С нашими умственными способностями происходит то же, что и с нашими физическими возможностями. Сила танцовщика в ногах, сила кузнеца в руках; грузчик упражняется в переноске тяжестей, певец развивает голосовые связки, а пианист укрепляет кисти рук. Банкир привыкает создавать дела, обдумывать их, находить заинтересованных участников, как водевилист научается создавать сюжет, обдумывать положения, находить своих героев. Нельзя требовать от банкира Нусингена остроумного разговора, как не должно ожидать поэтических суждений от математика. Много ли в любую эпоху встречается поэтов, равно известных в качестве прозаиков или прославленных своим остроумием в обществе, подобно госпоже Корньюэль? Бюффон был тяжелодум, Ньютон никогда не любил, лорд Байрон любил лишь самого себя, Руссо был мрачен и почти безумен, Лафонтен рассеян. Жизненная сила, равномерно распределенная в человеке, создает глупца или же посредственность; распределенная неравномерно, она порождает некую чрезмерность, именуемую гением и показавшуюся бы нам уродством, будь она зрима и осязаема. Тот же закон управляет телом: совершенная красота почти всегда отмечена холодностью либо глупостью. Пускай Паскаль великий геометр и одновременно великий писатель, пускай Бомарше великий делец, пускай Заме умнейший царедворец, – редкие исключения лишь подтверждают правило о своеобразии свойств человеческого ума. В области коммерческих расчетов банкир выказывает, стало быть, столько же остроумия, ловкости, тонкости, достоинства, сколько выказывает их искусный дипломат в сфере интересов государственных. Банкир, одаренный выдающимися способностями, расстанься он со своей конторой, мог бы оказаться великим человеком. Нусинген, помноженный на князя де Линя, на Мазарини или Дидро, являл бы собою сочетание человеческих свойств почти неправдоподобное, которое, однако ж, именовалось в свое время Периклом, Аристотелем, Вольтером и Наполеоном. Солнце императорской славы не должно затмить собою человека; император был обаятелен, образован и остроумен. Господин Нусинген, банкир и только банкир, лишенный, как и большинство его собратьев, какой-либо изобретательности вне круга своих расчетов, верил лишь в реальные ценности. У него хватало здравого смысла при помощи золота обращаться к знатокам во всех областях искусства и науки, приглашая лучшего архитектора, лучшего хирурга, самого тонкого ценителя живописи и скульптуры, самого искусного адвоката, как только ему требовалось построить дом, позаботиться о здоровье, приобрести какие-либо редкости или поместья. Но поскольку не существует присяжного искусника в области козней, ни знатока в науке страсти нежной, банкир всегда был неудачлив в любви и неловок в обращении с женщинами. И Нусинген не придумал ничего лучшего, как, прибегнув к испытанному средству, дать денег какому-нибудь Фронтену, мужского или женского пола, чтобы тот действовал или думал вместо него. Одна лишь госпожа Сент-Эстев могла испробовать способ, предложенный баронессой. Банкир горько сожалел, что поссорился с гнусной торговкой нарядами. И все же, уверенный в гипнотической силе своей кассы и в болеутоляющем средстве с подписью Гара,

он позвонил слуге и приказал ему навеститься к страшной вдовице на улице Нев-Сен-Марк и просить ее пожаловать к банкиру. В Париже крайности сближаются благодаря страстям. Там порок издавна связывает богача с нищим, величие – с ничтожеством. Там императрица советуется с мадемуазель Ленорман. Там вельможа всегда находит какого-либо Рампоно, и так из века в век.

Часа два спустя новый слуга воротился.

– Господин барон, – сказал он, – госпожа Сент-Эстев совсем разорилась...

– *О-о! Тем лутчи!* – радостно сказал барон. – *Она в мой рука!*

– Почтенная женщина, слышать, большая охотница до карт, – продолжал слуга. – Другая ее слабость – комедиантик из бродячего театра, которого из конфуза она выдает за своего крестника. Она, слышать, отличная повариха, ищет теперь место.

«Эти дьяволы из второсортных гениев знают десять способов заработать деньги и двадцать, чтобы их промотать», – мысленно сказал барон, не подозревая, что совпадает мыслями с Панургом.

Он опять послал слугу разыскивать госпожу Сент-Эстев, и она появилась, но лишь на другой день. Новый лакей на расспросы Азии не преминул сообщить этому шпиону в юбке о плачевных последствиях, к которым привели письма любовницы господина барона.

– Мсье должен крепко любить эту женщину, – сказал лакей в заключение, – ведь он чуть было не помер. Я ему советовал не возвращаться туда; там ему живо заговорят зубы. Она, слышать, уже стоит господину барону пятьсот тысяч франков, не считая расходов на особняк на улице Сен-Жорж!.. Да ведь эта женщина хочет денег, только денег! Выходя от мсье, госпожа баронесса смеялась и говорила: «Если так пойдет дальше, эта девица сделает меня вдовой».

– Черт возьми! – отвечала Азия. – Никогда нельзя убивать курицу, которая несет золотые яйца.

– Господин барон на вас только и надеется, – сказал слуга.

– Ах! Уж мне ли не знать, как подействовать на женщину!..

– Пожалуйте в комнату, – сказал лакей, преклоняясь перед этой таинственной властью.

– Вот тебе раз! – сказала мнимая Сент-Эстев, входя к больному с самым скромным видом. – Стало быть, у господина барона случились кое-какие неприятности?.. Что прикажете делать! Каждый расплачивается за свои слабости. Я тоже хлебнула горя. За два месяца колесо фортуны невпопад для меня оборотилось! И вот ищу места... Мы были слишком легкомысленны, и вы и я! Ежели бы господин барон пожелал поставить меня кухаркой к мадам Эстер, уж как бы я ему была предана, как бы хорошо следила за Эжени и мадам!

– *Не в том дело,* – сказал барон. – *Я не мог делаться хозяин, и меня фертят, как...*

– ...волчок, – подсказала Азия. – Вы потакали своей слабости, папаша, а девчонка держит вас... и дурачит. Господь Бог справедлив!

– *Справедлиф?* – сказал барон. – *Я не звань тебя, чтобы слушать мораль...*

– Полно, сынок, немножко морали не повредит! Это соль жизни нашей братии, как грешок для ханжи. Послушайте, вы были щедрым? Заплатили ее долги?

– *Та!* – жалобно сказал барон.

– Отлично. Выкупили ее вещи? Вот это уже получше. Но все же недостаточно... Посудите сами!.. Ведь на этом далеко не уедешь, а такие девицы любят форснуть...

– *Я готовлю ей сюрприз на улиц Сен-Шорш... Он знайт...* – сказал барон. – *Но я не желаю бить простофиль.*

– За чем же дело стало? Бросьте ее...

– *Боюсь, что он мне позфоляйт это!*.. – вскричал барон.

– А-а! Мы хотим оправдать наши денежки, сын мой! – отвечала Азия. – Послушайте! Вы, милушка, выудили у людей не один миллион! Говорят, их у вас двадцать пять. – (Барон не мог скрыть улыбки.) – Так вот! Надо выпустить из рук один...

– *Охотно выпустишь би,* – отвечал барон, – *но не успею я выпустить атин, как спрашивать второй...*

– Мудреного нет, – отвечала Азия, – вы боитесь сказать «А», чтобы не дойти до «Я». Но Эстер честная девушка...

– *Одишень честни дефушка!* – вскричал барон. – *Он одишень желал би решиться, но только как расплата за тольг...*

– Попросту сказать, она не хочет быть вашей любовницей, ей это противно. Понимаю ее! Девка привыкла потакать своим прихотям. А после молодых франтов не очень-то нужен старик... Поглядеть на вас... Куда какой красавчик! И толсты, как Людовик Восемнадцатый, к тому же малость глуповаты, как все, кто гоняется за фортуной, вместо того чтобы ухаживать за женщинами. Ну да ладно, если не пожалеете шестисот тысяч франков, – прибавила Азия, – уж я возьму на себя это дело, и девочка согласится на все, что вы пожелаете.

– *Шесот тысяча франк!* – вскричал барон, слегка подпрыгнув. – *Эздер мне уже стоит мильон!..*

– А пожалуй, счастье и стоит мильон шестьсот тысяч франков, брюхастый греховодник! Да вы и сами знаете мужчин, которые проели с любовницами не один и не два мильончика. Я даже знаю женщин, ради которых шли на эшафот... Слышали про доктора, что отравил своего друга?.. Он польстился на богатство, чтобы составить счастье женщины.

– *Та, я знаю; но пускай я и влюплен, я не так глуп; здесь, по крайней мере, потому, когда я вижу Эздер, я мог бы отдать весь мой бумашиник.*

– Послушайте, господин барон, – сказала Азия, принимая позу Семирамиды. – Вас достаточно выпотрошили. Я буду не я, если не помогу вам, в переговорах само собой. Слово Сент-Эстев!

– *Карашо!.. Я тебя вознагражу.*

– Надеюсь! Ведь вы могли уже убедиться, что я умею мстить. Притом знайте, папаша, – сказала она, метнув в него страшный взгляд, – уговорить Эстер для меня просто, как снять нагар со свечи. О! Я знаю эту женщину! Когда плутовка осчастливит вас, вы без нее и вовсе не сможете жить. Вы хорошо мне заплатили; конечно, приходилось из вас вытягивать, но в конце концов вы все же раскошелились. Что до меня, я ведь выполнила свои обязательства, не так ли? Ну вот, послушайте: предлагаю вам сделку.

– *Я вас слушль.*

– Вы определите меня поварихой к мадам, нанимаете на десять лет, жалованья вы мне положите тысячу франков и уплатите вперед за пять лет (ну вроде задатка!). Раз я у мадам, я сумею склонить ее и на дальнейшие уступки. Например, вы преподносите ей хорошенький наряд от мадам Огюст – она знает вкус мадам и ее капризы; затем к четырем часам приказываете заложить новую карету. Придя после биржи к мадам, вы вместе с нею отправляетесь прогуляться в Булонский лес. Это означает, что она открыто признает себя вашей любовницей, она принимает на себя обязательство на виду у всего Парижа... За это сто тысяч франков... Затем вы у нее обедаете (я мастерица на такие обеды), после чего везете ее на спектакль в Варьете, в ложу авансены; и весь Париж скажет: «Вот старая шельма Нусинген со своей любовницей...» Лестно, не правда ли? Все эти преимущества входят в счет первой сотни тысяч, я женщина добрая. В неделю, если вы меня послушаетесь, ваше дело далеко продвинется вперед.

– *Платиль би сто тысяча франк...*

– На вторую неделю, – продолжала Азия, как будто не слыша этой жалкой фразы, – мадам, соблазнившись таким почином, решится бросить свою квартирку и переехать в особняк, который вы ей преподнесете. Ваша Эстер опять выезжает в свет, встречается с прежними подругами, она желает блистать, она задает пиры в своем дворце! Все в порядке... За это еще сто тысяч!.. Вот вы у себя дома... Эстер себя ославила... она ваша. Остается безделица, а вы раздуваете ее невесть во что, старый слон! (Гляди, как он вылупил глаза, чудище этакое!) Так

и быть! Беру это на себя. Всего четыреста тысяч... Но не беспокойся, мой толстячок, ты их выложишь только на другой день... Вот где честность, верно? Я тебе больше доверяю, чем ты мне. Ну а ежели я уговорю мадам признать себя публично вашей любовницей, осрамить себя, принять от вас подарки, которые вы ей преподнесете, может статься, даже сегодня, тогда-то вы уж поверите, что я могу заставить ее сдать вам и Сен-Бернарскую высоту. А это дело трудное, как хотите!.. Тут, чтобы втащить вашу артиллерию, усилий понадобится столько же, сколько первому консулу в Альпах!

– *А пошему?*

– Сердце ее преисполнено любви, *gazibus*¹⁵, как говорит ваша братия, знающая латынь, – продолжала Азия. – Она воображает себя царицей Савской, потому что, видите ли, возвеличила себя жертвами, принесенными любовнику... вот какие бредни вбивают себе в голову эти женщины! А все-таки, милуша, надо отдать ей справедливость, ведь это благородно! И если причудница вздумает умереть от огорчения, что стала вашей, я ничуть не удивлюсь. Но меня одно только успокаивает – говорю это, чтобы придать вам храбрости, – у нее добротная подоплека продажной девки.

– *Ти*, – сказал барон, в глубоком, молчаливом восхищении слушавший Азию, – *имей талант к растлений, как мой к банкофски дел.*

– Так решено, ангелок! – продолжала Азия.

– *Полючай пьядесят тисыча франк замен сто тисыча. И я даю ишо пьять сотен на другой тень после мой триумф.*

– Ладно! Пойду работать, – ответила Азия. – Ах, запомятовала. Прошу вас пожаловать к нам, – продолжала почтительно. – Мадам встретит мсье ласковая, как кошка, а возможно, и захочет быть вам приятной.

– *Ступай, ступай, торогая*, – сказал банкир, потирая руки. И, улыбнувшись страшной мулатке, он сказал про себя: «Как умно иметь много денег!»

Вскочив с постели, он пошел в контору и с легким сердцем опять занялся своими бесчисленными делами.

Ничто не могло быть пагубнее для Эстер, нежели решение, принятое Нусингеном. Бедная куртизанка отстаивала свою жизнь, отстаивая верность Люсьену. Карлос называл *Не-тронь-меня* это столь естественное сопротивление. Между тем Азия пошла, не без предосторожности, принятой в подобных случаях, рассказать Карлосу о совещании, состоявшемся между нею и бароном, и о том, какую она из всего извлекла пользу. Гнев этого человека был ужасен, как и он сам; он прискакал тотчас же к Эстер в карете с опущенными занавесками, приказав кучеру въехать в ворота. Взбежав по лестнице, бледный от бешенства, двойной обманщик появился перед бедной девушкой; она стояла, когда он вошел; взглянув на него, она упала в кресла, точно у нее ноги подкосились.

– Что с вами, сударь? – сказала она, дрожа всем телом.

– Оставь нас, Европа, – сказал он горничной.

Эстер посмотрела на эту девушку, точно ребенок на мать, с которой его разлучает разбойник, чтобы покончить с ним.

– Извольте знать, куда вы толкаете Люсьена? – продолжал Карлос, оставшись наедине с Эстер.

– Куда? – спросила она слабым голосом, отважившись взглянуть на своего палача.

– Туда, откуда я пришел, мое сокровище!

Красные круги пошли перед глазами Эстер, когда она увидела лицо этого человека.

– На галеры, – прибавил он шепотом.

¹⁵ До основания (*лат.*).

Эстер закрыла глаза, ноги у нее вытянулись, руки повисли, она стала белой как полотно. Человек позвонил, вошла Прюданс.

– Приведи ее в сознание, – сказал он холодно, – я еще не кончил.

В ожидании он прохаживался по гостиной. Прюданс-Европа вынуждена была просить его перенести Эстер на кровать. Он поднял ее с легкостью, выдававшей атлета.

Понадобилось прибегнуть к самым сильным лекарственным средствам, чтобы вернуть Эстер способность понять свою беду. Часом позже бедняжка была в состоянии выслушать того, кто живым кошмаром сидел в изножье ее кровати и чей пристальный взгляд ослеплял ее, точно две струи расплавленного свинца.

– Душенька, – продолжал он. – Люсьен на распутье между жизнью, полной достоинства, блеска, почестей, счастья, и грязной илистой ямой, полной камней, куда он готов был кинуться, когда я повстречался с ним. Семья де Гранлье требует от милого мальчика поместить стоимостью в миллион, прежде чем преподнести ему титул маркиза и предоставить ему эту жердь, именуемую Клотильдой, при помощи которой он достигнет власти. Благодаря нам обоим Люсьен приобрел материнскую усадьбу, древний замок де Рюампре – и не бог вещь как дорого – тридцать тысяч франков всего-навсего! Но адвокату Люсьена посчастливилось, и он к замку пристегнул земельные уголья ценою в миллион, причем заплатил в счет этой суммы лишь триста тысяч. Замок, путевые издержки, наградные посредникам, изловчившимся утаить сделку от местных обитателей, пожрали остатки. Впрочем, сто тысяч помещены нами в одно верное дело, не пройдет и нескольких месяцев, как они превратятся в двести-триста. Через три дня Люсьен воротится из Ангулема. Пришлось ему туда съездить, ведь никто не должен заподозрить, что он составил себе состояние, пролеживая ваши матрацы...

– О нет! – в благородном порыве сказала Эстер, подняв к нему потупленные глаза.

– Я спрашиваю вас, подходящее ли теперь время отпугивать барона? – сказал он спокойно. – А вы позавчера его чуть не убили! Он упал в обморок, точно женщина, прочтя ваше второе письмо. У вас замечательный стиль, с чем вас и поздравляю! Умри барон, что случилось бы с нами? Когда Люсьен выйдет от Святого Фомы Аквинского зятем герцога де Гранлье и вы пожелаете окунуться в Сену... ну что ж, душа моя! я предлагаю вам руку, чтобы нырнуть с вами вместе! Кончают и так. Но все же рассудите прежде! Не лучше ли все-таки жить, повторяя ежечасно: «Какая блестящая судьба, какое счастливое семейство... ведь у него будут дети». *Дети!*.. Думали вы когда-нибудь о том, какое наслаждение погладить своей рукой головку его ребенка?

Эстер закрыла глаза, едва заметно вздрогнув.

– И, глядя на это счастье, как не сказать себе: «Вот мое творение!»

Он умолк, и несколько мгновений оба они молча смотрели друг на друга.

– Вот во что я пытался претворить отчаяние, от которого бросаются в воду, – заговорил опять Карлос. – Можно ли меня назвать эгоистом? Вот какова любовь! Так преданы бывают лишь королям, но я короновал моего Люсьена! И будь я прикован на остаток моих дней к прежней цепи, мне кажется, что я был бы спокоен, думая: «Он на бале, он при дворе». Душа и мысль мои торжествовали бы, пусть плоть моя была бы во власти тюремных надсмотрщиков! Вы жалкая самка, вы и любите как самка! Но любовь у куртизанки, как и у всякой падшей твари, должна была пробудить материнское чувство наперекор природе, обрекающей вас на бесплодие! Если когда-либо под шкурой аббата Карлоса обнаружат бывшего каторжника, знаете, как я поступлю, чтобы не опорочить Люсьена?

Эстер с тревогой ожидала, что он скажет.

– А вот как! – продолжал он после короткого молчания. – Я умру, подобно неграм, проглотив язык. А вы вашим жеманством наводите на мой след. О чем я вас просил?.. Опять надеть юбки Торпиль на шесть месяцев, на шесть недель, чтобы подцепить миллион... Люсьен не забудет вас никогда! Мужчина не забывает существо, которому он, пробуждаясь поутру,

обязан наслаждением чувствовать себя богатым. Люсьен лучше вас... Он любил Корали, она умирает, ее не на что похоронить. Что же он делает? Он не падает в обморок, как вы сейчас, хотя он и поэт; он сочиняет шесть веселых песенок и получает за них триста франков; на эти деньги он и похоронил Корали. Я храню эти песенки, я знаю их наизусть. Ну что ж! Сочините и вы ваши песенки: будьте веселой, будьте озорной! Будьте неотразимой... и ненасытной! Вы поняли меня? Не вынуждайте сказать большее... Ну поцелуйте же вашего папашу. Прощайте...

Когда через полчаса Европа вошла к своей госпоже, она застала ее перед распятием на коленях, в той позе, которую благочестивейший из художников придал Моисею перед неопалимой купиной на горе Хорив, чтобы изобразить всю глубину и полноту его преклонения перед Иеговой. Произнеся последние молитвы, Эстер отреклась от своей прекрасной жизни, от скромности, к которой она себя приучила, от гордости, от добродетели, от любви. Она встала.

– О мадам, такой вы никогда больше не будете! – вскричала Прюданс Сервьен, пораженная божественной красотой своей госпожи.

Она проворно подставила зеркало, чтобы бедняжка могла себя увидеть. Глаза хранили еще частицу души, улетающей на небеса. Кожа еврейки блистала белизною. Ресницы, омытые слезами, которые осушил пламень молитвы, напоминали листву после летнего дождя; солнце чистой любви в последний раз озаряло их своим лучом. На губах как бы дрожал отзвук последней мольбы, обращенной к ангелам, у которых, без сомнения, она заимствовала пальму мученичества, вверяя им свою незапятнанную жизнь. Наконец, в ней чувствовалось то величие, которое было, верно, у Марии Стюарт, когда она прощалась с короной, землей и любовью.

– Я желала бы, чтобы Люсьен видел меня такой, – сказала она, подавляя невольный вздох. – Ну а теперь, – продолжала она дрогнувшим голосом, – *давай валять дурака...*

При этих словах Европа остолбенела, точно услышав кощунствующего ангела.

– Ну что ты так смотришь, будто у меня во рту вместо зубов гвоздика? Непотребная, нечистая тварь, воровка, девка – вот что я теперь! И я жду милорда. Так нагрей же ванну и приготовь наряд. Уже полдень, барон придет, конечно, после биржи, я скажу ему, что жду его; и пусть Азия приготовит *сногшибательный* обед, я хочу свести с ума этого человека... Ну, ступай, моя милая... Будем веселиться, иначе сказать – *работать!*

Она села за свой столик и написала такое письмо:

«Друг мой, если бы кухарка, которую вы мне прислали, никогда не была у меня в услужении, я могла бы подумать, что вашим намерением было известить меня, сколько раз вы падали в обморок, получив позавчера мои записки. (Что поделаешь? Я была очень нервна в тот день, потому что предавалась воспоминаниям о моей горестной жизни.) Но я знаю чистосердечие Азии. И не раскаиваюсь, что причинила вам некоторое огорчение, ведь оно доказало мне, как я вам дорога. Таковы мы, жалкие, презренные существа: настоящая привязанность трогает нас гораздо больше, чем сумасшедшие траты на нас. Что касается до меня, я всегда боялась оказаться подобием вешалки для вашего тщеславия. Я досадовала, что не могу быть для вас чем-либо иным. Ведь, несмотря на ваши торжественные уверения, я думала, что вы принимаете меня за продажную женщину. Так вот, теперь я буду пай-девочкой, но при условии, что вы пообещаете слушаться меня чуточку. Если это письмо покажется вам убедительнее, чем предписания врача, докажите это, навестив меня после биржи. Вас будет ожидать, разубранная вашими дарами, та, которая признает себя навеки покорным орудием ваших наслаждений.

Эстер».

На бирже барон Нусинген был так оживлен, так доволен, так покладист, он соизволил так шутить, что дю Тийе и Келлеры, находившиеся там, не преминули спросить о причине его веселости.

– *Я любим... Мы скоро празднуй новоселье,* – сказал он дю Тийе.

– А во сколько это вам обходится? – в упор спросил его Франсуа Келлер, которому госпожа Кольвиль стояла, по слухам, двадцать пять тысяч франков в год.

– *Никогда этот эсенин, котори есть анкел, не спрашифаль ни лиар.*

– Так никогда и не делается, – отвечал ему дю Тийе. – Для того чтобы им никогда не приходилось о чем-либо просить, они изобретают теток и матерей.

От биржи до улицы Тетбу барон раз семь сказал своему слуге: *«Ви не двигайсь з мест! Стегайт лошадь».*

Он проворно взобрался по лестнице и впервые увидел свою любовницу во всем блеске той холеной красоты, что встречается только у этих девиц, ибо единственным их занятием является забота о нарядах и своей внешности. Выйдя из ванны, цветок был так свеж и благоуханен, что мог бы пробудить желания в самом Роберте д'Арбриссель. На Эстер было прелестное домашнее платье: длинный жакет из черного репса, отделанный басоном из розового шелка, с расходящимися полами, и серая атласная юбка, – этот наряд позаимствовала позже красавица Амиго в I Puritani¹⁶. Косынка из английских кружев с особой кокетливостью ложилась на плечи. Рукава платья были перехвачены узкой тесьмой, разделяющей буфы, которыми с недавнего времени порядочные женщины заменили расширяющиеся кверху рукава, ставшие до уродливости пышными. Легкий чепец из фландрских кружев держался только на одной булавке и, казалось, говорил: *«Эй, улечу!»* – и не улетал, лишь придавая ее головке с пушистыми волосами, причесанными на пробор, несколько небрежный, растрепанный вид.

– Разве не ужасно видеть мадам, такую красавицу, в такой выцветшей гостинной? – сказала Европа барону, открывая перед ним дверь в гостиную.

– *Ну, так идем на улиц Сен-Шори,* – отвечал барон, делая стойку, точно собака перед куропаткой. – *Погода приятный, будем делать прогулка в Елизейски Поля, а матам Сент-Эздеф и Эшени отправят весь ваш туалет, белье и наш обет на улица Сен-Шори.*

– Я сделаю все, что вы пожелаете, – сказала Эстер, – если вы сделаете мне удовольствие и будете называть мою повариху Азией, а Эжени – Европой. Я даю эти имена всем женщинам, служащим у меня, начиная с двух первых. Я не люблю перемен...

– *Ази... Ироп...* – повторил барон, расхохотавшись. – *Какой ей забавный!.. Ви имей воображень. Я кушал бы много обетов, прежде чем догадаться назифать айн кухарка Ази.*

– Наше ремесло быть забавными, – сказала Эстер. – Послушайте! Неужели бедная девушка не может заставить Азию кормить себя, а Европу – одевать, тогда как к вашим услугам весь мир? Такова традиция, не больше! Есть женщины, которые бы пожрали всю землю, а мне нужна только половина. Вот и все!

«Что за женщина эта госпожа Сент-Эстев!» – сказал про себя барон, восхищаясь переменой в обращении Эстер.

– Европа, душенька, а где же моя новая шляпа? – сказала Эстер. – Черная атласная шляпка, на розовом шелку и с кружевами.

– Мадам Тома́ еще не прислала ее... Поживее, барон, поживее! Приступайте-ка к обязанностям чернорабочего, иначе сказать, счастливец! Счастье – тяжелый груз! Ваш кабриолет ожидает вас, поезжайте к мадам Тома, – сказала Европа барону. – Прикажите вашему слуге просить шляпку госпожи Ван Богсек... А главное, – шепнула она ему на ухо, – привезите ей букет самый что ни есть красивый в Париже. На дворе зима, постарайтесь достать тропических цветов.

Барон сошел вниз и сказал слугам: *«К матам Дома́!»* Слуга доставил господина к знаменитой кондитерше. *«Это мотисток, дурак, а не пирошник»*, – сказал барон, побежав в Пале-Рояль к мадам Прево, где он приказал составить букет в пять луидоров, куда слуга ходил к знаменитой шляпнице.

¹⁶ Пуритане (ит.).

Гуляя по Парижу, поверхностный наблюдатель спрашивает себя: какие безумцы покупают эти сказочные цветы, красующиеся в лавке известной цветочницы, и всякие заморские плоды европейца Шеве, единственного, кто помимо «Роше-де-Канкаль» предлагает обозрению публики настоящую, прелестную выставку даров природы Старого и Нового Света. В Париже каждодневно возникают сотни страстей наподобие страсти Нусингена, о чем свидетельствуют те редкости, которых не смеют позволить себе королевы, но которые преподносят, да еще на коленях, девицам, любящим, по словам Азии, *форснуть*. Без этой маленькой подробности честная мещанка не поняла бы, каким образом таит богатство в руках этих созданий, чье общественное назначение, согласно теории фурьеристов, состоит, быть может, в том, чтобы исправить вред, нанесенный Скупостью и Алчностью. Траты эти для общественного организма, без сомнения, то же, что укол ланцета для полнокровного человека. За два месяца Нусинген влил в торговлю более двухсот тысяч франков.

Когда престарелый воздыхатель воротился, наступила ночь, букет был не нужен. Время прогулок на Елисейских Полях в зимнюю пору от двух до четырех. Однако карета пригодилась Эстер, чтобы проехать с улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где она вступила во владения *маленьким тфорцом*. Никогда еще, скажем прямо, Эстер не случилось быть предметом подобного поклонения, подобной щедрости; она была изумлена, но остерегалась, как и все неблагодарные королевы, выказать малейшее удивление. Когда вы входите в собор Святого Петра в Риме, вам, чтобы вы оценили размеры и высоту этого короля кафедральных соборов, указывают на мизинец статуи, невесть какой огромной величины, в то время как вам он кажется обыкновенным мизинцем. Но поскольку так часто критиковали описания, столь необходимые, впрочем, для истории наших нравов, тут приходится подражать римскому чичероне. Итак, барон, войдя в столовую, не преминул попросить Эстер пощупать ткань оконных занавесов, ниспадавших с царственной пышностью, подбитых белым муаром и отделанных басоном, достойным корсажа португальской принцессы. То была шелковая ткань, на которой китайское терпение изобразило азиатских птиц с тем совершенством, образец которого существует лишь в средневековых пергаментных или в требниках Карла V – гордости императорской библиотеки в Вене.

– *Он стоил две тысячи франк атин локоть для айн милорд, котори привозил эта занавес с Интши...*

– Очень хорошо! Прелестно! Какое удовольствие будет здесь пить шампанское! – сказала Эстер. – Пена не будет забрызгивать оконные стекла!

– О мадам! – сказала Европа. – Поглядите только на ковер!

– *Ковер нарисован для герцог Дорлония, мой друг, но герцог находил, что он одиень дорог, и я тогда взял ковер для вас, как вы есть королев!* – сказал Нусинген.

По воле случая этот ковер, работы одного из наших искуснейших рисовальщиков, находился в полном соответствии с причудливой китайской драпировкой. Стены, расписанные Шиннером и Леоном де Лора, представляли взгляду сладострастные сцены, оттененные панно резного черного дерева, приобретенного на вес золота у дю Соммерара, поблескивавшие тонкой золотой сеткой. Теперь вы можете судить об остальном.

– Вы хорошо сделали, что привезли меня сюда, – сказала Эстер. – Нужна по меньшей мере неделя, чтобы я привыкла к моему дому и не казалась бы какой-то выскочкой...

– *Мой том!* – радостно повторил барон. – *Ви, стало бить, принимайте!*

– Ну да, тысячу раз да, глупое животное, – сказала она, улыбаясь.

– *Шифотни било би достатошно...*

– Глупое – это ласкательное слово, – возразила она, глядя на него.

Бедный биржевой хищник взял руку Эстер и приложил к своему сердцу: он был в достаточной мере животным, чтобы чувствовать, но чересчур глупым, чтобы найти нужное слово.

– *Видаль, как он бьется... для малынки ласковы слоф!* – сказал он. И повел свою богиню (*погинь*) в спальню.

– О мадам! – сказала Эжени. – Я лучше уйду отсюда! Так соблазнительно лечь в постель.

– Послушай, мой слоненок! Я хочу с тобой расплатиться за все это сразу... – сказала Эстер. – После обеда мы поедем вместе в театр. Я изголодалась по театру.

Минуло ровно пять лет, как Эстер в последний раз ездила в театр. Весь Париж стекался тогда в Порт-Сен-Мартен смотреть одну из тех пьес, которые благодаря таланту актеров звучат страшной жизненной правдой, – «Ричарда д'Арлингтона». Как все простодушные натуры, Эстер одинаково любила ощущать дрожь ужаса и проливать слезы умиления.

– Мы поедем смотреть Фредерика Леметра, – сказала она. – Я обожаю этого актера!

– *Такой кровожадны драм!* – сказал Нусинген, увидев, что его в мгновение ока принудили выставить себя напоказ.

Барон послал слугу достать литературную ложу в бельэтаже. Еще одна особенность Парижа! Когда недолговечный Успех собирает полный зал, всегда найдется литерная ложа, которую можно купить за десять минут до поднятия занавеса; директора оставляют ее за собой, если не представится случай продать ее какому-нибудь влюбленному вроде Нусингена. Ложа эта, как и изысканные яства от Шеве, – налог, взимаемый с причуд парижского Олимпа.

О сервировке не стоит и говорить. Нусинген взгромоздил на стол три сервиза: малый сервиз, средний сервиз, большой сервиз. Десертная посуда большого сервиза, тарелки, блюда – все было сплошь из чеканного золоченого серебра. Банкир, чтобы не создалось впечатления, будто стол завален золотом и серебром, ко всем этим сервизам присовокупил фарфор очаровательнейшей хрупкости, во вкусе саксонского, и более дорогой, нежели серебряный сервиз. Что касается до столового белья, то камчатные саксонские, английские, фландрские и французские скатерти состязались в красоте вытканного на них узора.

Во время обеда пришла очередь барона удивиться, вкушая яства Азии.

– *Я теперь понимаю, почему вы называете кухарку Ази: это айн азиатски кухня.*

– Ах! Я начинаю верить, что он меня любит, – сказала Эстер Европе. – Он сказал нечто похожее на остроту.

– *Я имей их несколько,* – самодовольно сказал он.

– Право, он еще больше Тюркаре, чем говорят! – вскричала насмешливая куртизанка, услышав ответ, достойный тех знаменитых изречений, которыми славился банкир.

Стол, чрезвычайно пряный, был рассчитан на то, чтобы испортить барону желудок и вынудить его уйти домой пораньше, – вот какого рода удовольствием окончилось для барона первое свидание с Эстер! В театре ему пришлось выпить бесчисленное количество стаканов сахарной воды, и он оставлял Эстер одну во время антрактов. По стечению обстоятельств, столь предвиденному, что оно не могло быть названо случаем, Туллия, Мариетта и госпожа дю Валь-Нобль присутствовали в тот день на спектакле. «Ричард д'Арлингтон» пользовался тем сумасшедшим и, кстати, заслуженным успехом, какой можно наблюдать только в Париже. Смотря эту драму, все мужчины понимали, что можно выбросить свою законную жену в окно, а всем женщинам приятно было видеть себя незаслуженно обиженными. Женщины говорили про себя: «Это уж чересчур! Нас понуждают на такие поступки против нашей воли... но это с нами часто случается!» Однако создание столь прекрасное, как Эстер, разряженное, как Эстер, не могло показаться безнаказанно в литерной ложе театра Порт-Сен-Мартен. Оттого-то, едва лишь начался второй акт, в ложе двух танцовщиц словно разыгралась буря: они установили тождество прекрасной незнакомки с Торпиль.

– О-о! Откуда она взялась? – сказала Мариетта госпоже дю Валь-Нобль. – Я думала, она утопилась...

– Неужели это она? Она кажется мне раз в тридцать моложе и красивее, нежели шесть лет назад.

– Возможно, она хранилась во льду, как госпожа д'Эспар и госпожа Зайончек, – сказал граф де Брамбур, вывезший этих трех женщин на представление в ложу бенуара. – Неужели это

та самая *крыса*, которую вы хотели прислать мне, чтобы прибрать к рукам моего дядюшку? – спросил он Туллию.

– Та самая! – отвечала Туллия, раскланиваясь, как на сцене. – Дю Брюэль, ступайте в партер, посмотрите, она ли это в самом деле.

– И как она *задирает нос!* – вскричала госпожа дю Валь-Нобль, пользуясь чудесным выражением из словаря этих девиц.

– О, она вправе кичиться! – возразил граф де Брамбур. – Ведь она с моим другом, бароном Нусингеном! Пойду туда.

– Ужели это та мнимая Жанна д'Арк, покорившая Нусингена, о которой нам все уши прожужжали последние три месяца?.. – спросила Мариетта.

– Добрый вечер, дорогой барон, – сказал Филипп Бридо, входя в ложу Нусингена. – Так вы, стало быть, бракосочетались с мадемуазель Эстер?.. Сударыня, я бедный офицер, которого вы когда-то выручили из беды в Иссудене... Филипп Бридо...

– Не помню, – сказала Эстер, наводя бинокль на залу.

– *Мотмазель*, – отвечал барон, – *не назифают больше просто Эздер; он полючаль имя матам Жампи (Шампи) от атна маленьки имени, что я для он покупаль...*

– Если вы ведете себя по-джентльменски в отношении госпожи де Шампи, то сама она, как говорят эти дамы, чересчур *задирает нос!*.. Сударыня, если вам неужгодно вспомнить меня, то не удостоите ли вы признать Мариетту, Туллию, госпожу дю Валь-Нобль? – обратился к Эстер этот выскочка, снискавший благодаря герцогу де Мофриньез благосклонность дофина.

– Если эти дамы будут милы со мной, я расположена быть им приятной, – отвечала сухо госпожа де Шампи.

– Милы! – вскричал Филипп. – Они премилые, они называют вас Жанной д'Арк.

– *Но если эти дам желают иметь ваш компани*, – сказал Нусинген, – *я оставляй вас, потому я много кушал. Ваш карет и ваш слуг будут вас ожидать. Шертовски Ази!*

– Неужели вы оставите меня одну в первый же вечер? – сказала Эстер. – Полноте! Надобно уметь умирать на борту корабля. Мне нужен свой мужчина для выездов. Ну а если меня оскорбят? Кого мне звать на помощь?

Эгоизм старого миллионера должен был отступить перед обязанностями любовника. У Эстер были свои причины держать при себе своего мужчину: принимая старых знакомых в его обществе, она рассчитывала уберечь себя от слишком настойчивых расспросов, неизбежных с глазу на глаз. Филипп Бридо поспешил вернуться в ложу танцовщиц и сообщил им о положении вещей.

– А-а! Так вот кто унаследует мой дом на улице Сен-Жорж! – сказала с горечью госпожа дю Валь-Нобль, которая, на языке этого сорта женщин, *осталась на бобах*.

– Может статься, – отвечал полковник. – Дю Тийе говорил мне, что барон ухлопал на этот дом раза в три больше денег, чем ваш бедняга Фале.

– Пойдем к ней? – сказала Туллия.

– Сказать по чести, нет! – возразила Мариетта. – Она чересчур хороша, я зайду к ней домой.

– Мне кажется, я нынче недурна, могу рискнуть, – отвечала Туллия.

Итак, отважная прима-балерина вошла в ложу Эстер во время антракта; они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

– Откуда ты появилась, дорогая? – спросила танцовщица, не сдержав любопытства.

– О-о! Я жила пять лет в Альпах, в замке, с одним англичанином, ревнивым, как тигр. Это был настоящий *туз*. Я называла его: *каратуз*. Он был маленького роста, как судья Феррет. И вот я попала к банкиру! Как говорит Флорина, «из Сциллы да в Харибду». А теперь, когда я в Париже, я так хочу веселиться, что сам карнавал мне не брат! У меня будет открытый дом.

Ах! Надо встряхнуться после пяти лет затворничества, и я намерена наверстать упущенное. Пять лет с англичанином – это чересчур! Должникам и то дают всего только шесть недель...

– Тебе барон подарил эти кружева?

– Нет, это остатки от моего туза... Мне так не везет, дорогая! Он был полон желчи, как смех друзей при наших успехах; я думала, что он умрет через десять месяцев. Куда там! Он был несокрушим, как Альпы. Не надо доверять тому, кто жалуется на печень. Я слышать больше не хочу о печени... Я чересчур верила... небылицам... Мой туз меня обокрал. Он все же умер, но не оставив завещания, и его семья выставила меня за дверь, точно я какая-нибудь зачумленная. Поэтому я и сказала вот этому толстяку: «Плати за двоих!» Вы правы, называя меня Жанной д'Арк, я обесславила Англию! И я умру, быть может, сожженная...

– Любовью! – сказала Туллия.

– ...и заживо! – отвечала Эстер, задумавшись. Барон смеялся, слушая эти грубоватые шуточки, но они не всегда доходили до него сразу, оттого-то его смех напоминал запоздалые вспышки фейерверка.

Каждый из нас живет в какой-нибудь среде, и все мы, в любой среде, равно заражены любопытством. В Опере приключения Эстер на другой же день стали новостью кулис. Уже между двумя и четырьмя часами весь Париж Елисейских Полей признал Торпиль и выведаль наконец, кто был предметом страсти барона Нусингена.

– Вы, верно, помните, – сказал Блонде, встретившись с де Марсе в фойе Оперы, – что Торпиль исчезла на другой же день после маскарада, когда мы ее признали в любовнице этого мальчишки Рюампре?

В Париже все становится известным, как в провинции. Полиция с Иерусалимской улицы не так искусна, как полиция большого света, где все, сами того не замечая, следят друг за другом. Поэтому Карлос верно угадал, в чем была опасность положения Люсьена во время эпопеи на улице Тетбу и позже.

Нет ужаснее положения, чем то, в котором очутилась госпожа дю Валь-Нобль, и выражение *осталась на бобах* передает превосходно ее состояние. Беспечность и расточительность таких женщин мешает им заботиться о будущем. В этом особом мире, гораздо более забавном и остроумном, нежели принято думать, только женщины, не обладающие той бесспорной, почти неуязвимой красотой, которая удовлетворяет всем вкусам, короче говоря, только женщины, способные внушать любовь лишь по прихоти чувств, задумываются о старости и составляют состояние. «Ты, стало быть, боишься подурнеть, что так хлопочешь о ренте?..» – вот слова Флорины, сказанные Мариетте и объясняющие одну из причин этого разнузданного мотовства. Спекулянт ли покончит с собой, мот ли растрясет свою кошину – во всех подобных случаях эти женщины, привыкшие к бесстыдной роскоши, внезапно впадают в страшную нужду. Они ищут спасения у торговки нарядами, они продают почти даром редкостные драгоценности, они входят в долги, только бы сохранить видимость роскоши, что позволяет им надеяться опять обрести утраченное: кассу, откуда можно черпать. Эти взлеты и падения в жизни куртизанок достаточно объясняют, отчего так дорого обходится связь с ними, на самом деле почти всегда умело подготовленная по тому рецепту, по которому Азия *пристегнула* (другое слово из их словаря) Нусингена к Эстер. Поэтому каждый, кому хорошо знаком Париж, отлично знает, что ему следует думать, встретив на Елисейских Полях, этом суетном и шумном базаре, женщину в наемной карете, тогда как ровно год или полгода назад она появлялась там в экипаже умопомрачительной роскоши самого хорошего тона. «Когда окунешься в Сент-Пелажи, надо уметь вынырнуть в Булонском лесу», – говорила Флорина, посмеиваясь вместе с Блонде над невзрачным виконтом де Портандюэр. Иные ловкие женщины никогда не подвергают себя опасности подобного сравнения. Они живут в четырех стенах отвратительных меблированных комнат, где искупают былые излишества тягостными лишениями, известными только путешественникам, заблудившимся в какой-нибудь Сахаре, но не делают ни малейшей попытки экономить

свои средства. Они позволяют себе выезжать в маскарад, затевают поездки в провинцию, они появляются в щегольских нарядах на бульварах в солнечные дни. Приятельницы не отказывают им в преданности, ибо это чувство свойственно тем, кто изгнан из общества. Впрочем, женщине счастливой, но которая в глубине души думает: «И со мной это может случиться», нетрудно оказать им эту помощь. Поддержку более действенную оказывает все же торговка нарядами. Когда эта ростовщица становится заимодавцем, она ворошит и обшаривает все старческие сердца для выкупа заклада, состоящего из полусапожек и шляпок. Госпоже дю Валь-Нобль и на ум не приходило, чтобы самый богатый, самый ловкий биржевой маклер мог разориться, и катастрофа настигла ее врасплох. Она тратила деньги Фале на свои прихоти, предоставляя ему заботиться о насущных нуждах и о своем будущем.

«Неужели можно было, – говорила она Мариетте, – вообразить что-либо подобное? Ведь он казался таким *славным малым*». Почти во всех слоях общества *славный малый* — это человек, широкий по натуре, который раздает экую направо и налево, не требуя их возвращения, и в своих поступках следует правилам известной щепетильности, чуждой пошлого добронравия, вынужденного и лицемерного. Многие слывут добродетельными и честными, разоряя, подобно Нусингену, своих благодетелей, между тем как нередко люди, выпущенные из исправительной тюрьмы, выказывают безукоризненную честность по отношению к женщине. Добродетель совершенная, мечта Мольера – Альцест, – чрезвычайная редкость, однако она встречается везде, даже в Париже. Определение *славный малый* говорит об известной мягкости характера, ничего, впрочем, не доказывающей. Такова особенность этого человека; вот и у кошки шелковистая шерсть, а домашние туфли так удобны! Стало быть, Фале, как славный малый, по смыслу, приданному этому прозвищу содержанками, должен был предупредить любовницу о грозящем ему банкротстве и как-то обеспечить ее. Д’Этурни, дамский угодник, был славный малый, он плутовал в игре, но приберет тридцать тысяч франков для любовницы. Поэтому на ужинах во время карнавала женщины отвечали его обвинителям: «*Все равно!*.. Что бы вы ни говорили, а Жорж был славный малый, у него были хорошие манеры, он заслуживал лучшей участи!» Эти девицы издеваются над законами, они обожают известную деликатность; они способны продаться, как Эстер, во имя тайной, прекрасной мечты, их единственной религии. Госпожа дю Валь-Нобль с большим трудом спасла при крушении лишь несколько драгоценностей, тем не менее над ней тяготело тяжелое обвинение: «Она разорила Фале». Ей исполнилось тридцать лет, но, хотя красота ее была в полном расцвете, она могла прослыть старухой, тем более что при подобных катастрофах женщина оказывается лицом к лицу со своими соперницами. Мариетта, Флорина и Туллия охотно приглашали подругу отобедать с ними, оказывали ей некоторую помощь, но, не зная цифры ее долгов, не отваживались исследовать всей глубины пропасти. Промежуток в шесть лет, при кипучести парижского моря, образовал между Торпиль и госпожой дю Валь-Нобль чересчур большое расстояние, чтобы женщина, *оставшаяся на бобах*, обратилась с просьбой к женщине, задающей тон, но госпожа дю Валь-Нобль слишком хорошо знала великодушные Эстер и была уверена, что ее прежняя подруга вспомнит о той, чье наследство, по выражению самой же Валь-Нобль, переходит к ней, и при встрече, как бы случайной, а в самом деле подстроенной, не отвернется от нее. Чтобы этот случай представился, госпожа дю Валь-Нобль, скромно одетая, как порядочная женщина, каждый день прогуливалась на Елисейских Полях рука об руку с Теодором Гайаром, который в конце концов женился на ней, а в ту пору, когда она попала в беду, вел себя безупречно в отношении своей бывшей любовницы, дарил ей ложи в театры, устраивал приглашения на все развлечения. Она льстила себя надеждой, что Эстер в хорошую погоду пожелает прогуляться, и они тогда встретятся лицом к лицу. Кучером у Эстер был Паккар, ибо весь ее домашний уклад в пять дней был устроен Азией, Европой и Паккаром по указаниям Карлоса таким образом, что особняк на улице Сен-Жорж стал неприступной крепостью. Со своей стороны, Перад, побуждаемый глубокой ненавистью, жадной мести и, более всего, желанием устроить свою ненаглядную Лидию,

избрал местом своих прогулок Елисейские Поля, как только Контансон сказал ему, что там можно встретить любовницу господина Нусингена. Перад так хорошо усвоил манеру одеваться на английский лад, так неподражаемо говорил по-французски, с пришепетыванием, которое англичане вносят в нашу речь, так безукоризненно владел английским языком, настолько знал дело этой страны, где ему довелось побывать три раза по поручению парижской полиции в 1779–1786 годах, что, играя роль англичанина при послах, даже в Лондоне ни в ком не возбуждал подозрений. Перад, во многом похожий на Мюсона, знаменитого мистификатора, умел переряжаться с таким искусством, что Контансон однажды не узнал его. Сопутствуемый Контансоном, изображавшим мулата, Перад изучал Эстер и ее челядь тем рассеянным взглядом, который, однако ж, видит все. И конечно, в день встречи Эстер с госпожой дю Валь-Нобль он оказался на боковой аллее, где владельцы собственных выездов гуляют в сухую и ясную погоду. Непринужденно, как настоящий набоб, которому ни до кого нет дела, Перад, сопровождаемый мулатом в ливрее, пошел за женщинами на таком расстоянии, чтобы поймать обрывки их разговора.

– Ну что же, душенька! – говорила Эстер госпоже дю Валь-Нобль. – Приезжайте ко мне. Нусинген сам у себя в долгу: не оставит же он без гроша любовницу своего маклера...

– Тем более, что говорят, будто он его разорил, – сказал Теодор Гайар, – и мы могли бы его *шантажировать*...

– Он обедает у меня завтра, приезжайте, дорогая, – сказала Эстер. И шепнула ей на ухо: «Я делаю с ним что хочу, а он не имеет еще ни вот столечко!» Она приложила кончик пальца, обтянутого перчаткой, к своим красивым зубам и сделала достаточно известный и выразительный жест, означающий: «Ни-че-го!»

– Ты держишь его в руках...

– Дорогая моя, пока он только заплатил мои долги...

– Ну и мотовка же ты! – вскричала Сюзанна дю Валь-Нобль.

– О-о! Своим мотовством я бы отпугнула от себя самого министра финансов! – отвечала Эстер. – Теперь я желаю получить тридцать тысяч франков ренты, прежде чем пробьет полночь!.. Мой старик очень мил, я не могу жаловаться... Все идет отлично! Через неделю мы празднуем новоселье, ты будешь тоже... Утром он преподнесет мне купчую на дом на улице Сен-Жорж. Не имея ренты в тридцать тысяч франков, прилично жить в таком доме невозможно, ведь надо кое-что приберечь и на черный день. Я испытала нужду, и с меня хватит. Есть вещи, которыми сразу сыт по горло.

– А ты говорила: «Богатство – это я!» Как ты переменялась! – воскликнула Сюзанна.

– Таков воздух Швейцарии, там становишься бережливой... Послушай-ка, поезжай туда, дорогая! *Обработай швейцарца*, и, как знать, может, заработаешь себе мужа! Они там еще не знают, чего стоят такие женщины, как мы... Но, как бы то ни было, ты вернешься с любовью к ренте в ценных бумагах, любовью почтенной и нежной! Прощай!

Эстер села в свою прекрасную карету, запряженную серыми в яблоках рысаками, самыми великолепными, каких только можно было сыскать в Париже.

– Женщина, которая садится в карету, – сказал тогда Перад по-английски Контансону, – хороша, но я предпочитаю ту, что прогуливается; ты пойдешь следом за ней и узнаешь, кто она такая.

– Хочешь послушать, что сказал этот англичанин? – сказал Теодор Гайар и перевел госпоже дю Валь-Нобль слова Перада.

Прежде чем заговорить по-английски, Перад отпустил на этом языке словечко, услышав которое Теодор Гайар поморщился, и Перад понял, что журналист знает английский язык. Госпожа дю Валь-Нобль, искоса поглядывая, не идет ли за ней мулат, чрезвычайно медленно пошла по направлению к улице Луи-де-Гран, где она жила в приличных меблированных комнатах. Предприятие это принадлежало некой госпоже Жерар, которой в дни своего великолепия

госпожа дю Валь-Нобль оказала какую-то услугу, за что эта дама теперь выказывала признательность, устроив ее наилучшим образом. Добрая женщина, почтенная мещанка, исполненная добродетелей и даже благочестия, принимала куртизанку как существо высшего порядка; она все еще помнила ее во всем блеске роскоши, она почитала ее, как низложенную королеву; она поручала ей своих дочерей; и, что естественнее всего, куртизанка относилась к своим обязанностям так добросовестно, что, сопровождая девушек в театр, вполне заменяла им мать; обе девицы Жерар ее очень любили. Славная и достойная хозяйка гостиницы напоминала благородных священников, для которых эти женщины, поставленные вне закона, – только создания, нуждающиеся в помощи и любви. Госпожа дю Валь-Нобль уважала это воплощение порядочности и, беседуя с ней по вечерам и жалуясь на свои невзгоды, порой завидовала ее судьбе. «Вы еще красивы, вы можете еще кончить хорошо», – утешала ее госпожа Жерар. Впрочем, падение госпожи дю Валь-Нобль было лишь относительным. У этой женщины, такой расточительной и элегантной, было еще достаточно нарядов, и она могла позволить себе при случае появляться во всей своей красе, как то было на представлении «Ричарда д'Арлингтона» в театре Порт-Сен-Мартен. Госпожа Жерар еще достаточно щедро оплачивала наемные кареты, в которых нуждается женщина, *оставшаяся на бобах*, чтобы выезжать на обеды, в театры и возвращаться оттуда домой...

– Ну что ж, дорогая мадам Жерар, – сказала она честной матери семейства, – как будто в моей судьбе наступает перемена...

– О мадам, тем лучше! Но впредь будьте умницей, думайте о будущем... Не входите больше в долги. Ведь так трудно выпроваживать всех этих людей, которые вас ищут!..

– Э-э! Не жалейте этих мерзавцев! Все они хорошо поживились на мне. Послушайте! Вот билеты в Варьете для ваших девочек, хорошая ложа во втором ярусе. Если вечером меня спросят, а я еще не ворочусь, все же попросите пройти наверх. Адель, моя бывшая горничная, будет там; я вам ее пришлю.

Госпожа дю Валь-Нобль, у которой не было ни тетки, ни матери, принуждена была обратиться к помощи горничной (тоже *оставшейся на бобах*) и выпустить ее в роли Сент-Эстев перед незнакомцем, победа над которым позволила бы ей подняться на прежнюю ступень. Она отправилась обедать с Теодором Гайаром, которому в тот вечер предстояло *развлечение*, короче сказать званый обед, что давал Натан в ответ на проигранное пари, – один из тех кутежей, когда приглашенных предупреждают: «Будут женщины».

Перад не без особых к тому причин решился самолично принять участие во всей этой истории. Впрочем, любопытство его, как и любопытство Корантена, было так живо задето, что он и без всяких причин охотно бы вмешался в эту драму. В ту пору политика Карла X завершила последний этап своего развития. Поручив бразды правления министрам, облеченным его доверием, король готовил захват Алжира, чтобы, воспользовавшись славой, которую принесет ему эта победа, облегчить задуманный им, как тогда говорили, государственный переворот. Внутри страны никто больше не составлял заговоров. Карл X полагал, что у него нет противников. Но в политике, как в море, бывает обманчивое затишье. Корантен пребывал, таким образом, в полном бездействии. В подобном положении опытный охотник, чтобы упражнять свою руку, стреляет, за неимением дичи, по воробьям. Так Домициан, за неимением христиан, убивал мух. Контансон, свидетель ареста Эстер, изощренным чутьем сыщика великолепно оценил значение этого хода. Как мы видели, плут даже не потрудился скрыть свое мнение от барона Нусингена. «В чью же пользу разыгрывается вокруг страсти банкира комедия выкупа?» – вот первый вопрос, который задали себе оба друга. Признав в Азии действующее лицо этой пьесы, Контансон надеялся через нее дойти до автора; но она выскальзывала из его рук, точно угорь, прячась в парижской тине, и, когда она опять вынырнула в качестве кухарки у Эстер, пособничество мулатки показалось ему необъяснимым. Мастера сыска впервые, таким образом, натолкнулись на текст, не поддающийся истолкованию и, однако ж, таивший какой-

то темный смысл. Сломать печать молчания не помогли Контансону и три последовательных дерзких набега на дом на улице Тетбу. Пока там жила Эстер, привратник был нем и, казалось, перепуган до смерти. Не пообещала ли Азия отравленным клеткам всей его семье в случае нескромности? На другой же день, как только Эстер съехала с квартиры, Контансон нашел, что привратник в некоторой степени обрел здравый рассудок и весьма сожалел о дамочке, которая, как он выражался, питала его крохами со своего стола. Контансон, одетый торговым агентом, приценивался к квартире и выслушивал сетования привратника, подшучивая над ним и перебивая его вопросами: «Но возможно ли это?» – «Да, да, мсье! Пять лет прожила взаперти тут эта дамочка. И ревнивец же был ее любовник, хотя поведения она была самого скромного. А с какими предосторожностями он приезжал к ней! Бывало, и входит в дом, и выходит из дому крадучись! Впрочем, этот молодой человек был красавец собою». Люсьен гостил еще в Марсаке, у своей сестры, госпожи Сешар. Как только он вернулся, Контансон послал привратника на набережную Малакэ спросить господина де Рюампре, согласен ли он продать мебель в квартире, покинутой госпожой Ван Богсек. Привратник признал в Люсьене таинственного любовника молодой вдовы, а Контансон большего и не желал. Можно судить, как велико было смущение Люсьена и Карлоса, хотя они этого старались не выказать и пробовали убедить привратника, что он сошел с ума.

За сутки Карлос организовал контрполицию, уличившую Контансона в шпионаже, застав его на месте преступления. Контансон, под видом рыночного разносчика, уже два раза приносил провизию, купленную утром Азией, и два раза входил в особняк на улице Сен-Жорж. Корантен, со своей стороны, не дремал; но он стал в тупик, поверив в подлинность особы Карлоса Эррера, после того как выяснил, что этот аббат, тайный посланец Фердинанда VII, приехал в Париж в конце 1823 года. Все же Корантен должен был изучить причины, побудившие этого испанца покровительствовать Люсьену де Рюампре. Вскоре Корантена осведомили, что Эстер была пять лет любовницей Люсьена. Стало быть, подмена Эстер англичанкой произошла в интересах денди. Средств к существованию у Люсьена не было, ему отказывали в руке мадемуазель де Гранлье, и вместе с тем он только что купил за миллион поместье де Рюампре. Корантен ловко заставил действовать начальника королевской полиции, и тот, запросив по поводу Перада начальника префектуры, получил сообщение, что в этом деле истцами были не более и не менее, как граф де Серизи и Люсьен де Рюампре. «Все ясно!» – воскликнули разом Перад и Корантен. План двух друзей был начертан в одну минуту. «У этой девицы, – сказал Корантен, – были связи, у нее есть подруги. Не может быть, чтобы среди них не нашлось хотя бы одной в бедственном положении; кто-нибудь из нас должен сыграть роль богатого иностранца, который возьмет ее на содержание; мы заставим их встречаться. Они друг в друге нуждаются, когда им приходится *ловить* любовников; и мы будем тогда в центре событий». Естественно, роль англичанина Перад прочил для себя. Ему улыбалось вести разгульную жизнь, связанную с раскрытием заговора, жертвой которого он оказался, между тем как Корантен, человек довольно вялый, постаревший на своей работе, нимало не притязал на это. Преобразившись в мулата, Контансон тотчас же ускользнул от контрполиции Карлоса. За три дня до встречи Перада и госпожи дю Валь-Нобль на Елисейских Полях бывший агент господ де Сартина и Ленуара, снабженный паспортом по всей форме, остановился в гостинице «Мирабо», что на улице де ла Пэ, прибыв из заморских колоний через Гавр в коляске настолько забрызганной грязью, точно она и впрямь проделала путь из Гавра, а не прибыла в Париж прямехонько из Сен-Дени.

Карлос Эррера, со своей стороны, отметил паспорт в испанском посольстве и подготовил всю набережную Малакэ к тому, что он отбывает в Мадрид. И вот почему. Еще несколько дней – Эстер станет владелицей особняка на улице Сен-Жорж и получит бумагу на тридцать тысяч франков ренты; Европа и Азия достаточно ловки, чтобы продать эту ренту и тайно передать деньги Люсьену. Люсьен, разбогатевший якобы благодаря щедрости сестры, выплатит все, что

остался должен, за поместье де Рюампре. Никто не нашел бы ничего предосудительного в его поведении. Одна Эстер могла оказаться нескромной, но она скорее умерла бы, чем повела бровью. Клотильда уже нацепила розовый платочек на свою журавлиную шею, значит, в особняке де Гранлье партия была выиграна. Акции парижских омнибусов поднялись втрое. Карлос, исчезая на несколько дней, расстраивал всякие злостные замыслы. Человеческая осторожность предвидела все, промаха быть не могло. Лжеиспанец должен был уехать на другой день после встречи Перада с госпожой дю Валь-Нобль на Елисейских Полях. И вот, в ту же ночь, в два часа, Азия приехала в фиакре на набережную Малакэ и увидела, что кочегар всей этой машины покуривает трубку в своей спальне; он еще раз продумывал только что изложенное нами в коротких словах, – так автор перечитывает рукопись, чтобы убедиться, нет ли в ней каких-либо погрешностей. Человек подобного склада не желал дважды попасть впросак, как это случилось при появлении привратника с улицы Тетбу.

– Паккар, – сказала Азия на ухо своему господину, – видел нынче днем, в половине третьего, на Елисейских Полях Контансона, переряженного мулатом; он служит лакеем при одном англичанине, который уже три дня кряду прогуливается на Елисейских Полях и следит за Эстер. Паккар узнал этого пса по глазам, как и я, когда он втерся к нам под видом рыночного разносчика. Паккар проводил девочку таким манером, чтобы не терять из виду эту шельму. Контансон живет в гостинице «Мирабо»; но он обменялся таким понимающим взглядом с англичанином, что невозможно, говорит Паккар, чтобы этот англичанин был англичанином.

– Напали на наш след, – сказал Карлос. – Я уеду не раньше чем послезавтра. Конечно, это Контансон подослал к нам привратника с улицы Тетбу; надобно узнать, враг ли нам мнимый англичанин.

В полдень мулат господина Самуэля Джонсона степенно прислуживал своему хозяину, который завтракал, как всегда, с нарочитой прожорливостью. Перад желал изобразить англичанина из *пьянчуг* – он не выезжал иначе как под хмельком. Он носил черные суконные гетры, доходившие ему до колен и на ватной стеганой подкладке, чтобы ноги казались полнее; панталоны его были подбиты толстейшей бумазеей; жилет застегивался до подбородка; синий галстук окутывал шею до самых щек; рыжий паричок закрывал половину лба; он прибавил себе толщинки дюйма на три, – таким образом, самый давнишний завсегдатай кафе «Давид» не мог бы его узнать. По его широкому в плечах черному фраку, просторному и удобному, как английский фрак, прохожий неминуемо принял бы его за англичанина-миллионера. Контансон выказывал сдержанную наглость лакея, доверенного слуги набоба; он был замкнут, спесив, малообщителен, исполнен презрения к людям, позволял себе резкие выходки и нередко повышал голос. Перад кончал вторую бутылку, когда лакей из гостиницы, вопреки правилам, без стука впустил в комнату человека, в котором Перад безошибочно, как и Контансон, признал жандарма в штатской одежде.

– Господин Перад, – шепнул на ухо набобу подошедший к нему жандарм, – мне приказано доставить вас в префектуру.

Перад без малейшего возражения поднялся и взял шляпу.

– У подъезда вас ожидает фиакр, – сказал ему жандарм на лестнице. – Префект хотел вас арестовать, но удовольствовался тем, что послал полицейского надзирателя потребовать от вас объяснений насчет вашего поведения; он ожидает вас в карете.

– Должен ли я сопровождать вас? – спросил жандарм чиновника, когда Перад сел в экипаж.

– Нет, – отвечал чиновник. – Шепните кучеру, чтобы он ехал в префектуру.

Перад и Карлос остались вдвоем в фиакре. Карлос держал наготове стилет. На козлах сидел верный кучер, и, выскочи Карлос из фиакра, он этого бы не заметил, а по приезде на место удивился бы, обнаружив труп в своей карете. За шпиона никогда не вступаются. Правосудие обычно оставляет такие убийства безнаказанными, настолько трудно их расследо-

вать. Перад взглядом сыщика окинул чиновника, которого отрядил к нему префект полиции. Внешний вид Карлоса удовлетворил его: лысая голова со складками на затылке, напудренные волосы, на подслеповатых, нуждающихся в лечении глазах, с красными веками, золотые очки, чересчур нарядные, чересчур бюрократические, с зелеными двойными стеклами. Глаза эти служили свидетельством гнусных болезней. Перкалевая рубашка с плиссированной, хорошо выутюженной грудью, потертый черный атласный жилет, штаны судейского чиновника, черные шелковые чулки и туфли с бантами, длиннополый черный сюртук, перчатки за сорок су, черные и ношенные уже дней десять, золотая цепочка от часов. Это был всего-навсего нижний чин, именуемый чрезвычайно непоследовательно *полицейским надзирателем*.

– Любезный господин Перад, я сожалею, что такой человек, как вы, является предметом надзора и даже дает для него повод. Ваше переодевание не по вкусу господину префекту. Если вы думаете ускользнуть таким путем от нашей бдительности, вы заблуждаетесь. Вы, вероятно, приехали из Англии через Боман на Уазе?..

– Через Боман на Уазе, – повторил Перад.

– А может быть, через Сен-Дени? – продолжал лжечиновник.

Перад смутился. Новый вопрос требовал ответа. А любой ответ был опасен. Подтверждение звучало бы насмешкой; отрицание, если человек знал истину, губило Перада. «Хитер», – подумал он. Глядя в лицо полицейскому чиновнику, он попробовал улыбнуться, преподнеся ему улыбку вместо ответа. Улыбка была принята благосклонно.

– С какой целью вы перерядились, наняли комнаты в гостинице «Мирабо» и одели Контансона мулатом? – спросил полицейский чиновник.

– Господин префект волен поступить со мной, как он пожелает, но я обязан давать отчет в своих действиях только моим начальникам, – с достоинством сказал Перад.

– Если вы желаете дать мне понять, что вы действуете от имени главной королевской полиции, – сухо сказал мнимый агент, – мы переменим направление и поедем не на Иерусалимскую улицу, а на улицу Гренель. Мне даны самые точные указания относительно вас. Не промахнитесь! На вас разгневаны, но не чересчур, и вы рискуете вмиг спутать собственные карты. Что касается до меня, я не желаю вам зла... Но не мешкайте!.. Скажите мне правду...

– Правду? Вот она... – сказал Перад, бросив лукавый взгляд на красные веки своего цербера.

Лицо мнимого чиновника было замкнуто, бесстрастно, он лишь исполнял свою служебную обязанность и отнесся безразлично к ответу Перада, казалось всем своим видом выражая префекту неодобрение за какой-то его каприз. У префектов бывают свои причуды.

– Я влюбился как сумасшедший в одну женщину, любовницу биржевого маклера, который ныне путешествует ради своего удовольствия, к неудовольствию работодателя: в любовницу Фале.

– В госпожу дю Валь-Нобль, – сказал полицейский чиновник.

– Да, – продолжал Перад. – Для того чтобы взять ее на содержание хотя бы на один месяц, что мне станет не дороже тысячи экю, я нарядился набобом и прихватил Контансона в качестве слуги. Сударь, это сушая правда, и если вы желаете в этом убедиться, позвольте мне остаться в фиакре, – клянусь честью бывшего главного комиссара полиции, не сбегу! – а сами подымитесь в гостиницу и расспросите Контансона. И не один Контансон подтвердит то, что я имел честь сказать вам сейчас: там вы встретите и горничную госпожи дю Валь-Нобль, она должна принести согласие на мои предложения либо предъявить условия своей госпожи. Старую лису хитростям не учить: я предложил тысячу франков в месяц и карету, что составляет полторы тысячи; подарки – еще пятьсот франков, столько же на развлечения, на обеды, театр; как видите, я не ошибся ни на один сантим – тысяча экю, как я и сказал. Мужчина в моем возрасте имеет право истратить тысячу экю на свою последнюю прихоть.

– Эх, папаша Перад, вы все еще так любите женщин, чтобы... Но вы меня надуваете: мне шестьдесят лет, и я отлично обхожусь без этого... Ну а если дело и вправду обстоит так, как вы рассказываете, я допускаю, что удовлетворить вашу прихоть легче, приняв обличье иностранца.

– Вы понимаете, что ни Перад, ни папаша Канкоэль с улицы Муано...

– Разумеется, ни тот ни другой не подошли бы госпоже дю Валь-Нобль, – подхватил Карлос, обрадовавшись, что ему стал известен адрес папаша Канкоэля. – До революции, – сказал он, – моей любовницей была бывшая содержанка заплечных дел мастера, иными словами палача. Однажды, будучи в театре, она укололась булавкой и, как водится, вскричала: «Ах ты, кровопийца!» – «Невольное воспоминание?» – заметил ее сосед. И что же, старина Перад! Ведь она бросила своего любовника из-за одного этого слова. Понимаю, вы не желаете подвергаться подобному оскорблению... Госпожа дю Валь-Нобль – женщина для людей порядочных; я ее однажды видел в Опере, очень красивая женщина... Прикажите кучеру воротиться на улицу де ла Пэ, любезный Перад. Я подымусь вместе с вами в ваши комнаты и сам во всем разберусь. Устный доклад, без сомнения, удовлетворит господина префекта.

Карлос вынул из бокового кармана табакерку из черного картона, отделанную позолоченным серебром, открыл ее и с подкупающим добродушием предложил Пераду понюшку табаку. Перад сказал про себя: «Вот они, их агенты!.. Боже мой! Воскресни господин Ленуар или господин де Сартин, что бы они сказали?»

– Само собою, тут есть доля истины, но это отнюдь не все, друг любезный, – сказал мнимый полицейский чиновник, поднеся к носу щепотку табаку. – Вы вмешались в сердечные дела барона Нусингена и, несомненно, пытаетесь накинуть на него какую-то петлю; промахнувшись по нему из пистолета, вы желаете нацелиться в него из пушки. Госпожа дю Валь-Нобль – подруга госпожи де Шампи.

«Эх, черт! Как бы мне не попасть в свою же ловушку! – сказал про себя Перад. – Он сильнее, чем я думал. Он меня разыгрывает: поет, что, мол, отпустит подобру-поздорову, а сам вытягивает из меня признания».

– Ну что же! – сказал Карлос начальственным тоном.

– Сударь, вы правы, я поступил опрометчиво, разыскивая по поручению господина Нусингена женщину, в которую он без памяти влюблен. Вот в чем причина постигшей меня немилости; видимо, я затронул, сам того не ведая, интересы чрезвычайной важности. – (Полицейский надзиратель хранил бесстрашие.) – Но я за пятьдесят лет практики достаточно изучил полицию, – продолжал Перад, – и должен был, получив нагоняй от господина префекта, воздержаться от дальнейших шагов. Он, конечно, прав...

– Могли бы вы поступиться вашей прихотью, ежели бы господин префект этого потребовал? Я уверен, что это было бы лучшим доказательством искренности ваших слов.

«Каков каналья! Каков каналья! – говорил про себя Перад. – Эх, черт возьми! Нынешние агенты стоят агентов господина Ленуара».

– Поступиться? – сказал Перад. – Пусть только господин префект прикажет... Но если вам угодно подняться, вот и гостиница.

– Откуда же вы берете средства? – внезапно спросил Карлос, проницательно глядя на него.

– Сударь, у меня есть друг... – начал было Перад.

– Вам угодно рассказать об этом судебному следователю? – сказал Карлос.

Этот смелый шаг был следствием одного из тех необычных по своей простоте расчетов Карлоса, которые могут возникнуть только в голове человека его закала. Рано утром он послал Люсьена к графине де Серизи. Люсьен, от имени графа, попросил его личного секретаря затребовать у префекта полиции сведения об агенте, обслуживающем барона Нусингена. Секретарь воротился с копией выписки из дела Перада:

«В полиции с 1778 года, прибыл из Авиньона в Париж за два года до того. Не обладает ни состоянием, ни высокой нравственностью, посвящен в государственные тайны.

Проживает на улице Муано под именем Канкоэль, по названию небольшого имения, на доходы с которого живет его семья, в департаменте Воклюз, семья, впрочем, почтенная.

Не так давно его разыскивал внучатый племянник, по имени Теодоз дела Перад (см. донесение агента, документ № 37)».

– Он и есть тот англичанин, при котором состоит в мулатах Контансон! – вскричал Карлос, когда Люсьен принес, помимо справки, сведения, данные ему на словах.

Посвятив этому делу три часа, Карлос с энергией, достойной главнокомандующего, нашел через Паккара безобидного сообщника, способного сыграть роль жандарма в штатском, а сам преобразился в полицейского надзирателя. Трижды им овладевало искушение убить Перада тут же, в фиакре; но он раз и навсегда запретил себе убивать собственноручно и принял твердое решение отделаться от Перада, натравив на него, как на богача, какого-нибудь бывшего каторжника.

Перад и его суровый спутник услышали голос Контансона, который беседовал с горничной госпожи дю Валь-Нобль. Перад сделал знак Карлосу задержаться в первой комнате, как бы говоря: «Вот вам и случай судить о моей искренности».

– Мадам на все согласна, – говорила Адель. – Мадам сейчас у своей подруги госпожи де Шампи, у которой на улице Тетбу есть еще одна квартира с полной обстановкой и оплаченная за год вперед; она ее, конечно, нам уступит. Мадам будет удобнее принимать там господина Джонсона; ведь обстановка еще достаточно хороша, и мсье может ее купить для мадам, условившись о цене с госпожой де Шампи.

– Ладно, малютка! Если это и не *малина*, то ее цветочки, – сказал мулат опешившей девушке, – но мы поладим...

– Вот тебе и чернокожий! – вскричала мадемуазель Адель. – Если ваш набоб и вправду набоб, он отлично может подарить обстановку мадам. Контракт кончается в апреле тысяча восемьсот тридцатого года, и ваш набоб может его возобновить, если ему там понравится.

– *Я очин доволен!* – ответил Перад, войдя в комнату и потрепав горничную по плечу.

И он сделал знак Карлосу, который кивнул ему утвердительно, понимая, что набоб не должен выходить из своей роли. Но сцена вдруг переменилась с появлением личности, перед которой в эту минуту были бессильны и Карлос, и префект полиции. В комнату неожиданно вошел Корантен. Проходя мимо дома, он увидел, что дверь отперта, и решил посмотреть, как его старина Перад играет роль набоба.

– Префект по-прежнему сидит у меня в печенках! – сказал Перад на ухо Корантену. – Он признал меня в набобе.

– Мы свалим префекта, – отвечал своему другу Корантен также на ухо.

Потом, холодно поклонившись чиновнику, он стал исподтишка изучать его.

– Оставайтесь тут до моего возвращения, я съезжу в префектуру, – сказал Карлос. – Если же я не ворочусь, можете удовлетворить вашу прихоть.

Шепнув последние слова Пераду на ухо, чтобы важная особа не упала в глазах горничной, Карлос вышел, отнюдь не стремясь привлечь к себе внимание новоприбывшего, в котором он признал одного из тех голубоглазых блондинов, что способны нагнать на вас леденящий ужас.

– Это полицейский чиновник, посланный ко мне префектом, – сказал Перад Корантену.

– Вот этот? – отвечал Корантен. – Ты позволил себя провести. У него три колоды карт в башмаках, это видно по положению ноги в обуви; кроме того, полицейскому чиновнику нет нужды переодеваться!

Корантен во весь дух сбежал вниз, чтобы проверить свои подозрения: Карлос садился в фиакр.

– Эй! Господин аббат!.. – вскричал Корантен.

Карлос оглянулся, увидел Корантена и сел в фиакр.

Однако Корантен успел сказать через дверцу экипажа: «Вот все, что я желал знать».

– Набережная Малакэ! – крикнул он кучеру с сатанинской издевкой в тоне и взгляде.

«Ну, – сказал про себя Жак Коллен, – я пропал, нужно их опередить и, главное, узнать, чего им от нас надобно».

Корантену довелось раз пять-шесть видеть аббата Карлоса Эррера, а взгляд этого человека нельзя было забыть. Корантен с самого начала признал и эту ширину плеч, и одутловатость лица, он догадался и о внутренних подкладных каблуках, придававших ему три дюйма росту.

– Эх, старина, разоблачили тебя! – сказал Корантен, когда убедился, что в спальне нет никого, кроме Перада и Контансона.

– Кто? – воскликнул Перад, и его голос приобрел металлическое звучание. – Я живьем насажу его на вертел и буду поджаривать на медленном огне до конца своих дней!

– Аббат Карлос Эррера – это, видимо, испанский Корантен. Все объясняется! Испанец – развратник высшей марки, он пожелал составить состояние мальчишке, выколачивая монету из постели красивой девки... Тебе лучше знать, хочешь ли ты состязаться с дипломатом, который, по-моему, дьявольски хитер.

– О-о! – вскричал Контансон. – Это он получил триста франков в день ареста Эстер, он сидел тогда в фиакре! Я запомнил эти глаза, этот лоб, эти щербинки от оспы.

– Ах! Какое приданое было бы у моей бедной Лидии! – вскричал Перад.

– Ты можешь оставаться набобом, – сказал Корантен. – Чтобы иметь свой глаз в доме Эстер, надобно ее связать с Валь-Нобль. Эстер и была настоящей любовницей Люсьена де Рюампре.

– Они уже ограбили Нусингена больше чем на пятьсот тысяч франков, – сказал Контансон.

– Им нужно еще столько же, – продолжал Корантен. – Земля де Рюампре стоит миллион. Папаша, – сказал он, ударяя Перада по плечу, – ты можешь получить больше ста тысяч, чтобы выдать замуж Лидию.

– Не говори так, Корантен. Если твой план провалится, не ручаюсь, на что я буду способен...

– Как знать, не получишь ли ты их завтра! Аббат, дорогой друг, чрезвычайно хитер, мы должны лизать ему копыта, это дьявол высшего чина; но он у меня в руках, он человек умный, он сдастся. Постарайся быть глупым, как набоб, и ничего не бойся.

Вечером в тот же самый день, когда истинные противники встретились лицом к лицу на месте поединка, Люсьен поехал в особняк де Гранлье. Салон был полон гостей. Герцогиня приняла Люсьена чрезвычайно милостиво и на глазах всего общества снизошла до разговора с ним.

– Вы совершили небольшое путешествие? – сказала она.

– Да, сударыня. Моя сестра, желая облегчить мне возможность жениться, пошла на большие жертвы, и поэтому я мог выкупить землю де Рюампре и восстановить наши былые владения. Мой парижский адвокат оказался ловким человеком, он уберег меня от требований, которые могли бы ко мне предъявить владельцы земель, если бы узнали имя покупателя.

– А есть ли там замок? – сказала Клотильда с радостной улыбкой.

– Там есть нечто похожее на замок; но разумнее было бы воспользоваться им как материалом для постройки нового дома.

Лицо Клотильды сияло от удовольствия, в ее глазах светилась любовь.

– Вы сыграете сегодня роббер с моим отцом, – сказала она ему совсем тихо. – Надеюсь, что через две недели вы будете приглашены к обеду.

– Ну что же, любезный господин де Рюампре, – сказал герцог де Гранлье, – вы, говорят, выкупили ваши родовые земли, поздравляю вас! Вот ответ тем, кто награждал вас долгами! Люди нашего круга могут иметь долги точно так же, как имеют долги Франция или Англия; но, видите ли, люди без состояния, выскочки, не могут позволить себе такой образ действий...

– Ах, господин герцог, я должен еще пятьсот тысяч франков за свою землю!

– Ну что же, надобно жениться на девушке, которая их принесет, но вам трудно будет сделать такую богатую партию в нашем предместье, где дают мало приданого дочерям.

– Вполне достаточно и имени, – отвечал Люсьен.

– Нас только три игрока в вист: Мофриньез, д'Эспар и я; желаете быть четвертым? – сказал герцог, указывая Люсьену на ломберный стол.

Клотильда подошла к столу, чтобы посмотреть, как отец играет в вист.

– Она отдает их в мое распоряжение, – сказал герцог, слегка похлопывая по рукам дочери и глядя в сторону Люсьена, хранившего серьезность.

Люсьен, партнер господина д'Эспар, проиграл двадцать луидоров.

– Милая мама, – сказала Клотильда, подойдя к герцогине, – он поступил умно, проиграв отцу.

В одиннадцать часов, обменявшись уверениями в любви с мадемуазель де Гранлье, Люсьен вернулся домой и лег в постель с мыслью о полной победе, которую он должен был одержать к концу месяца; он не сомневался, что будет принят в качестве жениха Клотильды и женится перед великим постом 1830 года.

На другой день, когда Люсьен покуривал после завтрака сигареты в обществе Карлоса, имевшего с некоторых пор весьма озабоченный вид, доложили о приходе господина де Сент-Эстев (какая насмешка), желавшего говорить с аббатом Карлосом Эррера или с господином Люсьеном де Рюампре.

– Сказали там внизу, что я уехал? – вскричал аббат.

– Да, мсье, – отвечал грум.

– Ну что ж, прими этого человека, – сказал он Люсьену, – но будь осторожен, ни слова лишнего, ни жеста; это враг.

– Ты все услышишь, – сказал Люсьен.

Карлос вышел в смежную комнату и через щель в двери видел, как вошел Корантен, которого он узнал только по голосу, настолько этот безвестный гений владел даром превращения! В эту минуту Корантен был похож на престарелого начальника какого-нибудь отдела в министерстве финансов.

– Я не имею чести быть с вами знакомым, сударь, – сказал Корантен, – но...

– Простите, что я вас перебиваю, сударь, – сказал Люсьен, – но...

– ...но речь идет о вашей женитьбе на мадемуазель Клотильде де Гранлье, которая не состоится, – сказал тогда Корантен с живостью.

Люсьен сел и ничего не ответил.

– Вы в руках человека, который хочет и может без труда доказать герцогу де Гранлье, что земля де Рюампре оплачена деньгами, которые один глупец дал вам за вашу любовницу, мадемуазель Эстер, – продолжал Корантен. – Легко найти копию приговора, согласно которому мадемуазель Эстер подверглась судебному преследованию, имеются способы принудить говорить д'Этурни. Все эти чрезвычайно ловкие проделки, направленные против барона, будут разоблачены... Но время еще не упущено. Дайте сто тысяч франков, и вас оставят в покое... Мое дело здесь – сторона. Я только поверенный в делах тех, кто идет на шантаж, вот и все!

Корантен мог говорить целый час. Люсьен курил свою сигарету с самым беспечным видом.

– Сударь, – отвечал он, – я не желаю знать, кто вы такой, ибо люди, которые берут на себя подобные поручения, не имеют имени, для меня по крайней мере. Я позволил вам спокойно

говорить: я у себя дома. Вы, по-моему, не лишены здравого смысла, послушайте хорошенько мои соображения.

Наступило молчание, Люсьен не отводил своего ледяного взгляда от устремленных на него кошачьих глаз Корантена.

– Либо вы опираетесь на вымышленные факты и мне нет нужды беспокоиться, – снова заговорил Люсьен, – либо вы правы, и тогда, дав вам сто тысяч франков, я предоставляю вам право столько раз требовать у меня по сто тысяч франков, сколько ваш доверитель найдет Сент-Эстевов, чтобы посылать ко мне за деньгами... Короче, чтобы сразу покончить с этим, знайте, почтенный посредник, что я, Люсьен де Рюампре, никого не боюсь. Я не имею отношения к грязным делишкам, о которых вы говорили. Ежели семейство де Гранлье станет капризничать, найдутся другие молодые девушки из высшей знати, на которых можно жениться. Да, в сущности, я ничего не проиграю и оставшись холостым, тем более если я торгую, как вы полагаете, белыми рабынями столь прибыльно.

– Если господин аббат Карлос Эррера...

– Сударь, – сказал Люсьен, перебивая Корантена, – аббат Карлос Эррера сейчас на пути в Испанию; он совершенно непричастен к моей женитьбе, он не входит в мои денежные дела. Этот государственный человек долгое время охотно помогал мне своими советами, но он должен дать отчет в своих делах его величеству испанскому королю; если вам нужно поговорить с ним, предлагаю вам поехать в Мадрид.

– Сударь, – сказал Корантен, отчеканивая каждое слово, – вы никогда не будете мужем мадемуазель Клотильды де Гранлье.

– Тем хуже для нее, – отвечал Люсьен, нетерпеливо подталкивая Корантена к двери.

– Вы хорошо все обдумали? – холодно сказал Корантен.

– Сударь, я не давал вам права ни вмешиваться в мои дела, ни мешать мне курить, – сказал Люсьен, бросая потухшую сигарету.

– Прощайте, сударь, – сказал Корантен. – Мы больше не увидимся... но наступит, конечно, минута в вашей жизни, когда вы отдали бы половину своего состояния, чтобы сейчас вернуть меня с лестницы.

В ответ на эту угрозу Карлос сделал движение рукой, как бы отсекая голову.

– Теперь за работу! – вскричал он, взглянув на Люсьена, мертвенно-бледного после этой страшной беседы.

Если бы в числе читателей, впрочем достаточно ограниченном, которые занимаются нравственной и философической стороной книги, нашелся хотя бы один, способный поверить, что барон Нусинген наконец был счастлив, последний на собственном примере доказал бы ему, как трудно подчинить сердце куртизанки каким-либо законам физиологии. Эстер решила принудить злосчастного миллионера дорогой ценой оплатить то, что миллионер называл своим *тнем триумфа*. Поэтому новоселье в *маленки тфорец* не было еще отпраздновано и в первых числах февраля 1830 года.

– Но в день карнавала, – доверительно сказала Эстер своим приятельницам, пересказавшим все это барону, – я открываю свое заведение, и мой хозяин будет у меня кататься, как сыр в замазке.

Это выражение вошло в поговорку в парижском полусвете. А барон сокрушался. Как все женатые люди, он стал достаточно смешон, начав жаловаться своим близким и позволив им угадать свое недовольство. Однако Эстер по-прежнему играла роль госпожи Помпадур при этом князе Спекуляции. Единственно для того, чтобы пригласить к себе Люсьена, она уже устроила две или три пирушки. Лусто, Растиньяк, дю Тийе, Бисиу, Натан, граф де Брамбур, цвет парижских повес, стали завсегдатаями ее гостиной. Потом Эстер пригласила в качестве актрис в пьесе, которую она разыгрывала, Туллию, Флорентину, Фанни Бопре, Флорину – двух актрис и двух танцовщиц, наконец, госпожу дю Валь-Нобль. Нет ничего грустнее дома курти-

занки без игры нарядов и пестрой смены лиц, без соли соперничества. В течение шести недель Эстер стала самой остроумной, самой занимательной, самой прекрасной и самой элегантной из парий женского пола, входящих в разряд содержанок. Поставленная на подобающий ей пьедестал, она вкушала все наслаждения тщеславия, которые прельщают обыкновенных женщин, но вкушала как женщина, вознесенная тайной мечтою над своей кастой. Она хранила в сердце свой собственный образ, составлявший и стыд ее, и славу; вот почему и приходилось ей то краснеть за себя, то гордиться собою; час отречения неотступно стоял перед ее совестью, и она жила двойственной жизнью, глубоко жалея себя. Ее злые шутки отражали ее душевное состояние – то чувство глубокого презрения, которое ангел любви, таившийся в куртизанке, питал к гнусной, бесчестной роли, разыгрываемой телом в присутствии души. Зритель и одновременно актер, обвинитель и обвиняемый, она воплощала собою чудесный вымысел арабских сказок, где постоянно встречается возвышенное существо, скрытое под унижительной оболочкой и чей первообраз запечатлен под именем Навуходоносора в Книге книг – Библии. Пообещав себе жить только один день после измены, жертва имела право слегка поглумиться над палачом. Притом сведения, полученные Эстер о тайных и постыдных способах, которыми барон нажил свое огромное состояние, освобождали ее от угрызений совести; ей понравилась роль богини Атеи, «богини мести», как говорил Карлос. Вот отчего она была то обольстительной, то несносной с бароном, который только ею и жил. Когда страдания становились для него так нестерпимы, что он желал бросить Эстер, она возвращала его к себе притворной нежностью.

Эррера, торжественно отбывший в Испанию, доехал только до Тура. Он приказал кучеру продолжать путь до Бордо, поручив слуге, оставшемуся в карете, играть роль хозяина и ждать его возвращения в одной из гостиниц в Бордо. А сам, воротившись с дилижансом в Париж под видом коммивояжера, тайно поселился у Эстер, откуда через Европу, Азию и Паккара руководил своими кознями, неусыпно надзирая за всеми, в особенности за Перадом.

Недели за две до знаменательного дня, избранного для празднования новоселья, которое должно было состояться вслед за балом в Опере, открывавшим зимний сезон, куртизанка, своими остротами заслужившая славу опасной женщины, сидела у Итальянцев, в ложе бенуара, достаточно глубокой, чтобы барон мог скрыть там свою любовницу и не выставлять себя с нею напоказ, чуть ли не рядом с госпожой Нусинген. Эстер выбрала эту ложу, потому что из нее могла наблюдать за ложей госпожи де Серизи, которую почти всегда сопровождал Люсьен. Бедной куртизанке казалось счастьем видеть Люсьена по вторникам, четвергам и субботам в обществе госпожи де Серизи. Было около половины десятого, когда Люсьен вошел в ложу графини; Эстер сразу же заметила, что у него бледное, озабоченное, почти искаженное лицо. Эти приметы отчаяния были явны только для Эстер. Любящая женщина знает лицо возлюбленного, как моряк знает открытое море. «Боже мой! Что с ним?.. Что случилось? Не надо ли ему поговорить с этим дьяволом, который был для него ангелом-хранителем и который спрятан сейчас в мансарде, между конурками Европы и Азии?» Погруженная в эти мучительные мысли, Эстер почти не слушала музыку. Нетрудно догадаться, что она и вовсе не слушала барона, державшего обеими руками руку своего *ангела* и говорившего ей что-то на ломаном наречии польского еврея с нелепыми окончаниями слов, что претит читателю не менее, нежели слушателю.

– *Эддер, ви не слушль меня*, – сказал он с досадой, отпуская и слегка отталкивая ее руку.

– Помилуйте, барон, вы коверкаете любовь, как коверкаете французский язык.

– *Тьяволь!*

– Я здесь не у себя в будуаре, а у Итальянцев. Если бы вы не были денежным ящиком изделия Юрэ или Фише, которого природа каким-то фокусом превратила в человека, вы не производили бы столько шума в ложе женщины, любящей музыку. Конечно, я вас не слушаю! Вы тут шуршите моим платьем, точно майский жук в бумаге, и вынуждаете меня смеяться из жалости. Вы мне говорите: «*Ви красиф, ви прелестны...*» Старый фат! Разве я вам ответила: «Вы мне сегодня менее неприятны, поедомте домой?» Так вот! По тому, как вы вздыхаете (если

я вас не слушаю, все же я ощущаю ваше присутствие), я понимаю, что вы чересчур плотно покушали, у вас начинается процесс пищеварения. Послушайте (я вам стою достаточно дорого и должна давать вам время от времени советы за ваши деньги!), послушайте, мой дорогой, когда у человека плохо варит желудок, как у вас, то ему не позволено после еды твердить равнодушно и в неурочное время любовнице: «*Ви красиф...*» Блонде рассказывал, что один старый солдат вследствие такого фатовства опочил в *лоне церкви*... Теперь десять часов, вы в девять кончили обедать у дю Тийе вместе с вашей рохлей графом де Брамбуром, вам надобно переварить миллионы и трюфели. Вы мне все это повторите завтра в десять часов!

– *Как ви шесток!*.. – вскричал барон, признавший глубокую справедливость этого медицинского довода.

– Жестока? – повторила Эстер, не отводя глаз от Люсьена. – Разве вы не советовались с Бьяншоном, Деппеном и старым Одри?.. С той поры как вы провидите зарю вашего счастья, знаете ли, кого вы мне напоминаете?

– *Кофо?*

– Старичка, закутанного во фланель, которому нужен целый час, чтобы подняться с кресел и подойти к окну посмотреть, показывает ли градусник температуру, нужную шелковичным червям и рекомендованную ему врачом...

– *Как ви неблаготарна!* – вскричал барон, в отчаянии слушая эту музыку, которую влюбленные старики слышат, однако ж, достаточно часто в Итальянской опере.

– Неблагодарна! – сказала Эстер. – А что я получила от вас по нынешний день?.. Множество неприятностей. Посудите сами, папаша, могу ли я вами гордиться? А вы! Вы-то мною гордитесь, я с блеском ношу ваши галуны и ливрею! Вы заплатили мои долги?.. Пусть так. Но вы *сфороваль* достаточно миллионов (Ах, ах! Не надувайте губы, вы согласны со мной...), чтобы смотреть на это сквозь пальцы. Вот что более всего и делает вам честь... Девка и вор – лучшего сочетания не придумаешь. Вы соорудили роскошную клетку для попугая, который полюбился вам... Ступайте спросите у бразильского ара, благодарен ли он тому, кто посадил его в золоченую клетку?.. Не глядите на меня так, вы похожи на бонзу... Вы показываете вашего бело-красного ара всему Парижу. Вы говорите: «Найдется ли в Париже еще один такой попугай?.. А как он болтает! Как он боек на язык!.. Дю Тийе входит, а он ему говорит: „Здравствуй, плутишка!..“» Но вы счастливы, как голландец, купивший редкостный тюльпан, как в старину бывал счастлив набоб, проживавший в Азии на средства Англии, когда ему случилось купить у коммивояжера впервые появившуюся швейцарскую музыкальную табакерку, исполнявшую три увертюры! Вы добиваетесь моего сердца! Ну что ж! Я укажу вам средство его завоевать.

– *Укажит, укажит!*.. Я делай все для вас... Я люблю, когда ви мной шутиль!

– Будьте молоды, будьте красивы, будьте как Люсьен де Рюампре, вон там, в ложе вашей жены! И вы получите даром то, чего вам никогда не купить, со всеми вашими миллионами...

– *Я оставляй вас...* Потому сэфодня ви отвратителен... – сказал хищник, и лицо его вытянулось.

– Ну что ж! Доброй ночи, – отвечала Эстер. – Посоветуйте *Шоршу* положить ваши подушки повыше, а ноги держите пониже, у вас сегодня апоплексический цвет лица... Вы не можете сказать, дорогой мой, что я не забочусь о вашем здоровье.

Барон встал и взялся за ручку двери.

– Сюда, Нусинген!.. – сказала Эстер, подзывая его высокомерным жестом.

Барон наклонился к ней с собачьей покорностью.

– Хотите, чтобы я была мила с вами, давала бы вам вечером сладкой воды, нянчилась с вами, толстое чудовище?

– *Ви раздирай мене тушу...*

– *Раздирать тушу!* Ведь это значит *драть икуру!*.. – продолжала Эстер, насмехаясь над произношением барона. – Послушайте, приведите ко мне Люсьена, я хочу пригласить его на

наш Валтасаров пир и должна быть уверена, что он придет. Если вам удастся это посредничество, я так горячо скажу: «Я люблю тебя, мой толстый Фредерик», что ты согласишься...

– *Ви вольшебниц*, – сказал барон, целуя перчатку Эстер, – *я зогласен слушать айн час ругательств, чтобы полюбить ласки в конец...*

– Ну а если меня не послушают, я... – сказала она, погрозив барону пальцем, точно ребенку.

Барон задергал головой, как птица, когда, попав в силки, она взывает к жалости охотника.

«Боже мой! Что случилось с Люсьеном? – говорила Эстер про себя, оставшись одна в ложе и давая волю слезам. – Я никогда не видела его таким грустным!»

Вот что случилось с Люсьеном в этот вечер. В девять часов Люсьен направился, как обычно, в своей двухместной карете к особняку де Гранлье. Пользуясь верховой лошадей и кабриолетом для утренних прогулок, он, подобно всем молодым людям, нанимал для вечерних выездов двухместную карету, выбрав у лучшего каретника самый великолепный экипаж и кровных рысаков. Все улыбалось ему в течение месяца: он обедал три раза в особняке Гранлье, герцог был с ним мил; акции омнибусного предприятия были проданы за триста тысяч франков, что позволило ему уплатить еще треть стоимости земли; Клотильда де Гранлье облакалась в обворожительные одеяния, накладывала на лицо десять банок румян перед каждой встречей с Люсьеном и открыто признавалась в любви к нему. Некоторые особы, достаточно высокопоставленные, говорили о свадьбе Люсьена и мадемуазель де Гранлье как о вещи вполне вероятной. Герцог де Шолье, бывший посол в Испании и какое-то время министр иностранных дел, обещал герцогине де Гранлье испросить у короля титул маркиза для Люсьена. Итак, отобедав у госпожи де Серизи, Люсьен, как это повелось в последнее время, с улицы Шоссе-д'Антен поехал в Сен-Жерменское предместье. Он приезжает, кучер кричит, чтобы открыли ворота, ворота открываются, экипаж останавливается у подъезда. Люсьен, выходя из кареты, видит во дворе еще четыре экипажа. Заметив господина де Рюампре, один из лакеев, открывавший и закрывавший двери подъезда, выходит на крыльцо и становится перед дверью, как солдат на часах. «Его милости нет дома!» – говорит он. «Но госпожа герцогиня принимает», – говорит Люсьен лакею. «Госпожа герцогиня выехали», – важно отвечает лакей. «А мадемуазель Клотильда...» – «Не думаю, чтобы мадемуазель Клотильда приняла мсье в отсутствие герцогини...» – «Но в доме гости...» – говорит Люсьен, сраженный. «Не могу знать», – отвечает лакей, пытаясь сохранить видимость глупости и почтительности.

Нет ничего страшнее этикета для того, кто возводит его в самый грозный закон высшего общества. Люсьен без труда постиг смысл этой убийственной для него сцены: герцог и герцогиня не желали его принимать. Он почувствовал, как стынет у него в жилах кровь, и капли холодного пота выступили у него на лбу. Разговор произошел в присутствии его собственного лакея, который держал ручку дверцы, не решаясь ее закрыть. Люсьен знаком задержал его, но, садясь в карету, он услышал шум шагов на лестнице и голос выездного лакея, крикнувшего: «Карету господина герцога де Шолье! Карету госпожи виконтессы де Гранлье!» Люсьен едва успел сказать своему слуге: «К Итальянцам! Пошел!» Несмотря на проворство, злополучный денди не избежал встречи с герцогом де Шолье и его сыном герцогом де Реторе, с которыми принужден был раскланяться молча, потому что они не сказали ему ни слова. Крупная придворная катастрофа, падение опасного фаворита часто завершается на пороге кабинета подобным возгласом привратника с бесстрастной физиономией. «Как известить немедленно об этом несчастье моего советчика? – думал Люсьен по пути к Итальянской опере. – Что произошло?...» Он терялся в догадках. А произошло следующее.

В то утро, в одиннадцать часов, герцог де Гранлье, войдя в малую гостиную, где обычно завтракали в семейном кругу, поцеловав Клотильду, сказал ей: «Дитя мое, впредь до моих на то указаний и не помышляй о господине де Рюампре». Потом он взял герцогиню за руку и увел ее в оконную нишу, желая наедине сказать ей несколько слов; бедная Клотильда измени-

лась в лице... Мадемуазель де Гранлье, внимательно наблюдая за своей матерью, слушавшей герцога, прочла в ее глазах живейшее удивление. «Жан, – обратился герцог к одному из слуг, – отнесите эту записку господину герцогу де Шолье, скажите, что я прошу ответа: „да или нет“. Я пригласил его сегодня к обеду», – сказал он жене.

Завтрак был невеселым. Герцогиня сидела задумавшись, герцог, казалось, сердился на самого себя, а Клотильда с большим трудом удерживала слезы. «Дитя мое, ваш отец прав, повинуйтесь ему, – мягко сказала мать дочери. – Я не могу, как он, приказать: „Не помышляйте о Люсьене!“ Нет, я понимаю твою горе. – (Клотильда поцеловала руку матери.) – Но я скажу тебе, мой ангел: будь терпелива, не делай никаких попыток, страдай молча, если ты его любишь, и доверься заботам твоих родителей! Величие женщин знатного происхождения и заключается, моя девочка, в том, что они исполняют свой долг во всех случаях и с достоинством». – «Но что случилось?» – спросила Клотильда, белая, как лилия. «Нечто слишком серьезное, чтобы тебя в это посвящать, моя милая, – отвечала герцогиня. – Если все это ложь, тогда незачем тебе грязнить свою душу; если это правда, ты не должна ее знать».

В шесть часов герцог де Шолье прошел в кабинет к герцогу де Гранлье, который его ожидал. «Послушай, Анри... – (Эти два герцога были на „ты“ и называли друг друга по имени – один из оттенков, изобретенных для того, чтобы подчеркнуть степень близости одних, не допуская излишней французской непринужденности со стороны других и не щадя чужого самолюбия.) – Послушай, Анри, я в таком затруднении, что могу просить совета только у старого, опытного в делах друга, а у тебя в них большой навык. Как тебе известно, моя дочь Клотильда любит молодого Рюампре, которого мне чуть не навязали в зятя. Я всегда был против этого брака; но, видишь ли, герцогиня не могла противостоять любви Клотильды. Когда этот мальчик купил землю, когда он уплатил за нее три четверти всей суммы, я сдался. И вот вчера вечером я получил подметное письмо (ты знаешь, как надобно к ним относиться), в котором меня уверяют, что состояние этого малого почерпнуто из нечистого источника и он лжет, рассказывая нам, будто средства для этой покупки дает ему его сестра. Меня заклинаят, чтобы я во имя счастья дочери и уважения к нашему роду навел справки, и указывают пути к выяснению истины. Да ты сам прочти сначала». – «Я разделяю твоё мнение насчет подметных писем, мой дорогой Фердинанд, – отвечал герцог де Шолье, прочтя письмо. – К ним относишься как к шпионам; презираешь, но прислушиваешься. Не принимай у себя некоторое время этого мальчика, мы попытаемся навести справки... Да, позволь! Я знаю, что делать! В лице твоего адвоката Дервиля ты имеешь человека, которому мы вполне доверяем; он посвящен в тайны многих семейств, он может хранить и эту. Он человек порядочный, человек солидный, человек честный; он тонкая штучка, хитрец; но тонок он лишь в своей области и нужен тебе лишь для того, чтобы собрать доказательства, которые ты мог бы принять во внимание. У нас в министерстве иностранных дел есть один человек из королевской полиции; ему нет равного, когда дело идет о раскрытии тайн, имеющих государственную важность, мы часто даем ему поручения такого рода. Предупреди Дервиля, что у него в этом деле будет помощник. Наш шпион настоящий вельможа, он явится украшенный орденом Почетного легиона, и у него будет облик дипломата. Этот пройдоха возьмет на себя роль охотника, а Дервилю придется лишь присутствовать при охоте. Твой адвокат скажет тебе, либо что гора родила мышь, либо что ты должен порвать с молодым Рюампре. Через неделю ты будешь знать, как поступить». – «Молодой человек не такая еще важная особа, чтобы обижаться, если не будет заставать меня дома в продолжение недели», – сказал герцог де Гранлье. «В особенности если ты отдашь ему свою дочь, – ответил бывший министр. – Окажись автор подметного письма прав, что тебе до Рюампре? Ты пошлешь Клотильду путешествовать с моей невесткой Мадленой, которая хочет ехать в Италию...» – «Ты выручаешь меня из беды! Но я не знаю еще, должен ли я тебя благодарить...» – «Подождем событий». – «Ах да! – воскликнул герцог де Гранлье. – А имя этого господина? Надо же предупредить о нем Дервиля... Пришли его ко мне завтра к четырем часам, у меня

будет Дервиль, я их сведу друг с другом». – «Имя настоящее, – сказал бывший министр, – как будто Корантен... (этого имени тебе не надо было бы знать), но сей господин представится тебе под своим министерским именем; он зовется господином де Сен... как бишь его... Ах да! Сент-Ив... Сен-Валер, что-то в этом роде! Ты можешь ему довериться, Людовик Восемнадцатый вполне ему доверял».

После этого совещания дворецкий получил приказ не принимать господина де Рюбампре, что и было сделано.

Люсьен прохаживался в фойе Итальянской оперы, шатаясь как пьяный. Он уже видел себя притчей всего Парижа. В лице герцога де Реторе у него был беспощадный враг, один из тех, которым надо улыбаться, не имея возможности отомстить, ибо они наносят удары в соответствии с требованиями света. Герцог де Реторе знал о сцене, происшедшей у подъезда особняка де Гранлье. Люсьену не терпелось известить об этом неожиданном бедствии своего личного-действительного-тайного советника, но он опасался повредить своей репутации, появившись у Эстер, где мог кого-нибудь встретить. Он забывал, что Эстер была тут же, в театре, так путались его мысли; и в этом состоянии полной растерянности ему пришлось отвечать Растиньяку, когда тот, не зная еще новости, поздравил его с предстоящей свадьбой. В это время появился Нусинген и, улыбаясь Люсьену, сказал ему:

– *Окажите мне удовольствие посетить матам те Жампи, он желал бы сам приглашать вас на наш новозель...*

– Охотно, барон, – сказал Люсьен, которому капиталист показался ангелом-спасителем.

– Оставьте нас, – сказала Эстер господину Нусингену, когда он вошел в ложу с Люсьеном. – Ступайте навестите госпожу дю Валь-Нобль, она сидит в ложе третьего яруса со своим набобом... Сколько набобов развелось в Индии! – прибавила она, кинув на Люсьена выразительный взгляд.

– А этот, – сказал Люсьен, усмехнувшись, – удивительно похож на вашего.

– И приведите ее сюда вместе с ее набобом, – сказала Эстер, понимая, глядя на Люсьена, но обращаясь к барону, – ему страстно хочется завязать с вами знакомство; говорят, он баснословно богат. Бедняжка уже напела мне про него не знаю сколько, все жалуется, что этого набоба не раскатать; а если бы вам удалось вытряхнуть из него *балласт*, быть может, он и встряхнулся бы.

– *Вы принимайте нас за вор*, – сказал барон.

– Что с тобой, мой Люсьен?... – шепотом сказала она своему другу, коснувшись губами его уха, как только дверь ложи закрылась.

– Я погиб! Мне только что отказали от дома де Гранлье под предлогом, что господ нет, в то время как герцог и герцогиня были у себя, а во дворе пять упряжек рыли копытами землю...

– Как! Женитьба может расстроиться? – воскликнула Эстер взволнованно, ибо ей уже грезились рай.

– Я не знаю еще, что замышляется против меня...

– Мой Люсьен, – сказала она ему своим чарующим голосом, – зачем грустить? Со временем ты составишь себе еще более удачную партию. Я заработаю тебе два имения...

– Устрой ужин, и нынче же, мне надо поговорить наедине с Карлосом, а главное, пригласи мнимого англичанина и Валь-Нобль. Этот набоб – причина моей гибели, он наш враг, мы его заманим и... – Люсьен не договорил, махнув в отчаянии рукой.

– Но что случилось? – спросила бедная девушка, которая чувствовала себя как на раскаленных угольях.

– О боже! Меня заметила госпожа Серизи! – вскричал Люсьен. – И в довершение несчастья, с нею герцог де Реторе, один из свидетелей моей неудачи.

И верно, в эту самую минуту герцог де Реторе разглагольствовал в ложе графини де Серизи, забавляясь ее горем.

– Вы позволяете Люсьену показываться в ложе мадемуазель Эстер? – говорил молодой герцог, указывая на ложу, в которой находился Люсьен. – Принимая в нем участие, вы должны были бы внушить ему, что так себя вести неприлично. Можно ужинать у нее, можно даже там... но, должен сознаться, я не удивляюсь более охлаждению де Гранлье к этому мальчику: я только что видел, выходя из их особняка, как ему отказали от дома.

– Эти девицы очень опасны, – сказала госпожа Серизи, глядя в бинокль на ложу Эстер.

– Да, – сказал герцог, – и тем, на что они способны, и тем, чего они хотят...

– Они его разорят! – сказала госпожа де Серизи. – Мне говорили, что они одинаково дорого обходятся, когда им платят и когда не платят.

– Но не ему!.. – отвечал молодой герцог, состроив удивленную мину. – Ему они не стоят ровно ничего и сами бы в случае надобности дали ему денег. Они все бегают за ним.

Губы графини дрогнули, но едва ли эту нервную гримасу можно было назвать улыбкой.

– Ну что ж! – сказала Эстер. – Приезжай ужинать в двенадцать. Привези Блонде и Рас-тиньяка. Будет хотя бы два забавных человека, а всех нас соберется не более девяти.

– Надо найти повод, чтобы послать барона за Европой; скажи ему, что ты хочешь отдать Азии распоряжения по случаю ужина. А Европе расскажи, что со мной случилось; нужно предупредить Карлоса до того, как набоб попадет в его руки.

– Будет исполнено, – сказала Эстер.

Итак, Перад должен был, видимо, очутиться, не подозревая о том, под одной кровлей со своим противником. Тигр шел в логовище льва, и льва, окруженного телохранителями.

Когда Люсьен воротился в ложу госпожи де Серизи, она не обернулась, не улыбнулась, не подобрала платье, освобождая ему место рядом с собою: она притворилась, что не заметила вошедшего, и не отрывала глаз от бинокля, но по дрожанию ее руки Люсьен понял, что графиня во власти той мучительной душевной тревоги, которой искупается запретное счастье. Он все же прошел вперед и сел в кресла в противоположном углу ложи, оставив между собой и графиней небольшое пустое пространство; потом, облокотившись о барьер ложи, оперев подбородок на руку, обтянутую перчаткой, полуобернулся, ожидая хотя бы слова. Действие подходило к середине, а графиня еще ни разу к нему не обратилась, ни разу не взглянула на него.

– Я не знаю, – сказала она наконец, – почему вы здесь; ваше место в ложе мадемуазель Эстер...

– Иду туда, – сказал Люсьен и вышел, не взглянув на графиню.

– Ах, моя дорогая! – сказала госпожа дю Валь-Нобль, входя в ложу Эстер вместе с Перадом, которого барон Нусинген не узнал. – Я очень рада, что могу представить тебе господина Самуэля Джонсона; он поклонник талантов господина Нусингена.

– Правда, сударь? – сказала Эстер, улыбаясь Пераду.

– *О, йес, очин*, – сказал Перад.

– Право, барон, этот французский язык похож на ваш, как наречие Нижней Бретани похоже на бургундское. Забавно будет послушать вашу беседу о финансах... Знаете, господин набоб, какой платы я хочу потребовать за то, что познакомлю вас с моим бароном? – сказала она, смеясь.

– *О-о!.. Я... очин буду польщен знакомств сэр баронет.*

– Да, да, – продолжала она. – Вы должны доставить мне удовольствие, отужинав у меня... Нет смолы крепче, чем сургуч бутылки с шампанским, чтобы связать людей; он скрепляет все дела, и особенно те, в которых люди запутываются. Прошу пожаловать ко мне нынче же вечером, вы попадете в теплую компанию! А что до тебя касается, мой миленький Фредерик, – сказала она на ухо барону, – ваша карета еще тут, скачите на улицу Сен-Жорж и привезите Европу, мне надо распорядиться насчет ужина... Я пригласила Люсьена, он приведет с собою двух остряков... Мы заставим сдать англичанина, – сказала она на ухо госпоже дю Валь-Нобль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.